

ВРЕМЕНА

**Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал**

Выпуск 3 (11) 2019

**Нью-Йорк
2019**

ВРЕМЕНА
Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

VREMENA
International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Publisher Leon Mikhlin

Editor David Guy

Design and layout Slava Petrakov

Copyright © 2019 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or by any means – electronic, mechanical,
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce
selections from the journal, please call **917-922-4153** и **646-270-9615**
or send an email to **lbm28w@aol.com** и **guydavid094@gmail.com**

All rights reserved

Printed in the United States of America

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
МАРК ВЕЙЦМАН	(Израиль)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(Англия)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
СЕМЕН РЕЗНИК	(США)
МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ	(Германия)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Михаил КОВСАН

О6

Владимир СОЛОВЬЕВ

Кот Шрёдингера (продолжение)82

Джейкоб ЛЕВИН

Сердце Льва 114

Дмитрий СТОНОВ

В два голоса 125

ПОЭЗИЯ

Светлана АНДРОНИК-ШИМАНОВСКАЯ.....68

Василь ДРОБОТ76

Олег МАКСИМЕНКО79

Вадим ЯМПОЛЬСКИЙ..... 108

ДАТЫ

Александр ПОЛОВЕЦ

Окуджаве – 95 133

МНЕНИЕ

Владимир БАТШЕВ Русская зарубежная литература сегодня	138
--	-----

СТРАНИЦЫ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Виктор НОРД «Хелло, Долли!»	152
--------------------------------------	-----

ПЕРЕВОДЫ

Рената МОЛДАВСКАЯ	172
Стефано БЕННИ	185

ТЕМА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Владимир ФРУМКИН Что связывает коммунизм и либеральную демократию.	195
--	-----

ОБЩЕСТВО

Яков ФРЕЙДИН Теория глупости	220
---------------------------------------	-----

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

Андрей ОСТАЛЬСКИЙ Ловец человек	232
--	-----

Раиса СИЛЬВЕР Мои встречи с Андреем Седых	271
--	-----

МЕМОУАРЫ

Андрей ФРОЛОВ Генерал СМЕРШ (продолжение)	284
--	-----

Михаил КОВСАН

О

*С надеждой и любовью –
его обитателям*

.....

*Целый день стирает прачка,
Муж пошел за водкой.
На крыльце сидит собачка
С маленькой бородкой*

**Н. Заболоцкий.
Городок**

Пролог

В самолете не читалось и не спалось, музыка не слушалась, развлекалось однообразно. Он сочинял тексты, педалируя букву, делая ее назойливо выпирающей. Вот и дорогою в О сочинялся пролог, в котором «о» колесом гордо катилось.

В давние времена странные события исключительно в согласных городах происходили, всё больше в Н. А ныне – исключительно в гласных, пример тому О, в котором когда-то, во время оно жилось хорошо и по гороскопу, что очень отрадно, хорошо выходило. В городе О, хоть не столично огромно, зато не остроконечно, но очень осторожно, острожно и сокровенно.

В городе О ни гор, ни нор, всё ровно, кротко, округло. Сонные окна зимой от морозного взора – день беззлобно не долгов – плотно закрыты. В домах печной зной, звоном ночным от холода отделенный. Одним словом, тепло зимой в домах города О.

Город О от иных одним, однако, отличен, он очень, можно сказать, безбожно броваст, подобно бокастому борову на гербе городском, колодезное колесо оседлавшему. Еще там петух со словами

огромными, нескромно скоромными: «Дорогой мой город О! Я люблю тебя! Ко-ко!» Такой вот он, герб города О.

И еще. От ворот – остро дорога долго долиной розовой бесконечно, беспечно: колеи от колес возов и повозок.

Эпилог

Перед полетом предупредили, что в аэропорту назначения они, вероятно, не сядут: забастовка, авиадиспетчеры. Окончательно выяснится во время полета. Если что, уйдут на запасной. Оттуда доставят автобусами.

Он слушал вполуха. Мешало слушать свое. Слова доходили до него не слишком разборчиво, словно в переводе нуждались. Пролог, эпилог – что за чем, что в конце, что в начале? Если в конце, то что же всё-таки кончилось? Если в начале, то что началось?

Сев в кресло, тотчас же пристегнулся, и вместо привычного долгого взгляда в окно, закрыв его пластмассовой шторкой, поднял голову навстречу заботливо дежурной улыбке. Услышав английский, по привычке в ответ улыбнулся и почувствовал, что струны, готовые лопнуть, прозвенели успокоительно: всё, ни ногой, никогда! Подумалось: открыть окно — попрощаться, одним глазом взглянуть на аэродромную муть. Но струны стали натягиваться, и, вздрогнув, ударило безудержно, обломом, финально: нет, никогда. Даже по ручке кресла хлопнул ладонью. Стюардесса настороженно обернулась. Успокаивающе улыбнулся, повторив: навсегда. На этот раз тихо: даже ворон, который в аэродромной мути пропал, не встрепенулся. Он улетал, чтобы в О больше никогда не возвращаться. Таков эпилог.

Произнеся про себя это слово, прикрыл глаза, и в ушах явственно до последнего звука зазвучали финал и начало, именно так, первым финал симфонии, которую сочинит. Раз прозвучали – уже не забудет. Музыкальная память феноменальна. Эту фразу он впервые услышал в музыкальной школе города О. Повторив ее как заклинание, устроился поудобней и до конца полета спал крепко, без сновидений.

Самолет, заложив вираж, накренившись, зачерпнул полный иллюминатор искрящихся звезд, несущихся одна к другой, не настигая.

Волны сна то в будущее возносили, то в прошлое опускали, настоящего вовсе не зная: абсолютный штиль в этом море – вещь невозможная.

В этом полете было тепло. Обычно он мерз.

Прекрасные старые писатели сказали бы: старое умерло, новое чтобы родилось.

Самолет летел, уверенно облака рассекая. А тем временем в городе О от взрыва газа – так сообщали – дома рушились, под обломками жителей погребая.

Спасенным радовались. Раненых врачевали. Хоронили погибших. Взрывы не прекращались.

Если бы знать, чем это кончится!

Если бы знать, что там, в душе человеческой, что там, в этих потемках!

Такое прощание с Матерой нежданно-негаданно приключилось.

Стебаться-не-настебаться.

Мимидущие, мимолетящие, мимоплывущие

Даже короткого проезда по городу до дома на набережной пруда было достаточно, чтоб убедиться: новоделами полон, а старый город ободран, обгрызен, обглодан. Двуглавый орел уронил крылья ветошно и истошно. Перья выщипаны, глаза выклеваны, клювы надтреснуты. Взор стремителен, не робок и угрожающ.

Или кажется? В таком восприятии настроение виновато? Пруд: мутное зеленоватое око болотное, его в великолепном альбоме «О. Вчера, сегодня и завтра», некогда поднесенном, не было вовсе. Зато не в альбоме, словно священная лужа города N, пруд города О простирается сыро, вольготно. От него во все концы О кощунственно саксофонно разгульно кваканье бодрое носится. А благородные черпахи немые не водятся. Кувшинки, хоть и растут, но цветущими никто их не видел. Птицы стороной пруд облетают. Казалось бы, где, как не здесь, героям в свой праздник в воде забавляться, изображая крещение иорданское. Нет, сторонятся.

Почему, собственно, пруд? Во-первых, давно: вырыли во времена незапамятные, горожане не помнят, историки спорят, но мало

ли о чем они спорят. Во-вторых, рек в О целых три, а озера нет. Воздух бледен и розов, вода чиста, светла и прозрачна, как девичьи мечты, настоящий юный Куинджи, еще не темный, тяжело бирюзово пронзительный. Завидно. Нет озера, пусть будет пруд. Тем более место болотистое. В-третьих, славно кружить, бродить, пруд, тоскою ласкаемый, обходить. В-четвертых, где, как не в затянутом ряской пруду, замечательно чавкая, исчезают слова, без которых жизнь несколько легче, будто тяжесть больную каменно в воду швырнули и ее плотоядно пустота глубокомысленно поглотила. Пустота шита не лыком: в ней едва ли весь замечательный сон автора диссертации «О соединении спирта с водою», в О не бывавшего, поместился.

А главное, там, в пруду, в зеленых водах, на илистом дне – военная тайна, Кощеем бессмертным, пролетающим как-то над О, по неосторожности оброненная, топко таится. Летопись утверждает: ворона, сыр обронившая, вслед Бессмертному загадочно каркнула: «Не обвиняйся, повиноваться!» К кому относилось? К чему? В летописи и без того темных мест предовольно.

Вода в пруду глухая и вязкая; слишком категорично: совсем не вода, слишком осторожно: вода не совсем. На зеленоватой поверхности – промоины черные, словно глаза, на чудовищно непонятный мир вне пруда выпученно устремленные.

В эту густую тяжелую воду плоские камешки бросать бесполезно: не прыгают – бултыхаясь, проваливаются. Никто и не пробует. На берегу пруда постоянно безлюдно. Да и плоских камешков сроду-веку – не море ведь – здесь не бывало. Только мутный болотистый пар над прудом нависает.

На дне пруда всё, что угодно: даже непочатые бутылки – может, кто-то бросил здесь пить, и не полностью утраченные иллюзии – может кто-то не терял здесь надежду. Потому, видимо, каждый новый начальствующий над О свое служение начинал с расчистки пруда: больно его запустили, в невыносимо стоячее болото пруд превратился. Наверняка бутылки и иллюзии хотел отыскать.

В полнолуние, в серебристо мглистый мистический час ночные светила, тучи зеленых брызг поднимая, плюхались в пруд, и когда, чистя, воду спускали, их на берег выкатывали, долго бесполезно лежали, пока не таяли, желтоватые лужи собой пополняя.

И утопленников находили. Некоторые, из темных, необразо-

ванных, поговаривают, что у них, утопленников, есть день свой особый, когда выходят на берега, пляшут голыми, как на Ивана Купала, пьют спиртное из бутылок, на дне припасенных, и безобразничают, как в фонтанах героини войны. Но это враки и бабьи фантазии.

Пруд спускали – воняло, болотные газы со дна поднимались. Чистили, вновь водой и золотыми потешными рыбками заправляли, лодки с влюбленными венецианскими гондолами сумеречно по глади скитались. Однако недолго. Вновь зеленел, снова вонял, рыбки сдыхали, кончалась потеха – до новой метлы.

Иногда голоса раздавались: зачем в центре города пруд, зеленеющий и вонючий, в котором время от времени с перепоя ли, с перепугу век свой кончают: летом тонут, под лед зимою проваливаются? Не лучше ли парк современный разбить, назвав, пусть банально, Центральным? Обсуждали, смелые одного покойного вице-губернатора настырно цитировали, затем забывали, чистили, заполняли.

А он, приезжая, глядя на зеленые воды, с тоской вспоминал: «На дне она, где ил. И водоросли...» И, словно рябь на зеленоватой поверхности, звучала мелодия, в такт которой шел он, раскачиваясь, и гадали прохожие: не пьян ли, не желает ли пополнить мартиролог долгопрудный? И все они, мимоидущие, мимолетающие, мимоплывущие, были из жизни то ли своей, то ли чьей-то, к нему отношения не имеющей.

Дом на набережной пруда

В свете ночных фонарей летний пруд похож на зеленовато свтящееся затонувшее судно на дне города О, облепленное ракушками, из-за которых ему никогда не всплыть, не подняться, судно, тянущее себя самое, то есть город, на дно, заросшее водорослями, которое цепко илом затянуто, как осеннее небо, изможденное тяжелыми тучами.

Иногда воды берег пруда подмывали, дерево падало и на зеленой поверхности чернело назойливо, у обитателей непристойные ассоциации вызывая. Они ассоциациями друг с другом делились, мол, несовершеннолетние, нравственность, но дерево продолжало лежать и гнивало, и ассоциации пропадали.

Зимой часть пруда огораживали и каток заливали. Лезвия ре-

зали растопыренно оружие пасти лягушек по ту зеленую сторону льда. Было весело, празднично звонко. Звук коньков по льду ни с чем не сравним. Может, не только пруд, но и весь О как раз для зимы и назначен? При нем каток не заливали, а зимой он не приезжал.

Маршрут привычен, дом прекрасно знаком, пруд, по-прежнему зеленея, попахивает. Как и раньше, сушится на балконах белье, словно на милость победителя О сдается безвольно и безмятежно. Уж полночь близится – ни слуху, ни духу. Раздумал враг побеждать. На кой ему повергнутый О, его обитатели побежденные, что с ними делать? Не лягушки, просто так квакать не станут – необходимо кормить.

Кстати, случались в пруду и лягушки, тем отличные от других, что усердно лапками семенили, воображая, мол, из молока масло сбивают. Глупые ведали, что творят, со средой обитания ошибаясь ужасно.

Дом на набережной пруда – реплика знаменитого, на набережной реки, только построен чуть позже и с меньшим размахом. Дом построили в те счастливые расстрельные времена, когда сказку нас пех, насильно в быль обращали.

В последние годы один из подъездов обратили в гостиницу для высоких приезжих начальников, к которым его приравняли. Местные же помещались на другой стороне пруда, где распахивалась во все стороны насквозь проезжая площадь. Ууууу – во всю ивановскую на площади в любое время суток и года гудело.

Там, в обкомовском здании губернское правление помещалось. Посреди площади – маленький сквер с танком зеленым: люки заварены, дуло пушки забито. Как бы чего. Береженого Бог бережет. Из танка окна начальников на ладони.

С главными начальниками городу О не слишком везло. В этом году, как встречавший его начальник культуры, с лицом человека, лимон только что насквозь сжевавшего, новый губернатор у них. За последние лет десять по счету четвертый. Понял: губернаторствующий подполковник явно не хватом рожден.

К нему то, что новый, никакого отношения не имеет. Город О им гордится. Город О его любит. Город О восхищается своим уроженцем. Город О звучит очень гордо.

Вместе с главными менялись команды. Культуртрегер встре-

чавший тоже получался четвертым. С первого приезда времени немало прошло. За эти годы всякое было, даже некоторые слова вошли в моду, вышли и снова вошли.

Второй запомнился взглядом. Смотрит косенько, воровато, смеется дребезжаще, слюнявенько. И словечком запомнился: достодолжное. Третий: потиранием рук, блудоборчеством самозабвенным, тем, что он третий, а четвертому не бывать. Однако четвертый явился. Мордат, кирпат, в словах и жестах лаконично скабрезен.

Но первый! Неподражаем, незабываем. Носился с идеей поиска таинственной библиотеки, исчезнувшей в незапамятные времена, принадлежащей бог весть кому, но чрезвычайно богатой. По его сведениям, непонятно откуда почерпнутым, древние фолианты закопаны у слияния рек. Возражали, если и правда, то книги от сырости сгнили. На что выливался ушат аргументов с описанием гидроизоляционных хитростей древних. Думал в очередной визит услышать рассказ о чудовище, живущем в местном пруду. Но организовывал первый, а встречал по счету второй, как некогда космонавтов.

Каждый новый встречающий был хоть немного, но предыдущего старше, а музыка всё дальше от его интересов. Они были из тех, дергающих ногой не в такт музыке – в такт своим мыслям. Всех обурекала ему недоступная, для О характерная страсть: часы обожали, но не просто часы, а часы дорогие, на которые любо-дорого поглядеть, что часто и делали.

То ли в конце второго, то ли в начале третьего в О исчезли вывески казино, массажных кабинетов, скрежет трамваев, телефонные будки, попрошайки и дикие кошки. Кроме папирос «Ира» от прошлого мира остались лишь песьи пасти, сопящие, свистящие пустотой.

В какую версию верить

В первый приезд, к О еще приближаясь, издали увидел колесо обозрения. Оказалось, незадолго воздвигли подле пруда. Едва занес вещи в гостиничный номер – бывшую квартиру дома на набережной, как поражавший расторопностью первый встречавший, как Аркадий, достопамятный школьно, говоривший красиво, уже звал на колесе прокатиться, окрестностями О восторженно любоваться.

В машине только спросил, что виднеется, и остановленное по позднему времени колесо запустили, его усадили и тщательно к железам приторочили.

И вот обозревает окрестность, любуется. Колесо движется медленно. Кабина покачивается и поскрипывает, словно воду из колодца ведром, звезды зачерпывает, а те созвездием вилки двузубой, впадающей в черенок, из тьмы тьмущей рек вырезаются. Вдоль рек — бугры берегов, и между ними и лесами глухими — луга узкие, худосочные, плохо кормящие.

В одном из древних сказаний они были сестрами, не поделившими жениха, за что слиянием были наказаны. Туристки, байку услышав, охали и вздыхали, туристы подбоченивались и поглаживали усы, у кого они были. И хоть в последнее время достоверно установили, что сказание это совсем не сказание, а подражание, принадлежащее перу одного из памятников города О, тем не менее, вздохи и подбоченивания продолжались как ни в чем не бывало.

Глухой темнотой лесов, в которых полки разных войн лежат неприкаянно, не погребенно и не оплакано, тьмой тошно кромешной бытие О обрывается. А на дальних подступах к О, ближних ко тьме пунктиром светлым дороги и островки — пригороды и деревни ближние, дальние, как говорят в Малороссии, старосветские. Впрочем, и там и сям романсы сочиняются замечательно. Хорошо б подвернулся случай проверить.

Темнеют разрушенные усадьбы, дома окрестных помещиков — прибежище ночных мышей, филинов, сов. Дальше — боярские вотчины на месте уничтоженных татарами городищ, возникших на выжженных землях, у лесов, отвоеванных для тяжелой жизни и смерти нелегкой. Долго-долго хрустальным эхом слепым длится звучание, затихающим звоном в бесконечности истекая.

При свете дня рядом с колесом обозрения обнаружилась шахматными клетками размеченная площадка. Когда-то в О жила известные шахматисты, которые перевелись, а фигуры с доски огромной исчезли. Может, местные жители в виде домашних или садовых скульптур разобрали? Только садов в городе не было, а жили стесненно.

Да мало ли что было раньше. Когда-то и сады были, и соловьи в них певали, и пахло антоновкой, а из окон доносилось шуршание

– читались романы, в сумерки задушевные разговоры велись, а в дни рождения и именины – перестук полек и полонезов, к которым мирволили, и хорошо жить было на свете. А нынче романы, разговоры и полонезы – ни за какие коврижки, которые тоже перевелись вместе с ковригами: опрятно не разрезали, крошили, ломали, вот больше и не пекутся.

Он ничего, конечно, о местных порядках, меряемых аршином общим, о нравах, о падениях-взлетах не слышал. Но и неслышимое ощутимо. Разве музыка заканчивается после того, как последний аккорд отзвучал? Вот и слухи – не будь помянуты рядом – не услышанными бабочками ночными незримо витают.

О губернаторе новоотставленном, о злодействах его и раньше нехорошие слухи ходили, богомерзкие, непотребные. И не в том дело, что крал. Эка невидаль! Одни досужие языки говорили, что нежную девственную отроковицу из честного, хоть не богатого и не чиновного дома, сманил и за море увез баловаться. Другие досужие языки не соглашались: не отроковицу – переходили на шепот – а нежного отрока девственного. При этом новоотставленный, поговаривали, умел тело свое покидать, а, напраказничав под видом лица всем известного, обратно в него возвращаться.

Им овладела идея пруд в гранит заковать: набережные по берегам обустроить, чтобы не рушились берега, скамьи чугунные, чтобы не гнили, на набережных учредить. Видно, был он из тех, генетически наводнений страшщихся.

Утверждали, отнюдь прежде сказанному не противореча, что землей торговал. Под жилые дома, офисы, торговые центры, короче, под всякие нужды. Его упрекали: земля – товар необычный. Вечное и священное нельзя продавать так, как профанное и временное. Надо иначе. Вот, поговаривали, те, что иначе, его под монастырь и подвели. Но это не так. Если бы подвели, то там бы сидел, время от времени прикладываясь по чуть-чуть, и просил на пропитание, приличную одежду, Канары и прочие нужды. Монастырь в О был один. Раньше в нем жили безногие, которые, напившись по праздникам, кричали ура и в плаче беззастенчиво заходились.

Если б под монастырем подвизался, стало бы мгновенно известно. Видно, не подвели. И верна версия, что его видели в уважаемом учреждении на должности совсем не последней. И других

версий было немало. Ждали, когда скажут, в какую версию верить. Иные оправдывали: тяжелое детство, родители-алкоголики; ужасная либерально-гомосексуально-пассивная юность. Но большинство не соглашалось, утверждая, что их детство было не легче, а юность даже ужасней. Хотя, если подумать, могла ли быть юность ужасней, чем у новоотставленного?

А монастырь некогда был хоровой музыкой славен. Стихиры царя кровью не слишком русского Ивана Четвертого в нем раздавались величественно и протяжно. От басов, долгое о в молоко небесное города О возносящих, купола поднимались. С них стаи галок озорно и нервно вздымались. Незаурядный был человек. Ему бы больше музыкой заниматься. Или, в крайнем случае, как в отрочестве, борода боярам свечей поджигать. Милое баловство, шалость царева ребячья.

Позволь, чтоб раб тебя воспел

Дорога двуперстно, возгораясь костром, немилосердно дымящим, двоилась; вслед за Никоном-патриархом, самозабвенно вдыхая воздух спасенья, троилась; и водитель, следуя указаниям встречающего, выбирал путь единственно верный, Провиденьем предписанный.

На автозаправках всю торговали символом национальной гордости обитателей О – бубликами разных видов и разновидностей, испеченными с маком и тмином, и, не поверите, даже с орехами мелко толченными и изюмом нежной протертости.

Вдоль дороги на табуретах стояли ведра и корзины с картошкой, капустой, яблоками, непременно антоновскими – здесь их места, молоком, творогом. Чем ближе к О, тем основательней, на «о» щедрей, а натюрморты живописней, заманчивей. Хотелось остановиться, подойти, потрогать, поглядеть, попробовать снедь живую, с огорода, из сада, из коровника, не всегда, как в супере, глянецвитую, промытую, натертую, блеском продажным покрытую. Но это было б ребячеством, может быть, и уместным при первом встречающем, готовым к такому. Но тогда еще не хотелось. А теперь первого не было. Вот и ехали молча, минуя разноцветье и запахи сада, поля хлебного и хлева живого.

А если там моченые яблоки? Таких нет в мире нигде. Но разве ранней осенью в бочках они уже поспевают?

Жилья вдоль дороги немного. Больше – леса. С каждым новым приездом всё более темные и дремучие. Фарам всё трудней ощупывать их мрачно заповедную тьму. Подступающие к шоссе деревья шумят, раскачиваясь, словно моление о свете творя.

Муромские! На Ивана Купала пляски, костры, славные бесчинства языческие на зависть не удостоенным. Нечисть, кикиморы, лешие! А он, пожалуй, прав Владимир Семенович, он — рожа, гад, паразит из-за моря, впору уматывать, того лучше, вообще не являться. Страшно, аж жуть!

Лопнув в ответ на призыв, струна жалобно зазвенела.

Неподалеку Радищев тут проезжал, но – О не на тракте – в него не заехал, оду не прочитал, так что дар бесценный, воспетый рабом, здесь не слишком известен. А Брута и Телля сроду в О не бывало и, верно, не будет. Да и длинное такое со словами непонятно старинными кто нынче читает? Так что памятника в О ему нет, и то сказать, не за что. Не жывал, не заезжал. Воскликнул невразумительно:

*О, вольность, вольность, дар бесценный,
Позволь, чтоб раб тебя воспел.*

Странно, однако. Если сие раб ей, вольности, говорит, то или вольность не вольность или же раб вовсе не раб. Если себя рабом чьим-то ты величаешь, то как смеешь к вольности обращаться? Впрочем, не за несурязицу эту сперва в крепость его посадили, а затем в ссылку препроводили.

В школе Радищева не проходят и вообще нигде не вспоминают. Хоть вроде и классик, но не ко двору, не ко времени: им гнушаются. Что взять с человека, живущего на улице с названием Грязная? Да и как вспоминать, если матушка Екатерина, брезгливо питавшаяся человечиною, была безупречна. Крым, правда, с татарами. Польша, хоть и с жидами. Какой, к черту, Радищев.

Да и О – место заштатное и смиренное, от ужасов и восторгов истории вдалеке, кто узник совести, кто бессовестный, не О разбираться. Войны чтобы не было.

Никакие трихины сроду-веку здесь не являются, ни достоев-

ские, ни волошинские, не появляются, не вселяются ни в зверей, ни в людей. Даже в самые шальные годы напропалую всё летит мимо О скоропалительно, короткопало. И перелетные птицы, не только Радищев с трихинами, и они город О игнорируют, мимо всё пролетая.

Всю свою историю О стремился из истории выпасть, в историю не вляпаться, от истории отвертеться. Не получалось. В О всегда было немало желающих продать душу дьяволу. Предложений было хоть отбавляй. Спросу не было никакого. Дьявол обходил город О десятой дорогой. На этой почве даже синдром особый развился. Синдром обывателя города О, или просто ОГО.

С колобком схож полнотело

К О, городу детства, наезжая спустя юность и молодость, и кусок зрелой жизни, он относился как к литературному прототипу: Федот не совсем тот. Но ни тогда, о сейчас нечего говорить, у него даже ни одного знакомого Федора не было у него. Какой уж Федот. С тех пор, как в О вывелись Федоры и Федоты, вставал город поздно. Петухов, кроме того на гербе, извели, а будильник на любое время можно поставить, но подниматься не обязательно. А петуха не отключишь.

Предания сохранили отзвуки дискуссии о птице, которой О позволит в гербе угнездиться. То, что птица, почему-то не обсуждалось. Была партия соловьиная, больше южане. Были северяне-орловцы, хотя орел в окрестностях О не водился, но, говорили мутно они, широко крылья раскидывает. Западники продвигали синицу, а восточные опрометчиво ратовали за журавля на голубом с белыми прожилками фоне. Предание утверждает: мучились, мыкались, перессорились, передрались, переругались. Чтоб разойтись без смертоубийства, кто-то брякнул про петуха. Так его звездный час прокукарекал.

Вместе с петухом исчезли и куры. Так что в городе О всего чаще ели свинину: те и тогда, у кого и когда были деньги на это. Свинина была удовольствием не дешевым, по карману разве что иудеям и мусульманам, которые испокон веку в О считались богатыми. Правда, иудеев здесь уже не было: поужезжали, а понаехавшие мусульмане

были бедны. Но предубеждения, как известно, как тараканы, живучи. Те, утверждают, способны кромешный ужас атомной войны пережить, а предубеждения – самые извилисто замысловатые повороты истории.

Город О: солнце тусклое, небо блеклое, свет под сурдинку. Здоров физически и душевно, не многолюден, не слишком прославлен, но в узких кругах, подобных себе, широко знаменит.

О подобен названию: округл, коротконог, кроток, коренаст, с колом схож полнотело. Чужд стоицизму. И иным древним чуждым учениям жизни. Не то чтобы они его совсем не касались. Но как-то стороной обходили, жить не мешая. Одним словом, жил *Oab ovo usque ad mala*, как Гораций говаривал; на принятом в О языке: от яиц и до яблок, от начала еды до конца. А с чем еще жизнь человека сравнить? Яичница была, если не любимым, то наиболее частым завтраком в О. Яблоки в окрестностях росли неплохие (остальные фрукты были не очень), ну, а моченые – настоящий шедевр, порождение местно-бабьего гения. К слову сказать, отмеченный любовью к памятникам и их обилием, О вполне бы мог взять девизом Горация: *Exegi monumentum*, однако не взял. Другие присвоили.

Как и многое другое, имя отца-основателя О история не сохранила. Некоторые краеведы, которых в городе было немало, утверждали, что не просто не сохранила: имя отца-основателя было намеренно уничтожено, на что явно указывают некоторые несообразности в летописях и иных исторических документах. Так или не так, но это давало основание по собственному вкусу избирать отца-основателя, даже придумывать имя, фамилию, отчество, подобно тому, как матери, точно не знающие, кто отец их ребенка, рассказывают детям об отце-космонавте или директоре банка.

С одной стороны, город О был обычной серой, с другой стороны, несомненно, белой вороной. Вокруг города всё больше солидные, многосложные, даже из двух слов состоящие. Было и несколько коротышек, односложных, невидных. Но чтобы из одного, пусть даже объемного звука, такого похабства сроду-веку на этой объемистой карте никогда не водилось. Откуда взялось? Откуда свалилось? Ответа не было. Точней, ответов было великое множество, следовательно, никакого.

Ему с детства беловоронье органное название нравилось. Оно катилось, скакало, словно плоско камешки по воде, чтобы, скрывшись, выскочить снова. Хотя О, город детства, он рано покинул, в двенадцатилетнем возрасте с семьей перебравшись учиться, а еще через несколько лет совсем далеко, но О, подобно колесу, за ним по жизни катился.

Конечно, годы прошли, пока его мировая известность до О докатилась: кто-то обратил внимание на город рождения, с ним вышли на связь, мол, не желает ли хоть раз в году в родном городе появляться? Согласился. И десятый раз на три дня в О возвращается.

С каждым новым приездом

Первый из встречавших – он-то его разыскал и концерты заставлял – был быстр, худ, весел, молод, курчав, космат, как фрукт нездешний кокос, окончил музыкальную школу, имел фамилию, по собственному выражению, до неприличия инородческую. Встречал несколько раз, пока не исчез. Этого человека было ужасно много. Он постоянно, теряя самоконтроль, пытался, слишком приблизившись, прорваться сквозь невидимый круг его одиночества, опомнившись, отпрядывал, вздрагивая и смешно, словно ударившись, лоб потирая. Если б его было меньше, его было бы гораздо больше на долгие. Но, видимо, боялся, если много не будет, то не будет совсем. То ли он кого-то подставил, то ли его, но очутился на западе, неизвестно где, и неизвестно чем занимался. Говорили, на телевидении подвизался, журнал издавал, одним словом, крутился.

В первые приезды в О было поветрие: изучением иностранных языков увлекались. Получалось неважно, быстро минуло, как в детстве ветрянки, оставив после себя отметины не слишком заметные. Всё возвращается на круги своя. Тем более в городе О с самого возникновения круглом.

С каждым новым – они стали представляться кураторами – волосы на головах распрямлялись, пока на нынешнем вылезли до ослепительной лысости. Они становились медленней, толще, толкливей. Всё чаще произносилось ржавое слово «державник», означавшее нечто расплывчато непонятное, неопределенное, на всё и про всё отрицательное: не либерал, не гей, не инородец. Первый

представился уменьшительным именем, второй – уже полным, третий – именем-отчеством. Нынешний – фамилией с именем-отчеством, словно представляясь по поводу дальнейшего прохождения службы.

С каждым новым дорогом от аэропорта становилась длиннее, потому как тем для разговоров становилось всё меньше, хотя здешняя жизнь не переставала интересоваться, становясь, однако, всё больше чужой, незнакомой. Каждого нового и музыка, и он сам интересовали всё меньше, всё больше их занимали местные новости, больше на сплетни похожие. У него самого сплетен было достаточно. Но его сплетни и их не стыковались.

С каждым новым приездом старые деревянные дома исчезали, на месте их появлялись, покрываясь сорной травой, проплешины и пустыри, а те, в свою очередь, прорастали домами высотными, разноцветными, похожими на доступно покрашенных женщин. Как эти женщины, новостройки старели быстро и тошно.

Он был единственной знаменитостью музыкальной, родившейся в городе О, который был славен писателями, о чем назойливо напоминало городское пространство, обильное памятниками, которыми в юбилеи обитатели О чрезвычайно гордились, хотя ни один из памятников историю вечности не написал да и подумать об этом вряд ли б решился. Так обстояли дела, хотя когда-то вокруг города О случались холопы оркестры. Но потомки ремеслу отцов, вдохновляясь пьяной отвагой, предпочли профессии понадежней: жестянщиков, банщиков, городских.

Чувства разнообразные выражая, еще живые любят уже не живым памятники возводить. В городе О памятники были и западникам, и славянофилам, и окающим, и наоборот. Одного из них он любил, от корки до корки всего прочитав. Другого ценил, прочитав многое, теперь больше слушая, вспоминая. Третьего читал очень мало, не ощущая способности совладать с исконной речью, купечески грузной, тяжелой, словно черные навечно в землю вросшие срубы. Поэта не мог не помнить со школы, весьма удивившись, узнав, что тот переводил с греческого и с латыни. Вообще, хоть и музыкант, он был из последней волны литературоцентричного поколения.

Пар, обнаженность, мыло в глаза

Ни дома, где они жили, ни дома, где жила бабушка, ни зданий школ, обычной и музыкальной, куда он ходил, ни роддома, где он родился, ни кладбища, где похоронен был дедушка, ни подъезда, у которого он увидел, что под платьем у девочки, когда рванул ветер, так что и ему снизу под штанины холод ворвался, ни стены, к которой прислонили крышку от гроба, ни двора, мимо которого старался он не бежать, стремясь пройти побыстрее, там были здоровые лбы, которых боялся, ни скверика, где он услышал свой первый этюд, который потом много раз играл на школьных концертах – ничего не осталось. Исчез и склад, от которого по утрам беспрерывно грузовики отъезжали. В здании теперь была церковь, тепло и весело построенная в древности итальянцами, на ее зеленой макушке золоченый крест водрузили.

На месте прежнего тихого запустения невесть откуда явилось вдруг процветание, ветшавшее на глазах, ведь процветание требует постоянного допинга: время – вперед, всё выше и выше, а если перебой или заминка, тут же пустыней запустение наползает.

Огромные уличные часы у гастронома, из которого часто на улицу очередь выползала, с громадными стрелками – казалось, он слышит их перещелк – вместе с гастрономом пропали. Но, когда в прошлый приезд там проходил, показалось: услышал и перещелк и очередь, чью музыку спутать и повторить невозможно. Улицы, по которым ходил, изгибались иначе, перекрестки скрещивались по-другому, а то, что уцелевшие здания в размерах уменьшились, просто банальность. Обидней всего, что за поворотом, которого больше не было, море исчезло, которого даже в геологическом прошлом здесь не бывало.

То, что осталось, сохранившись по случаю, звучало иначе, хотелось думать, фальшиво. Это были вечные дома, вечные улицы, вечные подворотни. Других он не знал. И вот теперь самой вечности нет, потому что и она не существует. А если кто-то воображает, это глупость, ошибка, иллюзия. Хорошо бы, хоть малый кусок вечности отвоевать. Только как? У кого?

Было ужасно обидно. Ведь если бы вечность существовала хоть в каком-нибудь виде, тенью ли, чем-то иным, материальным не

слишком, отзвуком дальним, ни одному инструменту не внятными, пусть время от времени, тогда бы и он, проходящий по улицам, на многое натываясь впервые, и он бы тогдашний иногда появлялся.

Где-то здесь, в этих домах или на улицах этих, открыл: люди по-разному не только друг к другу относятся, это понятно, но и к себе. Одни себя любят, другие себя ненавидят, третьи относятся холодно, почти равнодушно. Одни себе готовы что угодно простить, даже пустяка себе другие не спустят. Пытаясь от себя отстраниться, себя увидеть извне, старался определить, как к себе относится он. Не раздумывал, это еще были не мысли, но робкие ощущения. Словно осьминог всеми щупальцами, охватывал он себя, пытаясь выдавить истину, не понимая, что сделать это никак невозможно. Истина не выдавливалась. То ли тубик был пуст, то ли крышку отвинтить не удавалось. Чем больше пытался, тем меньше его О интересовал.

Он долго один ходил по этим улицам, томительно длинным, почти бесконечным, из дома в школу, из школы в другую, оттуда домой. Ходить по улицам было скучно и одиноко. Такого маршрута, как у него, ни у одного мальчика не было. Иногда, и то очень редко, были попутчики на какой-то кусок. Ему было мало. Хотелось друга – на полный маршрут. И он нашел его, немного похожего на себя, чуть-чуть пониже, немного моложе, со светлыми, в отличие от его, волосами. Ему рассказывал всё, что другим рассказать не хотел или же не решался. Наигрывал свою музыку, не только сложившиеся этюды, но и то, что пока по-настоящему не прозвучало. Когда же уехал, светловолосый в О задержался. Вначале думалось, что приедет, но время шло, а тот в О оставался. А когда стал в О наезжать, простыл даже след.

Как могли, как посмели они измениться, те улицы, по которым он когда-то ходил, с каждым шагом всё больше в себе замыкаясь, желая лишь одного, чтобы никто не подумал посметь ключ отыскать или украсть – его отомкнуть. Он желал быть на сцене один, никого чтобы рядом, ни матери, ни отца, чтобы все перед ним в зале сидели и от радости, что видят и слышат, руки аплодисментами отбивали, задыхаясь от браво. Историю Иосифа он не знал: в школе ни звука, прочитать самому было негде.

Со всем тем, что пропало, исчезли его прежние страхи и тайны, как будто их те же бульдозеры искорежили. Услышал гул, грохот,

дребезжание, скрип своей деревянной кровати, звон стекол аквариума и беззвучно мертвое исчезновение рыбок, затем шипение пыли, застилающей тишину, его качнуло, но он заставил себя услышать Маленькую ночную серенаду, которой с детства спасался от ужасов.

Воспоминаний, связанных с О, было немного, и те брезжили смутно, туманно, газовой колонки фиолетовым огненным язычком: пар, обнаженность, мыло в глаза. С ужасом осознал: почти ничего о себе прошлом не помнит, значит, того уже почти нет. Еще чуть-чуть всё позабудет: он, маленький, беззащитный, умрет.

На худой конец канал перещелкнуть

В телевизоре вначале орали о стране, просранной либеральными геями-инородцами, а затем орущее воронье стало накаркивать надвигающуюся на родную землю войну. Вполне по-человечески одетый господин внешности и фамилии азиатской со знанием дела рассказывал, как термоядерным взрывом вулкана развернуть течение Гольфстрима, вызвав цунами, которое затопит Америку. Радостно раскосо блеснув, вознесшимся голосом он сообщил, что радиоактивная вода, пусть не сразу, но уцелевших, которых ждут адские муки, прикончит. А нас, он весело студию оглядел, крестом слева направо, двуперстно себя осенив, ждет блаженство райское вечное.

Его речь была связной, допущения очень корректны, логика была совершенно убийственной. Как у настоящего сумасшедшего. Подумалось: от четверти до трети жизни в последние годы он проводит с концертами именно там, куда доплунется радиоактивное суперцунами. Интересно спросить: на какое время планируется возмездие инородцам, геям и либералам, чтобы концерты там не планировать. И еще хотелось позвонить кому-то из местных: поинтересоваться, как, мол, идея? Впрочем, из знакомых был только встречающий, а ему звонить никак не хотелось.

До самого конца речи-возмездия замороженное воронье ни разу не каркнуло, завидуя и упиваясь. Но только пиджак, рубашка и галстук святым крестом осенились, глаза горе возделись, упоенно, торжественно губы сомкнулись, узкие глаза резко расширились, как обвалилось, грохоча камнями лавины по склонам, взвизгивая

слюняво победоносно. Оркестр одурел, наглотавшись, взбесился. Им бы сейчас в студию этого пидора, либерального инородца – клочки по закоулочкам студии собирали бы, да не собрали!

Ему бы, конечно, давно выключить эту муть, на худой конец канал перещелкнуть: юмор или горы-равнины. Но впился зачумленно, змеей, факирской дудочкой заколдованный. С экрана летели звуки, похожие на слова, в речь ни на каком языке не слагаясь, пока кто-то, грохот могучим басом подмяв, не заорал, камеру до отказа собой заполняя, о самовластительном злодее, чей трон он, орущий, ненавидел так и постольку, как и поскольку видел гибель его, и, не удовлетворившись зрелищем, присовокупил смерть его гнусных детишек.

До отъезда как раз незадолго он – домашнее задание – выучил стихотворение наизусть. Покойный Пушкин лютейшим ямбом, ныне тоже покойным, злодея Наполеона покойного так жутко не ненавидел, как крестом любви к ближнему осененный, ненавидел кого-то за океаном. Скрепив себя скрепой духовной с радиоактивным цунами, он слюной брызгал с экрана, не слишком разбираясь в предмете пушкинских инвектив.

Наконец, что-то кольнуло, будто на сидение раскрытую скрепку или кнопку ему подложили. Вскочил. Пульт не заметив, рванул шнур из розетки. Та скособочилась и укоризненно поглядела: я тут при чем? Не виновата была и в том, что стало душно и тесно. Спасаясь, открыл окно. С промозглостью ворвалось ночное дыхание города, а с ним вошел пруд, окаймленный огнями. За ним над мирозданием возвышался бывший обком бывшей партии, которые никуда не ушли, никуда не эмигрировали из бывшей страны.

Глядя в окно – самого пруда не было видно, фонари обозначали – он возвращался из цунами хана Батыя, уничтожающего Америку, еще не открытую, в реальность туманно осеннюю не слишком надежную. В начале поездок каждый раз в золотую осень, кощунственно инородцем воспетую, удивительно попадал. Но потом заставлял то ли невнятный конец золотой, то ли скомканное бабье начало, а в последние годы золотым бабьим летом не пахло. Пахло гарью, разором и безнадежностью.

За выступления деньги не брал. За первый концерт обычный свой гонорар попросил передать детскому дому. Деньги до детей не

дошли. Зато начальство присутствовало, зевая, бесплатно, а билеты продавали по ценам заоблачным. Условием следующего приезда поставил нормальные цены, от гонорара начисто отказавшись. Только поездка, гостиница за счет принимающей стороны. В каждый приезд удивлялся: год прошел, ничего не изменилось. Те же лица, те же витрины. Правда, однажды приехал, милиции нет. Где милиция? Теперь есть полиция. Полиционеры были всё те же.

Ежегодные наезды – назвать точнее, набеги – для города были не разорительны. Для него же проблема: поездки втискивались в график с трудом, отдых сжимался. Приезжал уставший, не до поездок и развлечений. Новое, отстроенное, возрождённое: усадьбу, церковь и монастырь, в первый раз показали. Приезды стали обузой с их привычным провинциальным восторгом, речами одними и теми же. Только как отказаться?

Первый приезд, первые концерты были неожиданны и диковинны, словно сани с бубенцами в Колумбии, или бразильский карнавал в городе О, или книга одного из многочисленных памятников города О с фамилией Маркеса, Борхеса или кого-то еще. Но ничего. Присмотрелись. Привыкли. И притерпелись. Хотя патио здесь не было и, вероятно, не будет. Заросшие травой дворы и те исчезают. С другой стороны, вокруг города фазенды не переводятся – умножаются.

Конечно, не скажешь, что О примостился на краешке ойкумены, но и до диковатого центра далековато. Туристы в О не добираются, иностранцев в былые времена совсем не бывало, впрочем, и ныне, в телевизором просвещенные времена они гости не частые. Великие заморские путешественники О стороной обходили, летописцы не замечали, добром не поминали и не поносили, во время пира истории О обносили. Коль случались в землях сих славные времена, другие в лучах славы купались, а город О в лучшем случае обноски славы донашивал. Такова судьба в этих широтах у брата меньшого. Не то что в иных, где меньшей, овец пасущий, рыжий к тому же, ражему детине из пращи рожу камнем уродует, дочь царскую в жены берет и, то ли ее позабыв, то ли побрезговав, став царем, иных жен заводит во множестве.

Огого и Охохо

Обрел город имя свое во время оно, в века незапамятные, и было оно предопределено, ведь находится он у сияния (опечатка: слияния) рек: великой могучей реки Огого и Охохо, малой и слабосильной. Суда и щуки плавали в Огого. А в Охохо караси и мальчишки плескались. Две эти реки не слишком бурно сливались в единую большую, не очень городу О подходящую. И та плыла, из виду пропадая, в вымысел писательский блаженно и безвозвратно впадая, окоем обнажая, бескрайностью пространства птиц и людей могущественных соблазняя. А в городе птицы – всё больше окающие вороны и воробьи.

Вообще, не шло городу О, любящему подглядывать в замочную скважину по ту сторону здравого смысла, не шло ему огромное, слишком просторное, неумное, безбашенно мясоедное. Городу О – есть творог ложками небольшими десертными, пить молоко глотками не скупыми, однако не жадными. Клубника со взбитыми сливками О также не слишком годится. А после молока с творогом славно в городе О долго чаевничать, а затем тихо сумерничать.

Согласные в обоих гидронимах столь слабосильны, что в быстрой речи, особенно женской, трескучей, да когда голоса, нередко запросто опускаются. Так что неудивительно, когда на месте привольном, водой у леса отмытом, поставили первое городище, то нарекли его, провидя судьбу великую и слабосильную, О, о чем не пожалели.

Однако экскурсоводы рассказывать это не любят. Тем более что, кому или чему своим названием город обязан, достоверных данных не сохранилось. Как и многого другого: зданий, лиц, соборов, деревьев, слов и людей. Распространенная легенда же сообщает: то ли в реке, то ли в пруду то ли трезв, то ли пьян, то ли добр, то ли зол, то ли умен, то ли глуп, кто-то громко тонул, крича при этом истошно. «О-о-о», – так орал, что донныне названием докатилось.

Другие предлагают версию куда как более привлекательную, услышав которую, разносят туристы. Рыжебородый, стремительный, с бегающими глазами не слишком храбрый Иван, слушая донесение о закладке города в месте слияния Огого и Охохо, зевнул широко и протяжно, ладонью беззубый смердящий рот прикрывая. То ли

реки на него повлияли, то ли «о» – звук истинно царский, самый самодержавный, неведомо, но город хватать – и присвоил.

Что, скажем, Прага без «о» обходится, в этих широтах никак не проходит. Здесь она была бы полноценно русским Порогом. А что у них означает, берег, брод или что-то еще, к делу отношения не имеет.

О пестреет афишами и растяжками, свисающими с серых набухших болотной влагой небес. Престарелая тетка, изображая юную капризную девочку, сзывает на шоу, выставя ногу, как бы это сказать, несколько ампутированную от всего остального. Тошно. То ли от поездки, то ли от дурной множественности этой ноги, то ли от тyani-толкающего города О, ампутированного от мира.

Ужасно захотелось назад, в теплую осеннюю Прагу, золотую, в укромных местах у реки совсем умильную левитановскую, где дал завершающий концерт большого турне перед каникулами, кусок из которых откусывал О, всегда за счет иного в жизни его возникающий. Может, сам такой Прагу придумал, совсем на О не похожей? Пусть даже так. Какое имеет значение, если там хорошо.

Может, это судьба несчастного города: существовать за счет иного, более счастливого и осмысленного бытия? Или закон этот всеобщий? И он сам живет за счет кого-то другого, вместо него на свет появившись. Явился бы тот, кому О был бы родным, и жизнь в нем ему была бы уютна. В голову не пришла бы мысль гнусная, что О за счет чего-то явился и вместо него пребывает. Следовательно, не О в его тошноте виноват, а он сам, ну, может, эта бабища, которой языческое капище украшать, а не О православный, которому природная, первопрестольная, равноапостольная округлость полное смысла и мудрости бытие предвещает.

Как бы то ни было, получалось: в О он жил дольше всего, и тот был точкой отсчета всего остального. Однако с двух-трех приездов последних точка отсчета начала исчезать. Было неясно, откуда считать и куда. Если Итака исчезла, куда возвращаться, да и скитаться зачем? Подумав так, осознал, почему через силу продолжал ездить в О. Некуда возвращаться – нет Одиссея, бабочкой над клавиатурой порхающего по континентам. Приезжает, чтобы, уехав, сохранить иллюзию возвращения, тем самым, непрерывности бытия там, где, в отличие от пражских, вытянутых, продолговатых, лица всё боль-

ше овальные и округлые, где, в отличие от дев и юношей пражских худых, девицы и парни обширны в теле, кряжисты.

В редкие минуты соприкосновения О поражал широкорото открытой наивностью, особенно бросавшейся в глаза по приезде из Праги, где смыкается славянство с латинством (глагол можно сменить: скрещивается, сливается, разбивается). Две реки. Но не так, как Огого и Охохо, тихо и незлобиво, но бурно – сшибаясь, об утесы разбиваясь кроваво; не ледяной и не липкий – смертельный страх перед смертью. Но благо: разделенные не только в пространстве, но и во времени, не сшибались реки – текли себе и текли.

Серые, угрюмые и нечистые, особенно после пражских, где восторг самоцельно сладостного блуждания, где голод не утолим ни едой, ни соитием, картофельные базары и капустные города О не тянули. Раз заглянул – не возвращался.

Не то чтобы верил в приметы, но внимание обращал. По пути в аэропорт увидел афиши: «Смерть Иоанна Грозного» и «Гроза». И – фамилия режиссера, которого из О громко изгнали, вот и разъезжает по свету. И еще перед отъездом повстречалась белая кошка с черными лапками, предвещавшая успешную поездку с толикой неприятностей.

И вот уже утробным медвежьим ревом валторны из лесов мохнато О выползает, излюбленные слова возглашая.

«Топот», – и всё вокруг топотало, оголодав.

«Хохот», – всё вокруг держалось за животы, холодея.

«Грохот», – стекла дрожали, от мира грубого, горького, грозного отгораживаясь.

В пандан пешему Ильичу

Что-то долго, уже и стемнело, кружили по городу. Вдруг пейзаж каким-то закоулочным черным пятном заслонился, почудилось: глаза внутрь закатились. Потер, внутри машины всё было на месте. Успокоившись, прикрыл глаза, и О представился без людей: улицы, по большей части прямые, растекающиеся равнинно вольно и бесконечно, пузыри пространства, претендующие быть площадями. Дома однообразны. Церкви в каменном месиве совсем незаметны. Кладбища спрятаны за высокими каменными заборами: не порти-

ли бы настроение и пейзаж не корежили. Парк невзрачный с деревьями худосочными. Зато набережная: коротка, но роскошна, самой Огого позначительней.

Смотрел, и в памяти возникала пражская огромная площадь, улицы по большей части кривые со множеством переулков и тупиков, с домами очертаний неясных и топографии непонятной: войдешь с одной улицы на горе, выйдешь под другой горой в переулок. Распятая, каменные святые на площадях, перекрестках, в нишах, углах домов, перед ратушей, на каменных мостах – одним словом, везде. Соборы, огромные парки со столетними деревьями, скверики. Другое всё совершенно. Одно было общим: ни там, ни здесь людей в городе не было. То ли темное пятно поглотило, то ли уставшее сознание захотело хоть на время от них защититься.

Людей не было. Даже стал нервничать. Хоть оснований для беспокойства совсем никаких. Водитель исправно рулил. Встречающий молча смотрел перед собой. Что его беспокоило?

В отличие от Праги, О зрелищами и чудесами не был обилен, и, в отличие от нее, постоянно строившей Вавилонскую башню, на подобное не решался: рано-ли-поздно башня рухнет и погребет. В крайнем случае О был готов пожертвовать подмоченной репутацией: серьезные наводнения здесь были нередки. Но подмоченная репутация за лето подсохнет, а разрушенное века восстанавливать.

По городу ехали долго, все памятники миновали. Был еще один в стороне от проезжих и прохожих дорог, не памятник – бюстик: надпись исчезла, происхождение из памяти горожан улетучилось. Народная тропа заросла, не была и проложена. Но живы были еще старики, помнившие времена, когда высказывались предположения о принадлежности. Однако гипотезы позабылись.

У театра мелькнуло: «Царь Федор Иоаннович» и «Светлое царство» по пьесе В.В. Туповского.

Когда, подъезжая к дому на набережной пруда, пересекали центральную площадь, увидел конный памятник новопоставленный в пандан пешему Ильичу, стремительно-ручно в будущее устремленному увлекательно и призывно. Конный и пеший, вечно живой и вечно живущий с пониманием друг на друга смотрели, хотя обычно всадник безлошадного презирает, чувство оскорбленного достоинства, переходящее в ненависть, вызывая.

На следующий день здесь случившись, от пешего к конному не слишком громко воззвал. Эхо трепетно подхватило, колокольным звоном вернуло. У кого такое эхо он слышал? Колоколов было много. Эхо не вспомнил. Запомнить и повторить. Шептать, и чтобы во все колокола эхо, возвращая голос, било, напоминая.

За событиями в О следил он отрывочно: без них новостей доставало, да и редко там примечательное происходило. Хотел о памятке расспросить, но слишком угрюмый собеседник случился. А к шоферу, хотя наверняка разговорчив, при встречающем обращаться было неловко.

Что еще за жидовская немчура?

Перед входом в дом на набережной его встречала черная кошка с белыми лапками, сулившая кучу неприятностей со счастливым исходом. В номере с репродукции на стене смотрели выцветшие от боли глаза: в черном Иван обнимал убиенного сына многострадально, как сама репинская картина, запрещаемая и калечимая. Лучше бы на ее место митьков, дарящих Ивану Грозному нового сына, повесили. Но в этих палатах ничего менять не спешили. Может, и верно. Сегодня снимай, завтра – обратно.

Номер огромно трехкомнатный, ни к селу, ни к городу, несуразный. На стенах ковры. На паркетных полах дорожки ковровые. Начальственная квартира жильца одинокого. Кровать железная, узкая, чуть не полевая офицера времен Германской, как сперва именовали, войны. Не сразу ведь осознали, что мировая: на западном пусть будет без перемен, главное проливы, Босфор, Дарданеллы, Константинополь, мечта Екатерины, воспитывавшей царем греческим Константина. Человек в Грецию предполагает, а его располагают наместником польским.

В спальне шкаф, в нем железные плечики, секретер, не нем радиола «Латвия», желто-коричневая. Всё в комнате работы ширпотребно стандартной, времени не слишком понятного, на эпохи долгие растяжимого.

Зато гостиная: стол, буфет, два кресла, диван, тумба, на ней телевизор, и, что восхитило: великолепное канапе. Всё – золото, бархат и шелк, красное и тяжелое. От барокко к рококо и обратно. Бо-

лее всего изумило: стул и торшер, одиноко, в углу. Стул кривоват, смахивает на гамбсовский из кино, торшер замечательно тонконог, узок, с абажуром лимонным, шестидесятническим. Под такими читали.

В третью комнату не заглянул. Наверняка избыточно, бесполезно, тавтологично. Зато наведалься в кухню понюхать, показалось, газом запахло. В детстве, когда такое случалось, форточку открывали. И он на всякий случай ее приоткрыл.

Мелькнуло: классическая опера в декорациях не совсем современных. Прислушался: когда запоют, сумбур гениальный являя? В таких декорациях не грех не только старушку-процентщицу, но и главу Центрального банка в сортире богоносно частушечно, не прокусив в припадке язык, замочить.

Утром, направляясь в зал перед вечерним концертом размяться, выйдя на площадь, двинулся к глыбе, застывшей на лошади, никуда никаким аллюром не скачущей. Постамент, массивный, прямоугольный, вмерз в вечную мерзлоту, в него лошадь взнуздана намертво, в нее вмерз в нестигаемый плащ закованный повелитель, в его голову – шлем, Мономаховой шапкой прикидывающийся. В правой руке – крест осьмиконечный, из левой руки вниз сосулисто меч вымерзает.

И лошадь и крест, и всадник и меч ко всему безразличны. Что город О всем им вместе с реками Огого и Охохо. Может, если руки были б заняты веслами и был он не всадник, а кормчий, и под ним была бы не лошадь, а челн, юркий, увертливый, всё бы обстояло иначе. Но было, как было: как задумано, так и отлито, как отлито, так и воздвигнуто.

Обер-прокурор расстарался: на века заморозил. Кто только паяльной лампой растопить лошадь пытался, птицей-тройкой манил. Бывало, двинется, на миг даже галопом рванет – и назад, на пьедестал, на печь Иванушкой-дурачком, в сундук неподвижный, с добром поистлевшим.

Оцепеневшая лошадь, однако, была симпатичной. Глаза выпукло любопытны. Уши – бараньи рога раструбом наружу. Сбруя и кафтан всадника под плащом узорчато княжьи, средневековы. Хочется свистнуть, гикнуть, от вечного сна разбудить. Пусть не птицей-тройкой — хоть ногу поднимет, поведет чутким ухом, гриву

взметнет, а за ней и всадник в стремях малость поднимется, землю вокруг себя оглядит, небо увидит, оцепенение стряхнет с души замороженной. Кому эта вечная мерзлота?

Гадать времени не было. Прочитав, глазам не поверил. Бронзовым чудищем ледяным Иоанн, в династии Рюриковичей четвертый по счету, прозванный Грозным, неожиданно-негаданно вдруг оказался. Вот куда, по слову поэта, величья длинная стезя привела царя Иоанна. Отныне единолично царствует в О. Единственный царь на все времена и эпохи. Бездумно сучьи сущности умножающий по всей строгости закона враг Иоанну.

– Даже в эпоху великого фильма великого режиссера во времена каннибальские памятник извергу всея Руси поставить не смели.

– Что еще за такой режиссер?

– Эйзенштейн.

– Эйзенштейн? Что еще за жидовская немчура, подлый гад из ХАБАДа?

Опричь его царя нет и не будет! Так возглашает О колокольно!

Пред Иоанном короли, князья – глупцы, шуты, паяцы и скорморохи!

Кто с ним посмеет в шахматы сыграть, рискуя жизнь поставить на кон?!

Воров, плутов и прочих чужеземцев жечь на кострах во здравие Иоанна!

Иного владыки не хотим, не желаем! Вечная жизнь государю!

Никто иной государить не смеет, в долготу веков он один, Иоанн!

Целуйте крест и меч, целуйте его!

И будет раздача хлебов, песен, жен, браги и пива!

Лимонные калы

Обошел памятник раз и другой. Читал табличку снова и снова. Слева направо. Пытался и справа налево. Поинтересовался имени скульптора и архитектора. Отошел в сторону – под другим углом зрения глянул. Ущипнул себя – жаль, он не спал. Вспомнил пьесу. Сцены из фильма поплыли, великой музыкой зазвучали. Хотел

спросить, где находится, может, не туда завезли. Никого поблизости не было. И побрел вспоминать, трудные пассажи играть, побрел разминаться.

Неожиданно скверно памятник повлиял. В конце концов, что ему памятник, что Иоанн, что ему О? Ан, нет. Зацепило. То ли водки несвежей глотнул, то ли воды болотной напился, то ли головой ударился о косяк, выкурив который, в себя еще не пришел.

Привык самочувствие и настроение наружу не выставлять. Под вечер, одевшись к концерту, последним штрихом пристроив бабочку и улыбку, вышел в холл, где встречающий подждал. Перед залом – ярмарка тщеславия автомобильная. Зал полон, лишь в начальственном ряду зияют места. Что-то скрытое от непосвященных в городе происходит. За кулисами громко шептались, грозные слова доносились. Что-то с губернатором, ведь только-только назначен, едва заступил, на концерте не будет, из города увезут: перед государем-батюшкой провинился, кончится дыбой.

Концерт был ужасен. Будто играл лягушкам в пруду. Публика была настолько смурной, что даже, на бис одарив шипучей шампанской музыкой Листа, оглушив, не разбудил. Кланяясь, думал о рюмке водки и бутерброде с икрой. Вместо этого под дых схлопотал: официанты шампанское разносили. Выслушав заикающийся тост перепуганно замещавшего отлучившегося на дыбу, сославшись: устал, от встречающего отвязавшись, вышел на улицу.

Не был О расположен к фуршетам. И раньше после концерта фуршет был вроде искусственного цветка на телогрейке, зависимость, не смущаясь, являя: чем в О холодней и голодней, тем на фуршетах вкусней и изысканней.

И тогда, когда о памятнике застывшему времени не помышляли (хотя кто может за правителей О поручиться?), в памяти всплыла картина царского пира из читанного в детстве «Князя Серебряного». Хоть фуршетный стол был вовсе не беден (в Праге таких не бывало), но всё меркло перед разноцветием, разновкусием, обилием ароматов, описанных одним из Толстых, из рукава которого жареные лебеди, павлины и журавли, вылетев, на золотые блюда ложились в окружении рябчиков со сливами и тетерок с шафраном. Это хоть как-то было еще представимо. А из другого толстовского рукава являлись вовсе невнятные верченые почки, караси

с бараниной, за которыми гнались лимонные кальи. (Это нынче интернет любую загадку с легкостью неприличной превращает в банальность, таинственную калю в суп превращая, а в те тайнописные времена толстовская тайна была за семью печатями, редко примечаниями размыкаемая). Всё запивалось родными медами и иноземными винами.

После такого губернаторский фуршет был пародией на хлебо-сольство, а черно-белые официанты – бледной выцветшей копией бархатных кафтанов фиалкового цвета с шитьем золотым, в которые были наряжены слуги.

Вероятно, у императора австро-венгерского, столицей избравшего Прагу, Рудольфа за столом было тоже не бедно. Или тому свой Толстой не достался? Впрочем, и ныне тамошние фуршеты несколько поскромнее. В отличие от Ивана, у которого были три страсти: власть, власть и власть, страстью Рудольфа была красота: картины, звери, скульптуры, женщины, музыка.

За несколько дней до О он сходил, наконец, в музей алхимиков знаменитый. По винтовой лестнице в башню поднялся. Рудольф сам был не последним алхимиком. Злата улочка в Пражском граде – крошечные домики в арках мощной стены, где жили алхимики и колдуны. Была у Рудольфа лаборатория: печи, реторты, корни мандрагоры, перья попугаев, зубы кита, рог носорога, песчинка земли, из которой был создан Адам, из Ноева ковчега пара гвоздей, посох Моисея, ударом которого по скале тот добыл страждущим воду, когти саламандры, демоны в запечатанных колбах и еще немало чего замечательного. Рудольф самолично добывал философский камень, а многочисленные агенты не только покупали для императора предметы искусства, но и снабжали сведениями об алхимии и алхимиках.

В отличие от Рудольфа, царь Иоанн алхимиком не был, философский камень не добывал, предметы искусства не покупал. Его агенты заняты были поиском жен, от которых по прошествии времени, обычно не слишком большого, царь имел обыкновение различными способами избавляться.

Один из них жил, чтоб умереть. Другой умирал, чтобы жить. Что относится к Рудольфу, а что к Ивану? Отгадайте загадку.

Сон был в руку царю

Во сне услышал царь великий и грозный, как Алексей Басманов с подручными говорит.

– Царь гневен и грозен. Не ест, не пьет: отравы страшится. Крамолы, ножа, предательства опасается. В грудь бия, говорит-приговаривает: «Что за радость царствовать, что за веселие страшилищем быть?» Всему виной, полагаю, тяжелое Иваново детство. К тому же, отец Ивана способен был долг супружества исполнять, лишь глядя на голого стражника из своей же охраны. Вот и досмотрелся до Ивана, до грозного, до неврозного.

– Взгляд лукавый, высматривающий да выпытывающий, всю душу выматывающий.

– Как бы худодейство окаянное над нами не учинил.

– Как бы о часе смертном нам не напомнил.

– Или мы царя умиротворим, или нам мира не будет.

– Или погасим огонь, или нас пламя пожрет.

– Ни метлы, ни собачьи головы от гнева царского не спасут.

– Что ж, Алексей, нам овцами на закляние?

– Полно. Чем, братья, царя умиловить, успокоить?

– Шутов шибко пляшущих!

– Музыку звонкую!

– Вести добрые!

– Добрую бабу!

– Всё не то, братья. Шуты плясали – попадали. Музыка гремела – затихла. Вести добрые – славно, да где их возьмешь, если все вести нынче худые. Баб добрых сколько было – извел, надоели ему, опротивели. Царю не этого надобно. Царю нужна ласка такая, чтобы пуще, чем от вина, захмелел, чтобы гнев рассеяла, чтобы страх из души, выласкав, извлекла и силою истребила.

– Что задумал ты?

– В печь огненную троих отроков свергнуть?

– Зачем троих? Достаточно одного. Но такого, который и царя грозного лаской своей усмирит. Сладкогласого, безбородого, белокожего, краснотубого, нежняязыкого, телом чистого, удом внушительного, плотью крепкого, который телом ласковым дух грозный, гневный уймет.

И увидели, как, обрядившись в новый кафтан, наклонив голову, отрок в покои царские дверь отворил, дух испуганный в шапку вминая, а впереди тень и страх его мышами испуганными прошмыгнули.

На него глядя, кто-то, ухмыляясь, сказал:

- А кафтан, однако, ему ни к чему.
- Важно, что под кафтаном.
- И чтоб ангельский запах заморский.
- Того пуще! В платье женское отрока б нарядить!
- Гойда!
- Чмок-чмок!
- Хлюп-хлюп!
- Будет отрок царю люб!
- Царю люб!

Утром царь – кому во сне не разобрать – говорит:

- А мальчика того Федьку, который в ночь был со мной, определить в царскую службу. Чьих он?
- Алексея Басманова сын.

Такой сон был в руку царю. Явь такая самодержцу пригрелась.

Без конца и края по тексту

Прежде встречавшие всё время вокруг него увивались, на фуршете знакомили с ним, подводили, засыпали словами. Хоть и были друг от друга отличны, принадлежали к когорте знавших, как со врать не солгавши. Слова, которыми сыпали, пропускал мимо ушей, те, жужжа, мухами пролетали. Нынешний был исключением. Доведя до фуршетного зала, широко раскрыв дверь, приглашая, исчез вплоть до момента, когда он зал покидал. Да и весь нынешний фуршет был необычен. Людей мало. Знакомиться желающих было немного. Ничего в глотку не лезло.

Неладно в городе О. Тошно. Черно. Пастыри на чирья пластырь накладывают. Нестерпимо настырно изо всех щелей тянет ладаном и на веки вечно увечные в язык вбитыми рифмами. Бесконечно, пронзительно, черноризно. Идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная.

Город О обожает цели ставить перед собой: того добиться, этого обогнать, сего обойти. Чем больше ставит, тем более убеждается: попытки бесцельны. С другой стороны, коль скоро О толст и округл, и похож на колобка, он добр и относительно добродушен. Для чего ж ставит? Для того, чтобы знать, чего не было, того и не будет.

Часов в городе нет. Когда-то были, но вечно ломались, время показывали вразнобой. Обыватели то опаздывали, то заранее приходили. Так что часы извели. С тех пор случается всё исключительно вовремя. Обладавшие слухом почти музыкальным осмеливались утверждать, что особенно в тихие ночи не только тиканье слышат, но и скрип стрелок по циферблату. Но обладавшие слухом обычным – их в О было подавляющее остальных большинство – в это совершенно не верили, утверждая: «Лгут эти, слухом кичащиеся, привирают, себя предъявить народу желают!»

Когда часы извели? Точно не помнит никто. Пожалуй, тогда, когда вещуны, волхвы, ворожеи, юродивые, кудесники, божие люди, блаженные из пространства города О напрочь исчезли. Куда? Существует предположение, что в ином времени убежище временное обрели, на вечное и не претендуя.

От одного из юродивых лживый рассказец остался, бесовским попущением невинные души смущая, на погибель поверившим в него сохранился. О том рассказец, будто О вовсе не город, но вроде дырки от бублика, или кольцом выдохнутый дым сигареты, прореха, бесцветный шарик надутый: воздух вышел, на землю пятном размытым безвольно неукоснительно опустился. А глупые видят и восклицают, мол, город, а сами настоящего города никогда и не видели. Чепуха, одним словом, безумного блаженного выдумка.

Конечно, славно бы на них, на юродивых не от мира сего, там, в убежищном времени поглядеть, замечательно бы поговорить, прекрасно бы их описать. Но в том времени повествователь, увы, не жилал. Может, попробовать описать некоторые события там происшедшие? В конце концов, не помешало Лесажу, никогда в Испании не бывавшему, описать в «Жиль Бласе» происходившее в жаркой этой стране соблазнительной.

Что такое О, как не соблазн, ловушка круглого дьявола, одолеть чтобы который, по слову Уайльда, ему надо поддаться? Вот десять лет и поддавался, соблазн не одолев.

Что есть О, незабываемо незабвенное, подхихикивающее и подмигивающее, плененное неведомо когда и неведомо кем, почти длинношее с трубами что пониже и с дымами пожиже?

Что О такое, страусино остервенело зарывающее голову то ли в прошлое, то ли в будущее, ищущее спасение на посадочной полосе брутальной истории или ее обочине непотребной, загаженной окурками, осколками бутылок и нечистотами?

Что есть О, о жизни которого некогда говорилось: безденежно и безнадежно?

А нынче даже не О, а О-2, первый когда-то случился, да обломился. Чего инвариантно второму-то удивляться? Отцы, два раза в Прагу входившие, и очень по-разному, терпели и нам, несмышленным, инерцию стыда-совести преодолевшим, расплаты не ждущим, настоятельно повелели. И это не шутка, не опечатка. Какие шутки и опечатки в пост-фастфудные времена, когда в блестящую златоверхием гулкую храмовую пустоту тянутся грешащие бесстыдно, непробудно, потерявшие счет дням и ночам, с головой трудной от хмеля. Тянутся – склониться долу три раза, семь раз крестом себя осенить, к заплеванному полу горячим лбом прикоснуться.

И далее, без конца и края по тексту.

Диво дивное в городе О

Было тепло, лунно, не сыро. Как был в концертном, лишь улыбку убрав, пошел по улицам совершенно пустым, и в домах окон светило немного. О засыпал очень рано: чуть свет на работу. Он двигался, утренним видением оглушенный, глядя по сторонам, и ноги сами вели, куда мысленно даже во время концерта следовал неотступно.

Недалеко от площади, из чахлого скверика его вдруг окликнули. Присмотрелся: несколько мальцов, которые были не такими уж и мальцами, по местному обычаю пивом себя заливали – все для

того назначенные места распирало. Когда в рот не вливалось, вырывались слова. Завидев, вразнобой заорали:

– Эй, пингвин, хочешь пива? Иди сюда, угощаю! – Самый добрый.

– Эй, американец, спой арию! – Самый догадливый и образованный.

– Эй, пацан, в рэпе сечешь? – Самый современный и музыкальный.

– Эй, не русский! Топай к нам, жид, расскажи, какое в Израиле пиво! – Самый наслышанный, газеты читающий.

– Ловишь кайф, пидор, когда в жопу ебут?! – Он же, самый латентный.

Удивленным виденьем ночным им было скучно смертельно. Вместо креста и меча – пиво и сигарета. Пиво пузырилось. Сигарета дымилась. Идти по домам не хотелось. Пить пиво обрыдло. Курить невмоготу. И приключений, как в детстве, искать не хотелось.

Что с них возьмешь? Парная, пахнувшая чуть подкисшей сметаной и свежей пеной пивной плоть пацанячья. Легкий парок: молоко на губах стремительно высыхает.

Поняв, что реплики странного прохожего не задели, кто-то из мальцов заорал:

*На коньках зимой на пруд
Пацаны и девки прут,
Прут, чтоб покататься,
А потом... прощаться.*

Вслед за ним:

*Летом без коньков на пруд,
Пацаны и девки прут,
Прут, что покупаться,
А потом... прощаться.*

Поняв, что конвенциональный жанр про конвенциональные отношения не подействовал, из-за жидких кустов выскочил самый лохматый и, задрав голову и задергавшись, заорал голосом лома-

ющимся, окружающий мир познающим, мило косноязычным. Побросав бутылки и сигареты, бэк-вокалом ринулись задорные голые голоса, телами, из которых они вырывались, наглядно изображая происходящее, вплоть до содомического соития героев рэп-баллады вопреки закону о вовлечении в грех малолетних.

Он не слишком охотно от них уходил, и в спину его, и правда, пингвинную, словно моля о снисхождении, горлопанили истошно и безутешно.

*Эй, вы там, кто не хаваает рэп,
Кандалов нам не надо и скреп!
Парни, я вам чего расскажу,
Я не сказкою вас поражу,
Приключилось не так уж давно
Диво дивное в городе О.
Шел себе, и не в дупель был пьян,
Вдруг гляжу: предо мною Иван,
Поклонился ему: «Гой еси,
Грозный царь всей великой Руси».
Исподлобья гневно глядит,
«Подойди сюда», – говорит.
Роста малого Грозный Иван
Мне велит: «Ближе, болван!»
«Подойди, – говорит, – пидарас,
Поучу уму-разуму щас,
Повернись и штаны скидавай,
жопу, пидор, свою раскрывай».
Царь есть царь, а приказ есть приказ,
Я стою пред царем без прикрас,
Делать нечего, выпучил зад,
Руки-ноги и жопа дрожат.
«Ты не дергайся, сучий ты сын!»
И вонзил в меня царский свой дрын.
Разодрало меня пополам,
Но очнулся назло докторам.
И с тех пор я о диве пою
И всем дядькам богатым даю.*

*Вот такое вот диво одно
Приключилоя в городе О.*

Что сказать? Что ответить? Совестно перед словом. Хотелось выть от тоски. Они и выли, притворяясь счастливыми и поэтами. Счастливые пили пиво. Поэты рифмы искали. Не их вина, что к слову «любовь» в их языке так мало рифм, да и те донельзя затасканы.

На их глазах утомленным солнцем О проваливалось в себя, как иные – в бездну, в пустоту, в тартарары, из Муромских лесов в Тмутаракань перекочевало – на другой берег за девками и за рифмами, что в их возрасте одно и то же, погулять по мосту бессмысленно и беспощадно.

Юнцы, мальцы, пацаны, которым еще предстоит впервые навеки влюбиться, одинокие мальчики, страдающие от самопроизвольной эрекции, случайно четвероугольно сбившиеся в квартет, то ли битловский с круглым вырезом для шеи щенячьей, то ль мушкетерский, шпажный, игольчатый, школьники, учившиеся у Ардальона Борисыча Передонова, сбившиеся, чтобы, назубоскалившись до отрыжки, меньше от предложенной им жизни страдать, чтобы из предготовленных форм перед самой отправкой в печь выскочить хоть в пустоту. Только с лопаты Бабы Яги соскочить! Чтобы в старости, когда приключится и если, у огня, у трескучих дровишек травяной чаек попивать.

Голоса доморощенных самородков полновластвовали в тишине, они были единой попыткой музыки в светящемся телевизорами и засыпающем, похрапывая и портя воздух и экологию, городе О.

Как-то сами собой в О дети рождались и бегали среди желтеющих одуванчиков по зеленой траве, им хотелось петь, как умелось, пить горьковатое пиво, а иным и слушать прекрасную музыку и пить вина с тонким букетом, солнечным и веселым.

Уходил, и вслед неслоь надрывно, как надежда, которую вот-вот кремируют:

– Эй ты, комик!

– Эй ты, гномик!

– Эй ты, гомик!

– Эй ты, непроницаемый вурдалак!

Очень хотелось, сбросив не только улыбку, но и с бабочкой

фрак, к ним присоединиться. Но он был бы пятым. А такого быть не может никак.

Ростовщики, берущие время в заклад

Издали глянув на освещенные прожекторами постамент, лошадь и всадника, замороженных смертно друг в друга, не приближаясь, пошел в дом на набережной. Корявые слова, бесстыжие голоса, незастывшие души и стыдливые тела обнаженно кружили вокруг него, в свой круг вовлекая. И Рудольф, то ли бетховенский ученик, то ли другой, перенесший двор императорский в Прагу, вместе с мальчишками города О пилили ржавые скрепы и кандалы разбивали.

Мальчишки джинсы, футболки поскидывали, татуировки на руках, ногах, спинах, груди демонстрируя: орлов, драконов, мадонн, собственные портреты, с львиными мордами в одно изображение совмещенные. Нарядились в узкие штаны, шелковые чулки, камзолы, шитые золотом, из пурпурного бархата с кружевными белыми рукавами и золотыми застежками, в атласные башмаки с яркими бантами. Одежда была не по размеру: то ли мальчишки были громоздкие, то ли платье было с людей мелковатых. Руки-ноги торчали, спереди-сзади давило и выпирало. Но тем веселей мальчишки ему на ухо орали, пивом попахивая, то ли местным, то ли пражским, не разберешь.

Двор из Вены в Прагу переехал в год 1584, в марте которого больной вседержитель русский Иван распух и вонял, как говорили, из-за разложения крови. А умер, как заявлял один из иностранцев, путешествующих по Московии, за игрой в шахматы. С кем царь играл? Имя партнера-свидетеля история не сохранила.

Как не сохранила имен отроков, дев, до которых и в лютой болезни был Иоанн люто охоч. Приводили к нему, смертельно смердящему, их на забаву. Плясали голыми пред царем, а он вином за морским белые тела поливал, а потом подводили, и тот в немощи своей в тайное тайных дев и отроков проникал, остатки вина с кожи их слизывал. Когда отпускал, неделями, месяцами от царской вони щелоками в банях несчастные не умели отмыться. А когда кому после смерти злодея жаловались втихую, щенячье скуля, им имя одно

говорили, на шею показывая, с одной из которых голова от царского гнева слетела: Федька Басманов, царский любимец, по приказу Иоаннову обезглавленный.

По пути в дом на набережной размышляя об Иоанне и думая о Рудольфе, представлял, как выламывали события прошлого, словно камни из стен. Здание клонилось, и, чтоб не упало, его подпорками укрепляли. Так и стоит кособоким, что со временем стало привычным, никого не смущая. Чем дальше, тем подпорки всё больше выбирались гнилые. Других взять было неоткуда и некому. Остались ростовщики, скоротечно жизнью торгующие, ростовщики, берущие время в заклад.

До безумных пиров и плясок безумных, до безумной любви к девам и отрокам император Рудольф не был охоч. Страсть его – картины, скульптуры, изящное золото и серебро, монеты старинные. Любовь его – звери, в неволе держал, собственноручно кормил. Особенно любил царей зверей – львов, и орлов – небес императоров. Представил: Рудольф идет по дворцу, вглядываясь в излюбленные картины, детали мельчайшие подмечая, проходит мимо скульптур, изображающих мудрость, смерть и любовь.

Медленный ритм чужого движения, становясь своим, вкрадчивый, неторопливый, внутренний слух наполнял. Дворцовой дверью, распахнутой в сад, скрипнув едва, звуками обрастая, голос прошлого широко разносился: щебечуще флейтами и медных львино-царственным ревом, перемежаемым клетотом деревянных орлиным. Куски мяса щедро и важно, слетая с руки, вальяжно падали, чтобы шлепнуться влажно, с присвистом перед красной пастью зубастой. Хрустело, хрумкало, глумливо и ядовито – насмешкой над императором, дворцом и садом с выгороженным от чужого глаза зверинцем.

Казалось, глумливые звуки писклявых пикколо и визги струнных, нетрезвых, гнусавых, это предел, за которым или новая тема, предыдущую убивающая, топчущая, в песок садовых дорожек втирающая, или...

Звуки друг другу хитро подмигивали: трубы – валторнам, скрипки – виолончелям. Но не так, как у великого, быстрее и чаще, нервно и бестолково: будто в чаще запутавшись, олень путь пробивает. Всхлипы и достоевские взвизги суетящихся херувимов, уху чуткому совсем не возможные.

Больше глумиться никак невозможно, дальше распад – ноздри вонь раздирает, человечесье мясо гниет, отроки и отроковицы под дребезжание и дрожь ударных угарных падают к царским ногам золоченым, и, оскверненные святостью власти, до кости обнаженной, больше никогда не поднимутся. Шквал звуков восходит к царю на крови проклятием – обвалиться, человечество под собой хороня, тишиной долгой и внятной, бесконечным отсутствием звуков человека под собой погребая.

Но не бесконечна и тишь – молчание музыкой обрывается. В припадке безумного гнева исчезает царь грозно, позорно, обвальнo. Соло безумия – соло ударных. Пронзающий самые дикие души трубный хриплый плачущий и смердящий предсмертный ор Иоанна.

Затем тихо, уходя в беззвучие небытия, пропадает братом с трона смещенный Рудольф. Из обвала и не слишком ласковой тишины, из двух тем параллельных, в никуда уходящих, возникает новая, нежная, с каждым тактом грубеющая: к флейтам от шелеста трав, флейтам, свистящим пронзительно, через скрипки к трубам, несчастьем ненастным под сурдинку звенящим. Но и здесь глумление навязчивым лейтмотивом гугнящим. Дуэт черных кошек виолончельных: скрытно чопорной – пражской, восторженно откровенной – из О.

Кузминской вихляющей хлюпающей мелодикой мальчишки являются. Орут, сквернословят, страдая, что не умеют иначе: деревянные вразной. Вослед, в звуках захлебываясь, фэготы-вещуны верещат. Пацанье воеет рэп-голосами неустоявшимися, надтреснутыми, орет, не ведая, голосит. Тема прервется, старинной пластинкой, довертевшейся до конца, заскрипит, зашипит, исчезая.

Не отвлекаться, в стороны не уходить, все линии, все темы четко в толще звуков прорезывать. Две сталкиваются огромными льдинами, третью на поверхность выталкивая. И та новой весной, когда Огого и Оохо вскроются, тоже исчезнет. Но пока нынешняя длится зима, корявые жуткие звуки будут слышать, как бы уши не затыкали.

Будут, пока причины не станут следствиями, а следствия превратятся в причины. Вначале Новый год мандаринами пахнет, чтобы потом Новым годом пахли оставшаяся жизнь мандарины.

По дороге услышал симфонию

По дороге услышал симфонию и, добредя, обессиленно свалившись в постель, стал соображать, каким образом хоть на полгода, всё отменив, засесть в Праге, с которой сроднился, чтобы, услышанные темы тщательно разработав, найти точки пересечения, перекрестки, где те будут скорпионами друг в друга впиваться, доказывая, чей яд ядовитей.

Как сделать то, что практически невозможно, никак не придумал, заснув сном тревожным, прерывистым, полным звучания, при котором дремал, и тишины, при наступлении которой просыпался и заснуть не мог долго, мучительно. Когда под утро удалось задремать, сквозь снежные ватные просторы туманные донеслось:

– Врешь! Не знаешь, с каким бесом царь всея Руси, постриженный в иночество, Иоанн в смертный час свой играл? Не ты ли шахом и матом владыке полумира грозил?! Не тебя ль среди толпящихся круг царя умирающего художник, как его там, рисовал?

Что ответить? В шахматы последний раз играл в О еще в детстве. Имя художника тоже не помнил и тем более не мог припомнить того, что был среди окружавших царя-душегуба в его смертный час. Необходимо было ответить. Но во сне над собой человек вовсе не властен. Впрочем, и наяву не всегда.

Вместо ответа, который никак не давался, стал думать об имени. Конечно, можно и без. Первая, всё. Но название важно. Вот соната, прощальная. Седьмая Героическая совсем не случайно, хотя против чего героизм... Ну, да сейчас не об этом. Музыка слишком абстрактна. А имя, название – след, направление ассоциаций, вид доверительной связи. Сочинившего слушают, ступая навстречу вслед за названием. Оно обязательно. Иоанн и Рудольф? Или – О?

Мысли замерли, в паузу, в щель грянула тишина, и он ошарашенно из сна в явь бессонницы провалился, чем пользуясь, откуда-то, из яви ли, сна, голос явился.

– Ты поющих отроков видел? Почему, зная о любви самодержца любимого нашего к отрокам нежным, особенно к поющим, к царскому двору не доставил? На чье попечение души неразумные эти оставил?

С ответом он не нашелся. Про любовь царя к отрокам где-то

как-то прочел, но что ему до того? А что Иоанна особенно поющие волновали, вовсе не ведал. Снова в сон провалившись, от назойливого голоса отвлекаясь, стал размышлять, как хотя бы полгода вырвать у бездушного фортепиано, галеры, с детства поработившей, на которой невозможно не стать жертвой бури или пиратов. Силы оставили, руки повисли, но весла поднимаются-опускаются, держат носом к волне, не позволяя бортом или кормой развернуться – тогда кончено, захлестнет, перевернет, лютая гибель.

– Это погибель моя! – Говорит импресарио. – Какие полгода? На три года вперед всё расписано.

– Необходимо! Я не смогу чужое играть, свое в себе убивая. Разве не понимаете?

– Всё понимаю. Вас понимаю. Их понимаю. Одного не понимаю, как отменить, чем неустойку платить. Вы ведь не будете доказывать, что больны? А это единственная легальная причина отменить ваши концерты. Или готовы остаться без цента, всё к тому же продав? На что будете жить? Или полагаете, даст кто-то займы под О не написанное?

И захохотал смехом гнусным, гуно-мефистофельским, театральным. Сцена разверзлась, и вместе с импресарио О провалился, и тот, что в нотах, и тот, который из кирпичей и асфальта.

Стало тихо. Безответные вопросы вместе со сном в люк на сцене, назначенный Мефистофелю, провалились.

Когда, промаявшись, захотел он подняться, хоть чем-то заняться – лежать без сна было не вмоготу – глумливые звуки, как у великого, но быстрее и чаще, вокруг него вместе с ним закружились, его завертело, и кто-то, похожий на немотствующего встречающего, затаил фальшиво, гнусавенко: «В шутовское время, в шутовской стране...» С нетерпением ждал продолжения, хотя и догадывался, но хотелось точно узнать, о какой стране и о каком времени речь, что там и тогда приключилось. Песня, не двигаясь, возвращалась к началу. Надо было непременно услышать подтверждение догадок или опровержение. Но, издеваясь над ним, голос твердил свое, только свое, на вопросы и даже протесты не реагируя. Он голос прерывал, обрывал, останавливал, а в ответ ни к селу, ни к городу раздавалось:

– Где родился, не слишком ты, брат, пригодился.

– Не переходи, нагленочек, Рубикон – козленочком станешь.

С этим голосом во сне мучился долго, пока неожиданно тот исчез, в предрассветной мгле растворился. И вместе с солнечным светом голосом рэпера прозвучало: «По самые звезды снега намело, по самые звезды, по самые звезды».

Он вслушивался, пытался на этот голос идти, по постели метался, искал голос, себя, вернулся, никого не сыскав, и проснулся, счастливо вспомнив, что всё только снилось и что сегодня после обеда он, наконец, уезжает. Ощущение было, что в О провел он никому не нужную, скучную, бесполезную, и, правду сказать, слегка опасную вечность.

Он их узнал

Позвонил, и через пару минут завтрак вкатили. С прошлого года кофе заваривать не научились. Зато чай был хорош. И день был, не в пример вчерашнему, тоже прекрасен: светлый с редкими облаками. В самый раз прогуляться перед мастер-классом для молодых победителей конкурсов, которые для встречи с ним съехались в О.

Пройтись. Подумать. Поразмышлять.

О представлялся ему огромным во вкусе неторопливых прошлых времен сочинением, романом с огромным числом сырых, не пропеченных, не запоминающихся персонажей. Воды несчетно, муки полны закрома, руки месить – дармовые. Тесто взошло, за край перевалило. Одних героев сочинитель, описав и приложив к нужному месту, попросту позабыл, других, давно запаяванных читателем, случайно вдруг вспомнил и всучивал их, как в дни его детства киоскеры печатную дрянь вместе с «Футболом», в О иначе не добываемым.

Поняв, что влип в непролазное чтиво, начинаешь виновато терзаться: бросить или дочитать до конца? И терзаешься, пока с облегчением, перевернув страницу, упрешься: тираж, типография, гарнитура. Попытавшись хоть что-нибудь вспомнить, изводишься снова: кроме смутного места и смутного времени, сквозь которые смутные тени невзрачно, невразумительно проступают, в памяти ничего. Тогда наступает черед терзаться о времени, потраченном зря.

Одним словом, мильон терзаний, Чацкий, четверная дуэль, Мтацминда, Шах, некогда блиставший на троне Великих Моголов,

а ныне сияющий в коллекции Алмазного фонда, и ко всему этому зевающий на диване Обломов. Александру Сергеевичу с красавицей-женой не на восток послом бы поехать, а, скажем, в Прагу, по дороге Ивана Ильича навестив, да кто его спрашивал?

А из романа, с всемирной отзывчивостью возомнившего себя «Одиссеей», выжать бы воду, оставив ясную чистую фабулу и ту от донного ила очистив. Чудовище превратилось бы в повесть, мере сил и таланта автора соответствующую.

В отличие от композитора-драматурга-посла, к нему, пока исключительно пианисту, фортуна, поплевать, чтобы не сглазить, благоволила. А он в припадке неблагодарности или безумия, скорей сказать, безумной неблагодарности благодетельницу искушал с младых ногтей немилосердно. Жонглировал темпами, составлял программы из современников, игнорируя мольбы импресарио о капельке Листа или кого-нибудь из трех Ш, из всех фортепианных программ победным трезубцем торчащих: Шопена, Шуберта, Шумана. Делал программы из произведений редких, а то и вовсе забытых, что импресарио числил неуважением к слушателям.

Публика ходила на всё, приветствуя все начинания, те повторялись другими и в моду входили. Во всех рейтингах входил в первую тройку. И с каждым сезоном ему было всё скучней и скучней. С музыкой расстаться не мог, сам в музыку превратившись, и, никому не говоря, тем более не давая прослушать, стал сочинять небольшие пьески, затем сонату, теперь зачатки симфонии зазвучали. Хулиганил, играя под выдуманном именем собственное сочинение. Иногда думал, сочиняет на уровне, по крайней мере, многих не хуже, порой — бездарная ерунда. Но звуки его догоняли, оставалось услышать и записать.

Маршрут был прежний. В рэповском скверике в лужах пустые бутылки блестели, тоскуя по татуировкам, сквернословию и звукам ломким, корявым, которым многое можно простить. А вчерашним из долговязого поколения и вовсе прощать было нечего. Пили пиво, орали, матерились. Уставившись в ящик, вещающий гадости о чужих, близких и дальних, по домам не сидели. Про чужих знали немного, зато про О знали достаточно, чтобы прийти к заключению: врут, паскуды, их мать, не краснея. Врали им, врали они. В интернете всякое говорили, кому верить, не знали. Верили только скве-

рику, пиву и рэпу. Там пили, орали, чтобы ор их, вранье заглушающий, кто-то слышал. Вчера пингвинистый пидор чудной в бабочке прощандыбал, для него поорали.

К вящему удивлению на мастер-классе увидел державшихся отдельной группой вчерашних из сквера, вежливо сменивших рэперское одяние на вполне цивилизный прикид, мало отличный от, скажем, пражского. И держались совсем от пражских ребят не от лично. Разве что чуть-чуть развязней, иной сказал бы, свободней. И те, и эти прекрасно понимали, с кем дело имеют, и каждое его слово ловили.

Они его вчера не узнали? Или специально устроили концерт из реальности параллельной?

Он их узнал. Задать вопрос постеснялся.

Финал придумайте сами

Герою вечером улетать, а с ним до сих пор, по сути дела, ничего еще не случилось. Даже об О ничего нового не узнал. То, что больше сюда не придет, совсем не открытие. О до смерти ему надоел. В том также смысле, что навсегда.

Герой мне симпатичен, а О не безразлично. Между ними столкновение неизбежно. Сперва полагал в лоб их столкнуть. Прототип дома на набережной пруда известно кто строил. Говорят, были ниши в тамошних стенах – подслушивать. Вот, возвращается герой с мастер-класса, собирается, ждет, когда встречающий явится, чтобы, став провожающим, отправились в аэропорт. Тем временем в высших сферах, отсутствием губернатора раззадоренных, свои игры вершатся. Пианист – гражданин государства иного, неформально враждебного. Из тайной кладовки стеной подслушав, как он красноречиво молчал – с кем ему говорить? – цап-царап для целей непристойно корыстных. Дальше бодяга: камера, дипломатия, известность, звездочки на погоны.

Только и в реальности такого хватает. Поступлю по-другому. А не понравится, пусть читатель вариант этот банальный дополнит деталями и реалиями характерно красноречивыми и дочитает текст до конца. Я же предложу иначе сюжет повернуть.

После мастер-класса герой возвращается, площадь с Иоанном но-

вопоставленным неспешно минуя. Вдруг рядом с ним резко фургон тормозит. Из него – четверка парней, лица скрыты чулками, не новыми, но постиранными. Заталкивают, не слишком долго везут. Узнает по голосам: во-первых, частушки и рэперство, во-вторых, мастер-класс: о фортепианных сочинениях Шнитке только что говорили.

Выходят на лысой грязной полянке, на которой земляника никогда не росла. Тары-бары-растабары. Ты нам (деньги, протекцию, лучше всего – упоминание в интервью, ого-го какая реклама; и здесь выбор читателя), а мы тебе за это свободу. Выбрать рекомендую рекламу. Шантаж – это для О характерно. И безобидно: пацаны-мальцы, что с них, в О обитающих, взять? Четверка: и классика (два фортепиано в четыре руки, итого восьмиручие), и частушки (присочинить), и рэп (без этого ныне никак), думали немного стриптиза добавить (парни стройные), стремно, однако.

Короче, договорились. Руки пожали. Довезли. Собрался. Уехал. Под конец притворившиеся бесенятами даже представились: Джон, Ринго, Пол, Джордж. И в подтверждение, скрючившись над гитарамы, чужие слова со своей интонацией, насмешничая, изгаляясь, кощунствуя, заверещали:

I'm back in the U.S.S.R.
 You don't know how lucky you are boy
 Back in the U.S.S.R.

Выбрали продолжение?

Конечно, можно покруче. Но – на любителя. Предупреждаю: жесткач, особенно, если подробно, каждое деяние и каждый орган называя подлинными именами. С целью шантажа четверка задумала инсценировать изнасилование. Одному среди них еще нет восемнадцати. Несколько дней до дня рождения. Неразумный ребенок. Его и раздели и разукрасили: ссадины, синяки. Сфотографировали. И пианисту предложили раздеться. Они снимут. Добудут из него вещественные доказательства и трусы потерпевшего разукрасят. Полиционеры и журналисты: наших мальчиков – ихние пидоры. Ужас. Позор. Поразил не шантаж. Поразила готовность жертву сыграть, с актерским бесстыдством раздеться, нагло позировать. Бесстыжее, на всё готовое поколение? Ради чего? Отчего?

Безотцовщина, нетрезвого поколения дети, насвистывающие мелодии, не заботясь, что деньги, которых нет и в помине, высвистывают, дети, чьи матери от святого духа пьяненько понесли, чтобы, взяв анализ на ДНК, требовать на рэперов частушечьи алименты, сумму, еще в старинном тексте прописанную.

Звереныши, перегрызишие прутья клетки и временами жалеющие о содеянном, в школу в шортах и рваных джинсах ходившие, в отличие от него, ходившего сперва в синей, а затем в коричневой форме. Сюжет с изнасилованием краденый наверняка. Из тех фильмов, которые он смотреть не в состоянии. Интересно, на такой сюжет кто-нибудь в состоянии оперу написать? Как четверку по голосам рассортируешь? Бас им никак не положен. С трудом баритон. Два тенорочка визгливых. И один контртенор писклявый, слюняво, досужно вдруг процитировавший, перевирая:

*Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
а может быть, нас было не четыре, а пять?*

Выбрали? Я инсценировку бы предпочел. Но самому описывать неохота. Больно противно. Так что сами допишите, додумайте, я, собственно, почти всё рассказал.

Если живете в О, на прощание рукой помашите. Если в Праге – помашите встречая. Впрочем, герой не в Прагу летит, отрешенностью стюардессу пугая. От ближайшего концерта не отвязаться. Одиноко обитаемый остров, чтобы симфонию сочинять, надо еще заслужить. Но вы в Праге всё же машите. Ему будет приятно. После того, что с ним в О приключилось, ваши приветствия он заслужил. Или вы так не считаете?

Одним словом, финал придумайте сами. Только в Прагу мальчишек не отправляйте. Здесь, дело известное, чем придется им заниматься.

Если ни один из финалов не показался, вернитесь к концу последней главы. Помните?

Он их узнал. Задать вопрос постеснялся.

Кому сбавать Мурку, найдется

В сопровождении замечательно молчаливого провожающего он едет в аэропорт. И как только взлетит, от земли оторвется, мучительный запах, преследующий с мгновения, когда приземлился, его наконец-то покинет. Тогда, по трапу спускаясь, все носы зажимали. Всё время пытался понять, что это? Если бы звуки, понял бы сразу.

В этом тоскливо тоскующем запахе присутствовали ароматы носков, которые отстирать невозможно, телевизора, который давно надо разбить, конечно же, перегара, крови и пыли, степной кобылицы, ковыля, верст, круч, туч, заката в крови, вечно снящегося вечного боя, седой ночи, дремлющих птиц, синей тишины, атак на рассвете, пуль, разучившихся петь. Всё слагалось в илистый запах войны, которой, дай Бог, не будет, но которой, дай Бог ошибиться, вонять будет всегда. Потому что, если не будет вонять, всем захочется нюхать цветы, не подозревая, что в их аромате таится неизбежное тленье. А на огромное круглое кодро прекрасных цветов не напасешься.

Приезжая, всматривался, вслушивался, ощупывал, чтобы, обнаружив нормальность, правильность частности, из отдельностей истинную картину сложить, доприездное чудовищное представление уничтожив. С чудовищем, детство свое очищая и защищая, пытался бороться. Или он или чудище!

Каждая частность реальности была вполне человечна. Но, как только их складывал, неизменно чудовище вырастало, ни Радищевым, ни Георгием Победоносцем не убиенное. Может, всё дело в Георгии? Новоотставленный губернатор, с которым ему пришлось выпить на брудершафт, просил, причмокивая, называть себя Жорой.

В этот момент губернаторша города О глянула на супруга с презрением, не скрываемым даже перед чужим. За несколько минут до этого губернатор, знакомя, шепнул гордо, даже заносчиво: «Моя половина, ха-ха-ха, наполовину эстонка». Чего только не было в этом тягостном взгляде, главное: «Как меня угораздило стать женой такого ничтожества?!»

«Жора» в ее взгляде росло, повторялось, становясь жирней, прожорливей, жутче. Взгляд губернаторши его подбодрил. Когда

попытался перевести этот взгляд, передав единственным словом, сверхчеловек получилось.

Кстати, наполовину эстонка была одной из немногих женщин, которые когда-либо в О ему встретились. То ли прятались, то ли сидели себе по домам: варили, стирали, вышивали, как велит Домострой, то ли глупые мужские забавы им осточертели.

С каждым новым приездом росло ощущение надвигающейся темноты, беды, столпотворения, того, что невозможно предвидеть и объяснить, но от чего отделаться невозможно, как от рогожинских глаз, которые уличными фонарями мигали, настойчиво намекая, чтобы поскорее он убирался.

Хорошо, уберется. Кому сбацать Мурку, найдется.

Многоголосая. № О

Звуки часто жить очень мешали. Ни с того, ни с сего портили настроение. Увечные по желтизне пустынной скрипичные звуки, горбаться, тащились, от жажды изнемогая. В отношении с людьми вторгались непрошено, нагло. Хорошо бы всевластно: «Тень, знай свое место!» Но звуки быть тенью не соглашались, нередко, до крайности обнаглев, намекали на его место под солнцем, без обиняков давая понять, что там ему, хоть и будет тепло, но совершенно беззвучно.

Всю жизнь, с тех пор, как в музыку звуки сложились, мечтал о выключателе. Включил: музыка, фортепиано, концерт. Выключил: футбол, пиво и девочки. Видимо, пора, иллюзии детства изжив, сделку с дьяволом заключить. Только всё больше вокруг суетливые, мелким крестом закрещенные бесенята, тревожащие по мелочам, по пустякам донимающие. Где настоящего отыскать? Впору выйти на площадь, лучше в Германии, и на все стороны: «Дьявола, демона, сатану!» Только не из Гуно и Рубинштейна.

О реальность споткнувшись, не найдя в ней самой малой точки опоры, потеряв равновесие, иллюзия звонко упала, на мелкие иллюзорности расколовшись: ни собрать, ни склеить, ни оживить.

Темы вспыхивали и, друг друга гася, тлели угольями, их, дунув, необходимо было раздуть. Громоздились ледоходными льдинами, пугая грохотом, крушением, треском. Темы его раздирали. Пора собирать, собственную целостность восстанавливая.

Звуки теснятся. Четыре голоса похитителей то сливаются, то разноголосно разбегаются множеством равноправных звучаний: скрипкой, альтом, виолончелью, упирающихся в тяжелое басовое, останавливающее все их порывы. Детски наивная вера натывается на каменную стену жестокой реальности, которую не обойти, о которую биться до смерти.

Мелодии сталкиваются, переплетаются, слушатель в ложно несложном звучании (никаких экзотических инструментов) между ними связь открывает. Хорошо бы столкнуть безумную пляску Ивана с медленным танцем Рудольфа. Современники. Наверняка слышали друг о друге. Если и нет, всё равно появлением на свет враждовали.

На площади, рядом с Иваном постоянно мерный звук раздаётся, незатейливо топорики тюкают: рубят дрова, головы курицам, людям – что или кто подвернется. И – постоянный звук катящихся по асфальту бутылок.

Тема «я», композитора, сочинителя. Распадается, переходя в пародию, стилизацию, чужое отталкивая и вбирая. Непонятно и понятно быть не должно. То ли «я» распадется, то ли чужие «я», разные голоса, проникая, в него прорастут. Распад и гармония. Разъятость и цельность. Грохотом ударных обрушить и заглушить. Разрешить — невозможно. На что похоже? Фортепиано целый оркестр заменяет, интеграция множеств. Оркестр фортепиано на голоса разбирает, распад, за ним возрождение, снова слияние.

Дальше! Пока есть, пока не ушло, не исчезло, необходимо сказать себе, и запомнится, когда нужно, всплывет, в звучание обратится.

Юмор черный. Ирония ядовитая. Сарказм пожирающий.

Его «я» звуки, то елово скрипучие, то черно топочущие, жестоко чужды. Сторонится их, защищается, затыкая уши от водопада forte и ручьистого piano, друг друга, ненавидя, уничтожающих. Какофонии и распаду, любимым и ненавистным, он противопоставляет гармонию, которой от своего временем чужим защищается, мучительно размышляя: где его, где чужое?

Где истинное, а где бубном звенящее забубенное, шутовское?

Где медью и скрипками звонко поющая твердь голубая?

Где хлябь пруда, пиликающая деревянными, квакающая и подзуживающая?

Где вонзающаяся ехидно кларнетно прослушка дома на набережной?

Развести. Отделить. Пусть темы, гулко столкнувшись, звонко шарами бильярдными разлетятся в разные стороны, и, ударившись о борта, полетят навстречу друг другу, медными пятаками позвякивая знаменито, в бесконечном движении исчезая безвременно, безымянно.

Время – стрелки исчезли – отгораживается от О, отшатываясь глумливо, озорно и визгливо. Славное поле разбоя флейтам, фаготам. А затем, горестно насмеявшись, удивить, поразить, заразить город О чуждой гармонией скрипок, альтов, виолончелей.

Истерично хихикающие кларнеты, пусто лайничающие тромбоны, ехидно квакающие валторны, одиноко утробно тьявкающий геликон, истошно урчащие тубы, истово голосящие трубы – всем в чумовом пире под дробь барабанов и веселые всплески литавр лазейка в общем хоре бесчинства найдется. Все они, в конечном итоге, подражают звуку тяжелого, остро наточенного ножа гильотины, падающего на нежную шею, ликуя, захлебывающегося собственной кровожадностью под сурдинку толпы ошарашенно озверевшей! А мушкетерско-рэповские юные голоса гобои изобразят. Пусть всё оборвется, последним трепетом барабан задрожит, и возникнут четверо пронзительных гобоев-ковбоев, на небо с земли радостно возносясь и с неба на землю с неохотою возвращаясь.

А кому назначить диванными пружинами клопинно скрипеть, тяжелое дыхание с присвистом и протяжное сопение заглушая?

А кому пыхтенье мальчиков, футбол неуклюже изображающих?

А кому смех, побеждающий страх?

А кому несущиеся, несуразно свистя, с моря зарницы?

А кому вещей лепет теплых лип поручить?

А кому шорох листа, от которого вражье войско бежит?

Пародия, стилизация, голоса разных эпох – пока еще только брезжило, звучало неясно, смутно, перебивая друг друга, новое

вбирая, старое вытесняя. Понимал: симфония в покое его не оставит, сопротивление бесполезно. Необходимо в ближайшее время исчезнуть. Иначе звуки его замучают, захлестнут, он оглохнет, словно звонарь от мертвого медного гула переплавленных колоколов. Захлебнется. Толща раздавит.

Как назвать? Название – ключ. И для других, и для себя. Многоголосая. Может, добавить: Прощание с О? Где это О? Зачем это О? А себе об О напоминать и вовсе не надо. Как ни старайся, хоть никогда не приезжай, из памяти выкинуть не удастся.

А если так. Многоголосая. № О. Пусть думают, как хотят. Конечно, решат: нулевая. Пусть, ха-ха-ха, смыслы выискивают, подводные гибридные течения изучают, движения гиперзвуковых ветров уловляют, рвотным смехом захлебываясь.

Насмешничающее пиццикато, блеющее и мяукающее, и передразнивающий его, галопируя глумливо, кларнет. Свист шутов, песнь менестрелей, скрип по снегу саней, вой ветра на улицах и площадях, посвист разбойничий и призывный метельный, скрежет похоти, конский топот и потный хохот утробный.

Потоки сознания кружат, летают и исчезают, как самолеты, белые мутные следы оставляя. Возвращаются, обнюхиваются, повизгивая то радостно, выискивая лазейки и змеино в них пролезая, то, повышая тон, устрашающе.

Две темы переплетаются, одна в другой себя узнает, одна в другой себя презирает и отрицает, но обойтись одной без другой им невозможно. Разбегаются и сближаются, льдинами в ледоход одна на другую, треща, ломаясь, влезают, впадают в трагикомизм, нанайских мальчиков изображая.

Тема силы, воли, могущества, тема Ивана, тема жизни-смерти, визгливая и плаксивая, истеричная и юродствующая; тема красоты, созерцания, благоговения, тема Рудольфа, тема смерти-жизни, спокойная и смиренная, ровная и стоическая.

Языческое христианство. Христианство язычества.

Ветер в окна дробно, сиротливо стучится. Соло трубного гласа. И – звук хлыста мокрый по лошадиным глазам, еще живым, заплывающим смертью.

В конце? В начале? Всё время. Части симфонии отмечая.

Оркеструя тягомотину бытия, ощущал, как его преследует, зе-

ленея и квакая, мерными мертвыми звуками высыхающий, гнило воняющий пруд.

Услышав симфонию, явственно ощущал: недостает звуков ножа, разрезающего всю толщу звучания. Не знал, зачем нужен нож. Знал лишь, что нужен. Без него не зазвучит, не состоится, неразрезанной буханке будет подобно: смотреть, любоваться, оставаясь голодным.

Пруда осушение

Ничего не случилось. А то, что случилось, было столь смешно, нелепо, гротескно, что считаться случившимся не могло. Просто всё, даже воздух, которым дышать расхотелось, и, конечно, звуки, стало невыносимо чужим. Не тем, что хочешь попробовать, сознавая: иное, потому интересно. Таким чуждым может стать только свое. Обидно: ни за что, ни про что отобрали. Дома разрушили, улицы разворотили, детство украли. Он понял мудрость уехавших, не приезжавших хоть одним глазом взглянуть. И для одного глаза ничего не оставили.

Надули. Обокрали. Ограбили.

А может, вовсе не так. Ведь так глупо, обидно, абсурдно быть совершенно не может. Может, О его не за того принимает? Или он город О не за тот? Или себя самого, черт возьми?! Верно, и впрямь черт всех побрал. И его, и О, и встречающего, и мушкетеров битловых, стремительных на язык и юно бессовестно легконогих, весь этот квартет частушечников-рэперов-пианистов, подобный телефону-омару Дали.

Помянули – черт и явился. Сила слова, пророчества мощь!

Подумали – появилось. Сказали – случилось.

О принял его за одного из двух посланников Бога, Содом идущих разрушить. Где второй? Мало ли. Не заметили. Неофиты. Начитались, наслушались. Голова кругом пошла. Перепутали. Может, и правду об О говорят, что Евангелие здесь еще не проповедано. Если так, что толковать о Содоме. Потому не толковать – улетать! Мало ли еще за кого его примут. Сойдешь с ума и назад не вернешься.

Напоследок мелькнуло. Многое изменилось. И ныряльщики за жемчугом перестали нырять, задыхаясь, вынося на поверхность

жемчужины, если повезет, раз в жизни ту, что будет шею королевы ласкать. Теперь жемчуг выращивают. А королевских шей почти не осталось. Нечего больше ласкать. Некуда ножу гильотинному па-дать. Круг замкнулся: нырять бесполезно.

Неполнота горя спасительна. Огорчительна счастья неполнота.

Зима. Дожди. Мокро. Холодно. Невозможно. Жемчуг в уксусе, с которым божественно пельмени вкусны, растворяется, исчезает.

Измученный О и симфонией он уснул, и ему приснился безжа-лостно пруд, таинственный водоем, поросший водорослями, заты-нутый тиной. Он летел, а пруд разбухал, становился темно-зеленым, коричневым. Пруд вышел из берегов, затопил сперва площадь, затем опарою вылез на улицы и дальше, дальше, мутно покоряя округу. Го-род скрылся в тине и иле. Покинутый обитателями О предал себя во власть земноводных. Те землисто змеились, рептильно кружились, кишечно кишели.

Тина, ил, травы забвения.

Все памятники в болотной толще исчезли. Только два, подобно колокольням в затопленных ради электричества городах, головами торчали. Одна лысая, кепкой заменившая привычный ей котелок, другая, непонятно какая, но в шлеме. В солнечный день на корич-нево-зеленую поверхность пруда их величественные тени ложатся. Но недолго им нежиться. Туча напоздает на кепку, чему шлем очень рад. А если на шлем, то кепка ликует. И шлем и кепка ревнивы. Над чем обитатели пруда яростно потешаются.

А между ними из прекрасного фильма, любимого в детстве, плот проплывает. На нем вместо Рины Зеленой четверка нелепая: мушкетеры, битлы, пианисты и рэперы, не слишком умелые и удач-ливые шантажисты, своей неумелой неудачливости не слишком смущающиеся. Они молоды и красивы, значит обязательно от всех неприятностей их кто-то отмажет.

Обшарпанный плот, грязные полуголые парни, уставшие от радужного киданья понтов, парни, издающие странные звуки, ко-торые он пытается уловить, слыша в них финал симфонии, посвя-щенной прощанию с О и надежде, что кто-то другой, увидев пруда осушение, напишет симфонию, посвященную встрече.

От видения хотелось избавиться. Пусть плот бы уплыл, из поля зрения скрылся. А вместо него выплыл лотос, как в китайских озе-

рах искусственных, тех же прудах, но формы изящной, прудах, в берега, тушью очерченные, заключенных.

Пусть плыл бы и тот, огромный императорский, царский, толстовско-тильзитский, посередине не слишком быстрого Немана, и пусть бы Прокофьев заставил, обнявшись, императоров Александра и Наполеона спеть братский дуэт не схожими голосами, а вокруг бы лягушки самозабвенно сопранисто квакали. Какому императору бас, а кому баритон? Орел или решка? И между императорами шмель виолончельно витает.

Литавры, барабанная дробь, трубы залиvisto во славу Жан-Жаку, по приютам своих детей раскидавшему, вечный мир возглашают.

А ночью луна ущербная скорбно взошла, золотистый след на воде проложила. Разъехались. Один в Таганрог. Другой на Святую Елену.

И над зеленоватым злосчастьем, золой и разором, над мертвым молением и живым живодерством сотканный из звуков и слов огненный гений места в чересчур синем небе парит, не зная, то ли навсегда улететь, то ли, повременив, на всякий случай, авось переменится, маненько еще полетать, покрылышковать, покружиться, капли страха с перьев стряхнув, в амбивалентно двуглавого орла обратиться.

Перед тьмой, бесплотной, ночной, всё беззащитно. Вот, вольный ветер и пел. По-волчьи выл ветер, завывал по-шакальи, псарями на псов по псарням ревел, великим голосом Левитана провозглашал, из пространства ястребино, неистребимо, протяжно виолончельно косые ракурсы выдувал. И по небу расшвыривал клочки туч, клокоча гневно, темно и смутно пророча.

В небе – дымы, в пруду – водовороты, между ними – двуглавый орел. Раскинув крылья, кружит, жертву по силе своей выбирает, и мечется на ветру недавно еще тряпкой обвисшее знамя. То на лысую голову в кепке, котелок заменившей, сносит орла, то в сторону шлема: о навершие острое не наколоться б. То с запада ветер – несет на восток. То с востока – на запад уносит.

Где летает орел?

Где гений места витает?

Где пруд, О затопивший?

*Где О, прудом стертые с лика земного?
Где драйверы, которые, нырнув, Атлантиду отыщут?*

Увидеть? То, что хочешь увидеть, увидишь. Услышать? Можно только то, что звучит.

Провожая его, кошки мяукали, тявкали псы, пруд зелено, ярко, банально, как трава после дождя, величественно колыхался. И вослед ему с псами-рыцарями на льду бодро и весело Прокофьев сражался. Дирижерская палочка летала раскованно и размашисто, а порой мелко дрожала, словно от смеха давилась.

Наоборот. Иначе. Не так.

Он улетает, он покидает, уходит, оглядываясь, голову назад выворачивая.

В обратную сторону от него пес одинокий беспризорно бежит. Изменить это нельзя. Остается: принять.

К скифским небесам приближаясь

Пока текст еще сыр. Пока не высох, не отвердел. Пусть не собственно словами своими и не собственно речью прямой писанный, примет он еще несколько строк. Ни словечка в простоте, исконной, исподней, да еще, иронизируя, идеализирует. Но хоть что-то чуть-чуть должно казаться слегка идеальным. Славно думать, что из банальнейших продуктов можно приготовить нечто изысканное. Тем более, делу – время, но без потехи никак невозможно. Конечно, можно и позанимательней, потуманнее, потаинственней. Угрозу квартета инсценировать изнасилование – воплотить: погоня, полиция, тайная дипломатия. Только перед читателем как-то неловко: за кого ты меня принимаешь?

О – город без настоящего. Очень уж скверное, сущая дрянь, зато прошлое и будущее замечательны, прекрасны, великолепны. За настоящее тост не поднимают, только за прошлые и будущие наши победы! Между рождеством и успением – гудящая отчаяньем, совершенно языческая пустота.

Обитатели О, чья беспечность никогда и ничем не была обеспечена, умеют жить вне времени без настоящего, свое создавая. Иначе, как бы выживали, род продолжая? За грань добра и зла,

надо должное им отдать, как в чашу леса непроходимую, они не заходят. Может, иногда по незнанию и бывало: не ведали, где грань пролегает.

О памятниках говорено вовсе немало. Однако об одном позабыли. Его давно уже нет. Исчез до рождения пианиста. Исчез, но там, где высился каменно, огромно, массивно, постамент у слияния Огого и Охохо над речной развилкой остался.

– Что с постаментом нам делать? – Плывающие по Охохо.

– Взирать и, каменные усы воображая, страшится. — Плывающие по Огого.

Слыша такое, он думает: может, О – это театр, в котором город играет себя? О в роли города О в театре О или в фильме одноименном? Кажимость, Китеж, галдеж, вокруг зеленого пруда, взявшись за руки, четверо, хорошо, пусть будет пятеро, красно матиссно на фоне синего неба в ритуальном танце несутся, пруд заклиная движением хлебно преломленной плоти, церковнославянствуя о праведном владателе, заклиная очиститься от ила и тины и наполниться чистыми водами.

Все в кристально прозрачные воды войдут, очищение принимая, и выйдут, порозовевшие тела на улицы О вынося. Полнится О очищенной плотью, в ней дух до безумия чист. За руки взявшись, очищенные от окраин до центра насквозь, навывлет весь О протанцуют, музыка из танца родится, ее виртуозно будут играть, лучших мировых исполнителей приглашая.

Что? У Матисса дамы танцуют? В городе О невозможно, тем более голыми. Здесь – пацаны. Одетые. Неистово, неомраченно.

Множество заборов. Окна затянуты занавесками. Город О тщательно прячет воображенью доступные стыдливые подробности бытия. Прячет – вдруг заборы снести, занавески отдернуть: поразить, удивить, ослепить.

В те недолгие дни своей долгой истории, когда пруд бывал чист, город О ясно и солнечно, радостно и светло в нем отражался: словно Атлантида со дна древней Эллады на землю, к скифским небесам приближаясь, весело поднималась.

Просыпаться счастливицу не к спеху

В отличие от дверных петель вросших в землю деревянных домов города О, отчаянно скрипящих, когда в новолуние из домов на немощные улицы тени сочатся, дверные петли домов из камня, вросших в пражскую почву, когда в новолуние на мощные улицы пробиваются тени, эти дверные петли бесшумны. То ли потому что смазаны хорошо, то ли от ужаса: в новолуние на улицы выходят дрожащие тени чернокнижников и алхимиков. Первые ищут истину в книгах, вторые философский камень стремятся добыть, окружающим намекая, что золото ищут. Так окружающим их занятие становится немного понятней, и потому они к алхимикам в спокойное время терпимы. Конечно, если чума, война или еще какое несчастье, не до терпимости.

А в О чернокнижников и алхимиков нет. Стать ими есть у многих задатки. Но дожить до зрелых лет шансов нет никаких. То ли чумы и несчастий здесь больше, то ли петли дверные смазывать ленятся, чтобы в новолуние тени выходили бесшумно, но здесь им не климат. Холодно, от рек тянет сыростью. Правда, и в Праге река, но там каменный мост и Рудольф. А он, в отличие от Ивана, людей, склонных к темным наукам, отнюдь не щадящего, он к ним не только терпим, но и сам алхимик и чернокнижник. Придворные говорят, что императорским титулом и государственными делами Рудольф тяготится. Ему бумаги, а он в лабораторию улизнуть норовит.

Может, Рудольф трусоват? Иван крови чужой совсем не страшится, хотя тоже не воин. С ханствами сражался не он, жизнью рискуя, не он завоевывал. Подумалось. А если где в мире место сыскать, чтобы в пандан памятники теням Ивана и Рудольфа поставить? И тропу народную проложить между ними, чтобы кот ученый ходил.

Слякотно направо пойдет. Пойдет слизко налево. А прямо давным-давно нигде в мире больше не ходят.

Вестники благостыни справа идут? Слева – вестники гнева? А прямо вестники давным-давно не приходят.

Направо – стенают, рыданием душу рвут матери убитых на войне сыновей. Налево – матери убитых на войне сыновей стенают, рвут душу рыданием.

Направо – мимо кладбища с деревянными крестами, бурей поваленными. Налево – мимо кладбища с временем поваленными каменными надгробиями.

Направо – пустые могилы с истлевшими мертвыми. Налево – истлевшие мертвые в могилах пустых.

Направо – сгнившие цветы на могильной земле. Налево – цветы на могильных плитах засохшие.

Что, пойдя направо, найдешь? Что найдешь, налево сходяв?

Что милей, что родней, что при-ем-ле-ме-е?

Раздваивается мир или троится, когда душе более пребывать на земле не вмоготу?

Как распознать в жертве убийцу, а в убийце жертву увидеть?

И как на вопрос ответить, заданный битловыми мушкетерами, по утрам пианистами, в сумерках рэперами и частушечниками, вопрос, заданный немудрёно, откровенно, черно-бело, ясно-понятно: «Кто красавица, а кто бандит?»

Впрочем, фантазия глупая. Извините. Мало ли что взбредет в голову в новолуние, когда тихо из приоткрытой двери выскользнет тень, по каменной стене беззвучно шурша, по улицам слякотно поспешит, вздрогнув от скрипа – петли не смазаны – с другого света конца, тишину проломив, доносящегося.

В новолуние нет границ, нет расстояний, пространство и время едины.

В новолуние, раскинув в стороны руки, беззаботно под голой лунной – ночь темна и тепла для ночлега – спит юный Ной обнаженный: ни кола, ни двора, ни ковчега, и просыпаться счастливцу не к спеху.

Соло на жалейке

А что же герой? Что с пианистом?

Прологом симфонии моторы взревели, самолет задрожал, покатился и, помедлив, набираясь сил и отваги перед первыми звуками темы, готовой, обрушившись, вспыхнуть, побежал, помчался, и, звучащую гармонию выдохнув звонко, взлетел, преодолев земные визги, вопли, стенания, и, пробив облака, в голубой скрипичный простор устремился.

Он, завсегдайнаичавший в иных странах, других временах – Иваны, Рудольфы – дорвавшись до рюмки и бутерброда в улыбчивом бизнес-классе, происшедшее признавая яко не бывшим, маленький элегантный кусочек симфонии сочиняет. Затем, затоплен ленивым мнением, покидая телесность, засыпает, отдыхая от бури и перед натиском, тайно- и любомудро сил набираясь.

С ним, совсем юным, черно-белым: волосы черны и кудрявы, щеки мелово бледны, пальцы, минуя руки, из плеч вырастают, ноги – из шеи, любили играть знаменитые, делясь опытом, в том числе фортепианным. Большинство из них в его жизни пронеслось промельком, метеорно, ослепительно ярко.

Играли в четыре руки, в два, три фортепиано, с оркестром и без, в огромных залах и крайне камерно, для нескольких человек перед роскошным ужином, чрезвычайно приватно, а в окнах свирепствовал океан, созданный специально для сумасшедше неуемного Листа, еще не смирившего себя духовной музыкой и мастер-классами.

Великие его посвящали, передавали огонь, учили его возжигать и приносить достойные жертвы.

Из всего этого игра в четыре руки – самая опасная из забав. Близость тел, близость душ сблизает, притягивает, роднит. Не только концерты на публике – и репетиции: никого, ты и партнер, и – самое опасное – общая музыка. Вот и думаешь: чего еще ждать, чем и зачем нетерпенье гасить? Накатывало, к земле пригибало: не избудешь – не распрямишься. А распрямившись – до следующего раза в четыре руки, четыре глаза, четыре ноги.

Симметрия. Парность. Коль слева сердце, то справа парная ему пустота.

Одни холодны, другие горячие, теплых не было вовсе. Но более всех: и горячи и холодны парадоксально одновременно, одновременно дико. Айсберг, плывущий в кипящем Гольфстриме с рулем и ветрилами. Не у всех, и у него не всегда получалось.

В О – с рулем и ветрилами, из него – наобум, наугад, как уж придется. О для него лишен всякого признака близости, что уж говорить о любви. Никто не привлекал, ничто не затягивало, никуда не несло. Великие к другому его приучили, и те, что айсберг, и те, что Гольфстрим. Весла – на дно. Ветер и волны. На берегу, если вынесет, разберемся со всем, в том числе и с экстазом.

Скрябина не любил. Почти не играл. Слушал поэму. Когда на-
ходило. Смешно: с каждым годом всё чаще, больше, сильнее от за-
дыхающегося соло трубы всё безвольнее задыхаясь.

*Дух играющий,
Дух желающий,
Дух, мечтою всё созидающий,
Отдается блаженству любви...*

Сочинял Скрябин музыку лучше стихов. К чести его никому
не навязывал, скорее скрывал, предлагая дирижерам относиться к
Поэме как к чистой музыке бессловесной. После Скрябина его поче-
му-то тянуло на печальные размышления. Может быть, потому что
была между ними одна смерть и две огромных войны.

Щек впалость. Беззубость. Утомленное духа томление. Моче-
ных яблок рапсодия. Вот и заглядываю туда, где меня нет и больше
не будет. Интересно, как это там без меня? Что решат без меня. Как
без меня разберутся. Всё будет по-прежнему и без меня. Только мне
это будет очень удивительно и совсем непонятно.

– Куда в скрипичный ряд с расплавленно текущей медной
трубою?

– В Поэме экстаза соло играть!

Труба медная. Желтое летнее желанно медвяное соло.

Зазвучало, услышал, теперь отделить звуки внутренние свои от
внешних чужих.

Век серебряный, мятущийся лунно дрожащим следом на тем-
ной воде. Колокольцами бьющийся на тройке валдайно и проси-
тельно-беззубо на шапке шута. На стекле зимнем – узорно, морозно
рисунком неожиданно озорным.

Или – железный, жестокий, как скрежет тормозящего поезда,
как скрип двери, не разобрать, отворяют ли, затворяют.

И – соло на жалейке, судорожно, прерывисто и тревожно.

Под забором лужа

Впрочем, подлинный герой ведь не пианист, уснувший и улетевший, который с каждым годом русскую музыку играет всё реже. Точней сказать, перестал внимание обращать на происхождение композитора. Если он и герой, то всё-таки временный, ведь рано-ли-поздно эта сюжетная линия завершится.

Герой подлинный – О, это линия вечная, и к этому не добавить и от этого не убавить. Зыбучее О округло, сюжет – тоже по кругу: то, что было, то будет, то, что будет, то было. Незримо, невидимо, неслышно, юродивенько! В этом сюжете бывали разные времена: и падения и возвышения, но счастливые – впору задуматься – уввы, никогда. Как об этом у классика? Обидно мне, досадно мне, ну, ладно.

Ладно то ладно. Но в О от испарений пруда всегда удушливо, тошно и скучно. А обитатели О продолжают на чудо надеяться, в ожидании голубого вертолета вглядываются в небо упорно, даже Иван Ильич с дивана приподнимается. Но не прилетает.

Тем временем автор, обуянный гордыней, как говорил классик один, кратко большой роман написать, двумя кипарисами, замещающими львов у входа в дома ассирийские, охраняем, вспоминая О и Заболоцкого, не молодого, но старого, не здорового, но увечного, битого, но безмерно талантливое, автор стихи без названия тем временем сочиняет.

*Под забором лужа,
Над забором ветка,
Кличет баба мужа,
А муж у соседки.*

*У соседки теплой,
У соседки сытной,
За забором тополь,
У забора сыро.*

*А в душе соседки
Знобко и обрыдло,*

*Подъедать обѣдки
Очень ей обидно.*

*Забор покосился,
Но стоит укорно,
Муж не набесился,
Тошно и зазорно.*

*Чахнет от позора,
Прилегла на лавку,
Песик у забора
поднимает лапку.*

*И забор он метит
Раз который снова,
Он за всё в ответе:
Сторожит два дома.*

*Кличет баба мужа,
А он у соседки,
Под забором лужа,
Над забором ветка.*

Михаил Ковсан – прозаик, поэт. Живет в Иерусалиме. Автор комментированного перевода ТАНАХа на русский язык, ряда книг по иудаизму и литературоведческих статей. Автор многочисленных публикаций в интернете, двух книг прозы и трех поэтических сборников.

Постоянный автор нашего журнала.

Светлана АНДРОНИК-ШИМАНОВСКАЯ

ИЗБРАННЫЕ СТИХИ

Сын мой

И когда эту девочку одолевал Морфей –
я боялся дышать... Я лежал бездыханно тих.
Знаешь, сын мой, в ней вмещался целый котёл чертей,
только ангелы в белом всё же превосходили их.
Это та из немногих, кем не будешь по горло сыт,
в ней звенели ключи ото всех потайных дверей.
Тосковали по телу её и художники, и холсты,
и пустынные залы музеев да галерей.
Сын... Она, как рассвет, оставалась всегда свежа,
всемогуще шикарна, но в тот же момент хрупка.
У таких, как она, под корсетом блестел кинжал,
я был царь, я был раб, я был глиной в её руках.
В ней, как в тигле, кипела, бурлила живая страсть,
расплавляя до боли, накаливая клеймо,
мне совсем не страшно было в тигель её упасть,
я боялся без сил, раньше времени, изнеможь...
И когда поутру изобилие в ней греха
покрывала девственность утренней красоты,
я её обожал... Она же была тиха,
я её тишиной упивался до хрипоты.
Из неё, полагаю, не вышла б жена и мать,
от неё исходила сила другой любви.
Знал бы ты, как она могла пронзительно убивать,
воскрешая из мёртвых игривым своим: «живи».
Иногда неземное мелькало в её чертах
и влекло за собой, кроме всех превосходств земных.
Если б вправду земля и держалась на трёх китах,
я уверен, мой мальчик, она приручила б их...

Монолог на снегу

Минус тридцать – к теплу, – только у нас на севере
покрываются льдом и провода, и серверы.
Небо тонет в сугробах, сугроб превращая в облако,
и в глазах не снежинки, а битые стёкла, как
растворённая грань, молоко, на холсте пролитое –
горизонт заслонен многолетними монолитами.
Небеса по ночам надевают рубаху чёрную
в мелкий звёздный горох, и ложатся на склоны горные.
Обостряются чувства, и становятся даже дальние
люди близкими, и крадутся мысли о мироздании.
Здесь, на стыке небесного дна и владений Господа,
пожирает голодной крысой меня вопрос: куда
мы все катимся с этим зверским греховным голодом?
И становится холодно... Холодно, очень холодно...
А вдали самолёт рассекает рубаху звёздную,
и теплеет в висках... Вдруг в нём ты... Вдруг в нём ты.

А поздно ведь.

Слишком поздно воздушному судну хвостом поблёскивать.
Я одна не замёрзну и выживу – я вынослива!
Я смеюсь этим мыслям. Но, милый мой, мне до смеха ли?
В ледяном саркофаге со снежными барельефами...

Въезжаю в Киев

...И на часах без четверти рассвет,
сверкают зеркала автосалонов.
Я проникаю в городское лоно,
у тьмы в ладони скомканный проспект
томится между линиями сна,
ума и сердца. Здесь под желтоватым
туманом, город сдавшимся солдатом
поднял забрало и впустил меня.
Московский мост – мой маленький Париж,
напоминает Эйфелеву башню
мне с детских лет, он был во сне вчерашнем...

И левый берег спит, но ты не спишь...
В рифлёном небе облака-гофре
сливаются с днепровской сизой гладью,
река пришита, как фестоны к платью,
к уснувшим небесам, и мне б смотреть...
Но клонит в сон, и под ногой педаль
акселератора нещадно тяжелеет,
по метру просыпаются аллеи,
росой умыт заплатанный асфальт...
Двойной эспрессо, как холодный душ –
заметнее дорожная разметка.
Трамваи разлетаются по веткам,
собрав своих кондукторов-крикуш.
Глаза смыкает сторбленный фонарь
над парочкой зевак у светофора.
Любимый город проникает в поры,
на горизонте серость смысла хна.
Неоны солнцу отдали ключи
до вечера, от центра до окраин,
и ночь до новой жизни умирает.
Брусчатка под колёсами ворчит...
И, погружаясь в тёмный мир метро,
теряясь между спин и остановок,
проходит жизнь в столице, завтра снова –
всё то же, что вчера. Круговорот...
Жужжит мобильный, как пчела... А тут
на переходе прошмыгнула кошка,
и зебра остается на подошвах
угрюмых пешеходов...
– Пять минут.
Парковка... Шаг на твердь, она плывёт,
и я теряюсь в мыслях и пространстве,
горячим стал холодный воздух... «Здравствуй...»
Мой неотступник, «мой» который год...

Застрели же

Застрели же меня предпоследним патроном, осень,
возле входа в метро, у подъезда, в автомобиле.
От его хрипотцы на планетах сместились оси,
океаны по пояс Вселенную затопили.
Развеваются прахом останки щербатых листьев,
Бело-лунное солнце вычерпывает лимиты.
Застрели же, не мешкай, иначе она продлится –
эта серая жизнь, в коей воду мы носим ситом...
Без него я невольно слепну, мой мир не светел –
два бельма, словно линзы намазаны кашей манной.
С ним познали мы радость такую – как будто дети
неожиданно деньги нашли в потайных карманах...
Лето било волной нам в спины, ломало рёбра,
Мы в минуты срастались счастливыми воедино.
И рассвет был горчично-пряным, и Бог был добрым,
А теперь я брожу разорванной половиной...
Город стал чёрным вороном – пасмурен, зол и скучен,
Новостройки в нём недостройками умирают.
Застрели предпоследним, последний оставь на случай,
если он, точно так же, ослепший стоит у края.

Не спаслись

Ничего не изменится, свет мой, если идти назад.
Время с каждой строкой добавляло воды в муку...
Помню дни, где тебе заменяла сотни Шахерезад,
превращая мысли в сказки, слова – в лукум.
А к рассвету была живее и счастливее всех живых,
не казнённой, свободной пленной, песком в горсти,
неизменно невидимой всё петляла вокрут молвы,
вопреки ей сумела в тебе прижиться и прорасти.
Оставаясь тенью в тени, влагой в воде, наблюдала как
караваны уходят в небо, стаи в песках снуют.
Ночь своей сигаретой поджигала для нас маяк,
отправляя чужих на север, своих, за пятак, – на юг...

Мне тогда удавалось от сладости вдоха не умереть,
обретая форму, минуты втекали слезой в ладонь.
Легионы воюющих туч сходили с небес на твердь,
Наполняли случайный город по щиколотку водой,
обещая к утру мир и солнце, но внезапно пришёл потоп.
Мы в четыре руки спешно строили свой ковчег,
не сказав о насущном, оставляя главное на потом...
Потому он и спас не тех, потому и увёз не тех...

Письма, найденные в стене

Я недавно купила дом, глушь, заброшенный лабиринт.
Ночью издали глянь – так в нём будто вечно свеча горит.
Говорили, здесь раньше жил музыкант и художник, но
молчалив, не любил чужих, по ночам открывал окно.
Тишина содрогалась вмиг, где-то в клавишах утонув,
так играл молодой старик, от любви потерявший ум.
Это было лет сто назад, говорят, и сейчас порой,
если близко к земле гроза, в доме том человеческий вой.
В жилих страх нагонял, кто мог: от соседей и до бродяг –
обходи, мол, за сто дорог – это проклятый особняк.
Знаю, стены хранят слова, помнят тени, имеют нить
с давним прошлым... «Вот я! Жива! И хочу с вами говорить!»
Прислоняю ладони к ним, будто вслушиваюсь в ответ,
стены шепчут: «Поговорим...» – и выводят меня на свет.
Пол скрипит. Пробегает мышь. Стены манят шуршаньем в зал.
Из разрушенных фресок лишь уцелели её глаза.
Провожу по осколкам губ, по кусочкам былой щеки,
знаю – это она, и тут есть разгадки, они близки.
Ветер дарит подсказки мне, возвращая к её лицу...
Письма, найденные в стене, адресованы мертвецу...
Мелкий почерк, но всё ж курсив. Снизу фото – дагерротип.
Боже, как же он был красив, хоть и сед... Музыкант, прости.
Письма спали столетним сном. Ветер в стенах шумит – держись.
Я читаю его письмо и вторгаюсь в чужую жизнь...

Письма. Воспоминания

Бог тебя даровал весной, на губах ликовал апрель.
Так мила – не хватало нот. Обезумевший менестрель,
я забыл, что пришёл писать твой портрет, и хотелось петь.
Проходимец, не вхожий в знать, я тебя не оставлю впредь.
...Белой шёлковой простыней прикрывала стыдливо грудь.
Выводил я твой облик днём, а ночами не мог уснуть.
Ежечасно бросало в жар, я отныне, Катрин, твой раб.
Просыпался в поту, дрожал: снова снился изгиб бедра
и пронзительный взгляд с холста, созывающий в дом химер, –
как чувствителен, лишь представь, оголённый тобою нерв.
Я такого влечения тел не испытывал отродясь.
А туман за окном белел, падал пенкой молочной в грязь.

Без тебя что ни день, то боль: кость напильником точит бес,
разговоры с самим собой, стены серые в цвет небес.

Ты ворвалась бледна, как мел. Вся моя, с головы до ног.
Наш ноябрь уже чернел... Ты смеялась, пила вино.
«Остаётся недолго нам...» – прошептала, и смех твой стих...
Я тобою украшу храм и оставлю среди святых.

Через месяц Господня трость на снегу рисовала крест.
Мне кричали: «Незванный гость, убирайся из этих мест!»

(Конец писем)**Прощальный монолог**

Владыка, постановщик и Творец,
раздавший роли каждому по вере,
который век в заоблачном партере

Ты нашей удивляешься игре.
И смотришь в свой лорнет Вселенский на
месяц, что завис у изголовья
театра на оси, как жаждут крови
актёры войн и как любовь грешна.
Как я играю свой последний акт,
прощальный монолог скоропостижен.
Прищурившись, взгляни немножко ближе
на мой упадок духа... Знаешь, как
мой город расточителен на жизнь,
на чистый воздух, воду, на огни, на
шарм кофеен, в коих пианино
сзывает постояльцев и чужих...
Как улицы, сливаясь в площадь, а
развилки – в бесконечные проспекты,
пространство расширяют... И на тех, кто,
мне подобен, время не щадя,
разменивал его подчас зазря
на завсегдашнее «должна» и «должен»,
взгляни же повнимательнее, Боже,
на проседь дней внутри календаря...
Смотри, как вера правды лишена,
как молодость моя пошла на убыль,
мечта метлой забилась в дальний угол...
Как я...случайно вышла из окна...

Письмо из города N

Дождь опять обгоняет меня на шаг,
небеса будто щурятся сизым оком.
Город снят с простого карандаша
раньше срока.
Не горят фонари, не дописан сквер,
не поют за окном соловьи, а впрочем,
есть причины для этого, например,
умер зодчий...
или ты уехал, сведя на нет всё, что было,

и грифель упал и треснул,
с той поры даже мыслям и снам во мне
стало тесно...
Растушёваны серым хвосты границ.
В нераскрашенном городе от разлуки
пошатнулись разом и пали ниц
акведуки.
На луну сиротливую воют псы,
здесь пропитан горечью каждый камень,
без тебя этот город по горло сыт
сквозняками.
Он стоит недостроен из года в год
и по детскому смеху истосковался,
в нём судьба всё чаще меня ведёт
левым галсом.
Здесь свихнуться можно «на раз-два-три»,
каждый третий играет Бродягу Чарли.
Постепенно цветы у моей двери
одичали...
Я промозгла до хрипа и слабых рифм,
отогреться – и вечности будет мало.
Так давай наконец-то поговорим...
Я устала
от почтовых измученных голубей,
черно-белого мира глазами кошек,
приезжай, если я дорога тебе,
мой хороший.

Светлана Андроник-Шимановская, родилась в Донецкой области, с 2001 года живёт в Черновицкой области. Поэт. Двухкратный лауреат гран-при международного литературного-поэтического конкурса-фестиваля "Интерреальность" (Киев). Стихи автора, написанные на русском и украинском языках, широко представлены и пользуются признанием на нескольких международных сетевых платформах.

СТИХИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Василь ДРОБОТ

Варианты

Нет Елены – осталась Троя,
Боевого избегла строя,
И пустого коня избегла
И бесчинства огня и пепла.
Вдруг вильнуло куда-то время,
Изменило всем планам небо:
Нет Италии – не было Рима,
Нет России – Батя не было.
Промахнулся художник кистью,
И остался Спартак фракийцем,
И безродным остался Цезарь,
И до туч не добрался цезий,
Радий, стронций, полоний, гафний...
Впрочем, видно, не он здесь главный –
Мир без боен! Какое счастье.
Но данайцы приходят чаще...

В груди воюющей страны,
В столице – тишина.
Под утро – золотые сны
Дарует нам она.
Встаём как в новую страну,
Рождённую на свет,
И слышим эту тишину,

Хоть в ней и звуков нет.
А всё равно, болит душа,
Забиться не даёт...
Текут слова с карандаша,
И тем она живёт.

Мне даже легче стало без любви...

АннаАхматова

Любовь осталась в нелюбви
И в ярости осталась.
Но как ты юность ни зови,
В ответ аукнет старость.
И всё равно, найдёт любовь
Проход в её ограду,
И ты на свете – не любой,
Тебя-то ей и надо,
Её – тебе, во всякий час,
В любое место света...
Она ответно любит нас, –
Благодарит за это.

А ёлок я не покупаю,
Какие – срезали в лесу,
Сопровождает боль тупая,
Пока я – мёртвую – несу
Домой, к гиляндам да игрушкам, –
Как издевательство над ней.
Ведь мне срезали не старушку,
А ту, которая пышной.
Купил искусственную: всё же,
Ей не случилось умереть,
Она и жизни не итожит,
И оставаться будет впредь,
Насколько хватит жизни нашей, –
И яркой будет, и родной...

Она уж тем всех прочих краше,
Что не убила ни одной.

Я и родился за границей,
В стране, посаженной на мель,
Где сёл голодных вереница
Кормила изгнанных с земель
Эвакуированных – скопом,
Как кожу, содранную с тел,
Во назиданье всем Европам,
Поскольку Ирод так хотел.
Но, задыхаясь от нагрузки,
Кормили честно: рад – не рад...
Там нынче говорят по-русски,
А здесь – почти не говорят.
Не слышат, то есть, – не врага ли
Из жизни выметают след,
Что даже память запахали,
В которой я увидел свет.
Закончен бой, забыты даты,
А звёзды – вон как высоки...
А там, на месте бывшей хаты,
Глядятся в небо васильки.

Василь Дробот (г. Киев) родился в 1942 г. в Оренбургской области. В ноябре 1943 г. семья вернулась в Киев. Поэт, переводчик, член НСПУ с 1995 г. Лауреат литературных премий им. Николая Ушакова (2004), им. Л. Вышеславского (2015).

Олег МАКСИМЕНКО

Крымский эскиз

Отраженье луны чуть колышет в стакане
Недопитый до дна терпкий крымский кагор.
Пьяный бриз притащил как овцу на аркане
Запах туи, полыни, лаванды. Как вор
Отрешённо-смущенно, мохнатою лапой
Незаметно добавил аптечный шалфей.
Их разбавил мелиссой и росною мятой,
В мёд фиалок ночных окунул до бровей.
Битый час ты толкуешь про мелкие склоки
И про горечь забытых, прощённых обид.
А я вижу скуластость татарских пророков,
Конной лавы в степи слышу топот копыт.
В тишине, где инжир наливается соком,
Ты талдычишь опять, что без денег – беда.
А я вижу в оскале ордынцев наскоки,
Чья безумная похоть брала города.
Ты в обиде ушла – ах, прости, – эта лунность,
И в цикадной истоме ворчащий прибор...
Виноват лишь кагор и, пожалуй, безлюдность.
А точнее, бездушье. Мы чужие с тобой.
Отраженье луны допиваю в стакане.
В нём осадок грехов – ибо грешен я есть.
В небе чёрным мечом со щербинкой изъяна
Режет абрис луны кипарисная жесьть...

Забавно чумазый
От копоти шин,
С фингалом под глазом,
Ты пел и смешил.
В изломанном жесте
Сожжённых бровей
Блюз горящих камней.

С тобой мы досрочно
Горели в аду,
Но знали мы точно,
Что те – не пройдут.
В бутылку коктейля
Полнее налей.
Блюз горящих камней.

Горел даже камень
В мороз февралей.
Исторгнула память:
В одной из аллей
Мёд майских акаций
Среди фонарей.
Блюз горящих камней.

Споткнулся неловко
С дырою в спине.
Простреленным лёгким
Сквозь кровь пузырей
Шепнул мне прощально:
«Дружище, забей!»
Блюз горящих камней.

Там Хендрикс и Баррет
Тебя уже ждут,
Но вместо гитары
В твой гроб я кладу
С Майдана булыжник.
Вот так, без соплей.
Блюз горящих камней.

08.03.14

Если я не вернусь со своим рюкзаком,
Где тетрадка стихов отдаёт табаком
И от пули останется дырка,
Не спешите презрительно фыркать –
Говоря, что поэт этот вам незнаком,
А стихи не ценнее обмылка.

Мы и вправду знакомы, пожалуй, едва
Только раз с этих пор облетела листва.
Помню: в вальсе так долго кружится,
Тонких уст не касаясь, снежинка.
Цвета тёплой корицы Ваш взгляд меня звал
Может, зря промолчал, не решился...

Безответность любви я ношу с этих пор
Протоколом стихов потаённо, как вор,
В той, походного быта, тетрадке.
И готов убежать без оглядки,
Карих глаз избегая невольный укор.
Чёт и нечет – со смертью в прятки...

Может, вечность спустя, за Вселенским углом,
Где Чужая Туманность парит молоком,
Исполняя молитвы сугубо,
На тропинках сансарного круга
Я потрусь Вам о ноги бродячим котом.
Только мы не узнаем друг друга...

Олег Максименко родился в г. Балаково Саратовской обл. С 1979 г. учился и жил в Крыму. Затем учился в КПИ (Киевский Политехнический институт). В настоящее время живёт в Киеве и занимается частным предпринимательством. Пишет прозу и стихи. Максименко входит в правление КЛУ (Конгресс литераторов Украины), является соорганизатором и членом жюри нескольких фестивалей, включая международные. Есть свой артпроект.

Владимир СОЛОВЬЕВ

КОТ ШРЁДИНГЕРА*

Продолжение. Начало в №4 (8), 2018

CV: НАРВИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Ни природой, ни воспитанием нельзя объяснить столь обильного снопа одних недостатков, притом обычно не совмещающихся в одном и том же душевном укладе, этой смеси трусости с беспечной самонадеянностью, заведомого хвастовства с проникновенной верой в собственное лганье. Этот человек наизнанку никогда не мог собрать своих чувств в устойчивое настроение, своих мыслей в определенное решение. Он утратил всякое чутье действительности, естественного порядка, перестал понимать границы возможного и нелепого.

**Потаенный Ключевский.
Из черновиков**

Впервые я столкнулся с ним во Дворце пионеров. Шикарный такой дворец на углу главного проспекта Города и неглавной его реки – одной из. Дети – наше будущее, вот о детях и заботились, и претворяя лозунг в жизнь, отвалили нам в вечное пользование этот огромный дворец с флигелями и пристройками. Вечное пользование кончилось, когда страна накрылась. А тогда здесь наше будущее располагалось по профилям. Кружковщина. Тусовка юных талантов. Юные натуралисты, юные физики, юные тригонометры. Само собой, и гуманитарии разных направлений. Мое называлось замысловато, без ссылки на вождя – «Юные инженеры человеческих душ». Ну да, помянутые душеведы и душегубы. Первые как бы само собой, а душегубители в том смысле, что любое искусство, литература включая, своим искусством губит человека, который тьме низких

истин предпочитает художественный вымысел, обливаясь над ним слезами. Мой случай.

Учителем у нас был средней руки местный пиит, но благодаря его личным союзписательским знакомствам к нам наведывались городские классики-мастодонты, а иногда и молодежь, среди которых два еврея-антипода – один сугубо местного, чтобы не сказать местечкового разлива, но входил в силу, покровительствуемый властями, а другой с властями не сошелся, или они с ним, и он вынужден был покинуть не только Город, но и отечество белых головок, став гражданином мира и всемирным лауреатом. А однажды даже прибыл из столицы кумир нации, голос которого гремел в залах, на стадионах и на площадях, как набат, – вот и дотянулся до нашей ампирной избушки на курьих ножках, зато с колоннами.

В перерывах мы бродили по дворцовому лабиринту, натываясь на кружковцев других профилей. Там я и столкнулся с юным филателистом, который специализировался на марках с физиями великих мира сего, и это одно должно было меня насторожить, но наоборот – заинтриговало. Еще этот шкет увлекался боксом и одерживал победы над более рослыми сверстниками за счет, я так понимаю, не только хитроумных психологических приемов, но и железной воли к победе. Поначалу эти его успехи на ринге удивляли не только зрителей, но даже его тренера, постепенно, однако, к ним попривыкли, его спортивные победы стали рутинны и предсказуемы, а для меня вошли в один семантический ряд с его филателистическими пристрастиями к триумфаторам по жизни и посмертно. Да еще наше с ним соимённичество в честь вождя, имя которого позднее стало чуть ли не главным объектом пародий и анекдотов, типа *новое название Новичка – Вовочка*.

Пусть не главная причина, что я взял моего тезку под свою эгиду – тремя годами меня младше, что в том возрасте имело еще какое значение – комсомолец и пионер, из пролетариев, а предки те и вовсе были крепостными Шереметьева, а один служил у графа поваром и кулинарная эта профессия передавалась по наследству вплоть до его отца. Да еще из провинции, хоть и ближней, из той самой Нарвы с 80 процентами русскоязычников и отделенной от России рекой, одноименной с городом, который он потом присоединил к нашим владениям, когда стал с моей помощью губернато-

ром Города-государства на греческий или италийский манер. Нарва как второй Крым, а тот утратил к тому времени патриотический эффект, и национальные чувства востребовали новый импульс, каковым Нарва и стала взамен Крыма, а нарвский патриотизм за место крымского:

*Как на «Нарвском причале»
Чайки громко кричали,
Волны лодку качали,
Ветер гнал тучи прочь!
Мне все в Нарве по нраву,
Я твой, Нарва, по праву,
Я готов на расправу,
Не щади меня, ночь!*

Сохраняя ему ведомственную лояльность, я был в молчаливой оппозиции к его экстремальной идеологии, полагая ее смертельно опасной для *urbi et orbi*. Это не значит, однако, что я приложил руку и повинен в его смерти, разве что косвенно, на метафизическом уровне: я возжелал ему смерти, когда иного выхода больше не видел. Застала ли меня, как и всех, его смерть врасплох? И да, и нет.

Зная его с детства и будучи его самозванным, но и авторизованным впрок биографом и просчитав все альтернативные варианты его авантюрной, дальше некуда, жизни, счел внезапную, пусть и насильственную его смерть неизбежной. Да, этот кассандров анализ его ближайшего будущего я содеял незадолго до нашей последней встречи, о которой я, может, и расскажу, а может, и умолчу. Была ли наша встреча значимой, знаковой, судьбоносной, а то и роковой для него? К тому времени я уже понял, что мой проект с ним в главной роли накрылся, все пошло не просто наперекосяк, а в противоположную сторону, а он сам уже перешел красную черту, чтобы дать задний ход. Не то чтобы я его предупредил, но предупредил словом то, что с ним стряслось в действительности. Нет, на роль мужика Миколки, который взял на себя вину Раскольникова, я не гожусь, несмотря на мою еврейскую эмпатию и виноватый по жизни вид, но это за другую, пигмалионову вину: кто мог думать, нам не дано предугадать и прочее. Да и какая разница, как он умер

(если умер), хоть это био и косит порой под детектив. Пришла ему пора если не исчезнуть с лица земли, то согнуться с наших глаз. *Carthago delenda est*.

Нелишне заметить – ссылка в тексте – что Катон стал повторять эти слова в любом своем выступлении в Сенате после того, как побывал в Карфагене и нашел город вовсе не в плачевном состоянии, как предполагали римляне после двух Пунических войн, а процветающим и сказочно богатым. Латинизм этот полисемичен и может быть употреблен в любом смысле: как пример навязчивой идеи, как аллегория римской мстительности, как образчик набившего оскомину клише либо в макиавеллиевом смысле – что врага надо добивать до конца, да хоть как близкая автору релятивистская и двусмысленная квантовая метафора с котом Шрёдингера – Карфаген уничтожен и процветает. Для вящей наглядности заменим Карфаген на Иерусалим, который был неоднократно стерт с лица земли и продолжает существовать как ни в чем не бывало, приводя в отчаяние лучшую часть человечества. На засыпку: уничтожимо ли то, что уничтожено в принципе? Перейдем на личности: вмешательство свыше, как с Ифигенией, принесенной в жертву любящим папашей, но оказавшейся волею богов (точнее, одной богини) в Тавриде живой и невредимой. Чудеса в решетке, да и только.

Пусть мой герой не Ифигения и ему не покровительствуют ни боги, ни Б-г, ни богиня, но все-таки он не «случайный царь», как обозвал Ключевский Николая Первого, и само его явление в нашем Городе и на мировом небосклоне вряд ли все-таки дело случая, а если случая, то случая неслучайного, а может даже *accidens Dei* – Божественного случая. Может ли исчезнуть нечто материализовавшееся из идеи, пусть воплощенная идея не один в один с изначальным замыслом, а откорректирована реальностью и ее воплотителем? Не то чтобы неуничтожима, но достаточно живуча, чтобы пережить ее временного носителя? Этот вопрос я и попытаюсь решить в последней главе этого жизнеописания, если мне суждено его дописать. Опять-таки зависит, потому как относится уже не к его времени, а к промежутку, наступившему после объявления о его смерти, а потому выходит за хронологические пределы его ЖЗЛ.

Нет, не *Curriculum Vitae*, хоть и поставил аббревиатуру этой латиницы в название главы, а скорее обрывочная, пунктиром, с

пропусками и опущениями, канва жизни, которую, согласно объявленному принципу, начинаю не с его рождения, а с его зачатия, день которого мне доподлинно известен с его же слов. У меня нет никаких оснований сомневаться в его версии, он сам ее вычислил и вряд ли выдавал желаемое за действительное. Другой вопрос, рад ли он оглашению этого интимного все-таки факта? Хотя кто знает: не было ли это предметом его тайной гордости? А коли с мертвеца – если он мертвец и не подвергнется ни реанимации, ни реинкарнации, – спрос не велик, то его биографу ничего не остается, как решать эту буриданову дилемму на свой страх и риск. В надлежащем месте. Да хоть сейчас, чего откладывать в долгий ящик?

Само собой, не сравниваю его с героями древности. С тем же, к примеру, Александром Великим, о зачатии которого в ночь, когда невесту с женихом, его будущих родаков, закрыли в брачном покое, сообщает Плутарх иносказательно: как раздался гром и шаровая молния залетела в чрево невесты, а вослед жених запечатал ее влагалище, и царица понесла. Какова метафора, однако, божественного соития! Но и мой герой не лыком шит – даром что ли относил себя к отмеченным судьбой, коли с малолетства собирал марки с портретами великих мира сего и сам придавал такое значение своему зачатию.

Так вот, его отец, отмотав срок за покражу продуктов, когда работал поваром в заводской столовой, явился домой после долгого отсутствия аккуратно в день всеобщей скорби – страна оплакивала смерть вождя, настоящего, единственного вождя всех времен и народов. Что не помешало папаше отпраздновать свое возвращение долгожданным супружеским соитием, в результате чего через девять месяцев в Нарве явился на свет младенец, названный в честь другого вождя – мирового пролетариата. Сказалась ли эта его тайная сперматоидно-яйцеклеточная связь со сталинской эпохой на его реваншистских амбициях? На пике взлета или падения стоит вспомнить о том, каким образом ты был зачат, советует самый мрачный философ (нет, не Шопенгауэр): нет лучшего средства, чтобы подавить в себе эйфорию или скверное настроение. Ту же Нарву взять, за которую он стал изгоем на международных рандеву, когда, помню, эстонский президент прошел сквозь него, не обратив внимания на протянутую ему ручонку десятилетнего мальчика, но тому

божья роса, с гуся вода, брань на вороту не виснет, подлецу все к лицу, семь бед один ответ – короче, тefлоновый.

Нарва и послужила причиной моего ухода из его администрации – не демонстративного, а по семейным обстоятельствам, которые ему были доподлинно известны, так как наша семья была отчасти и его семьей, он часто нас навещал, а потом, став Губером, все реже и реже, ограничиваясь щедрыми дарами нашим близняшкам по большим и малым праздникам. В моем субъективном, двойственном, двоящемся жизнеописании героя и автора связывала тесная дружба, пока не превратилась в смертельную вражду. Нет, конечно, мы были не только сексуальными, но и идеологическими соперниками, а стали политическими противниками, пусть и негласными: я остался на своей Малой родине, которой полагал наш Город и противопоставлял его Большой земле, которую выбрал он, а Город был для него началом начал, из него он распространял свое влияние и авторитет на всю широку страну мою родную, хоть она и сузилась после распада и имела тенденцию к неизбежной дальнейшей убыли подобно шагреновой коже.

Он, для которого советский коллапс был мировым катаклизмом и личной травмой, пытался наперекор истории и *рассудку вопреки* повернуть время вспять, заразив своим безумством массы своих приверженцев в Городе и в стране, включая столичные верхи, а те аж задыхались без притока свежих идей, Крым сам собой выдохся, как проколотая шина, и даже захват де факто акватории Керченского пролива и Азовского моря, ничего окромя еще одной головной боли стране не принес. Грозилась синица море поджечь, но не мелководное Азовское, ха-ха. Недаром народ противопоставлял аналогичную авантюру моего протезе с Финским заливом от Города до Нарва-Йыэсуу и обратным его/ее переименованием в куда более благозвучную Усть-Нарву. Понятно, что подобные популистские и волюнтаристские деяния Губера не могли не вызывать раздражение кой у кого в Центре.

Мой уход никоим образом не повлиял на ход городских событий, я давно уже выпал из фавора, был не у дел, со мной перестали считаться, коллеги по возможности избегали меня, хоть я исправно ходил на работу и регулярно получал зарплату. О его политиче-

ских мероприятиях, одно чудесатее другого, когда он прицелочно, в прикидку, на пробу, идя на большие риски, тестировал границы дозволенного, я узнавал из телека, да и то с опозданием, редко его включая, до того мне постыло его плебейское мурло, глядящее на меня из ящика, а другие информационные источники были им почти все перекрыты, он занавесил все окна телеэкраном и добился почти полной самоизоляции. Делал он это из того же, преследующего его страха смерти, а теперь еще из страха вольных или невольных аналогий с насильственной смертью других диктаторов, типа Саддама Хусейна или полковника Каддафи, судьбу которых он примерял на себе. Даже госперевороты в Венесуэле или Украине без смертельного исхода для правителей, которых он всяко поддерживал по принципу «Диктаторы всех стран, соединяйтесь!», приводили его в трепет и смущение возможным параллелизмом. Парадоксальным образом он полагал свою и их власть легитимной, так как формально все были народными избранниками, а путем переворотов к власти приходили нелегитимные самозванцы, заговорщики и узурпаторы, подстрекаемые извне. Ему удалось отключить даже Интернет, который он винил во всех городских бедах вплоть до наводнений, хотя одновременно ссылался на родоначальника, выгодно сравнивая с самодержцами себя: *с Божией стихией царям не совладать*.

Вот почему аннексия Нарвы застала меня врасплох, когда там уже был проведен плебисцит с его неизбежным результатом – несмотря на протесты в стране и за рубежом. Даже из Центра его пожурили, хотя не так чтобы очень – обошлось. Зато наш Город ликовал, снова впереди планеты всей, своим патриотическим почином давая пример всей стране, а зарубеж, впервые услышав про этот средневековый городок-крепость, ограничился торговыми санкциями – не начинать же войну из-за какой-то Нарвы. Испортились, правда, отношения не только с Эстонией и соседними балтийскими странами, но и с нейтральными Финляндией и Швецией, которые, опасаясь его захватнических инстинктов, стали укреплять свою оборону и проситься в НАТО. Были основания, коли наши телепропагандоны заговорили не только об акватории Финского залива, где стали происходить столкновения нашего Балтийского флота с торговыми и рыболовными судами помянутых стран, но и о самой Финляндии,

которая больше ста лет кряду входила в состав Российской империи. Почему бы не восстановить историческое статус-кво и ногою твердой стать при море, пусть и Финский залив?

Что́ Финляндия, когда предметом притязаний стал даже шведский остров Готланд. Кому только он не принадлежал за свою долгую историю, начиная с викингов! В том числе русским, правда, всего несколько недель во время русско-шведской войны 1808-1809 гг., когда был оккупирован нашими войсками и объявлен российской провинцией. Это была чуть ли не самая мирная оккупация в истории. Русских встретили с распростертыми объятиями, офицеры свободно изъяснялись по-французски, чем пленили островитянок, приемы, балы, адюльтер и проч. На русский язык был переведен роман шведа Ханса Бьёркегрена «Аймундский мост», переименованный в «Русские идут». По настоянию нашего губера, роман был экранизирован, фильм имел бешенный успех не только в Городе, но и по всей стране, хотя в самой Швеции объявлен реваншистским с политически непристойными намеками. А у нас его популярности немало способствовал слезоточивый сюжет о любви русского офицера и шведской девушки из хорошей семьи, которая мелодраматически (по словам городских телекритиков, *душераздирующе*) кончается их вынужденным расставанием, когда русские войска покидают остров. Именно этот чувствительный фильм, а не вышедший следом чисто пропагандистский «Море судьбы» о Ганзейском союзе, опять-таки по шведскому роману, с действием в Готланде и Новгороде, вызвал трения между Россией и Швецией, когда последняя в ответ провела на острове военные учения и расквартировала там воинский контингент – 150 военнослужащих мотопехотной роты, что вызвало у телевизионных нарванашистов истерический приступ веселья.

Попахивало региональной, а может, и большой войной, но этот пороховой запах действовал на моего выблядка не только упоительно, но и вдохновительно. Он был зациклен на войне, дразня слушателей ссылкой на Троцкого: «Вы можете не интересоваться войной, но тогда война заинтересует вас, ха-ха!» Подготовка к войне шла полным ходом – все равно с кем, да хоть ни с кем. Тонкая оболочка исторической культуры Города слиняла, как летний загар зимой, туман лжи обволакивал Город, меняя его очертания и делая неузна-

ваемым. Благодаря захвату Нарвы и милитаристской пропаганде к моему другу-недругу пришло второе дыхание.

Своим уходом я не то чтобы решил отмежеваться от этого его отчаянного шага - скорее дистанцировался от него. Как сказал не я: *Да будет мне позволено молчать – какая есть свобода меньше этой?* Ну да, спираль молчания, как говорят у нас в деревне. Чем не повод для ухода, о котором я подумывал и прежде как человек возрастной, да и наши с ним заморочки начались не вчера? Ну, ладно – не заморочки, а контроверзы. По любому, мой с ним проект пошел сикось-накость. Пора было сваливать из Города, но я остался. По лениности? Из любопытства? Из чувства вины?

Jewish guilt? Почему нет? Скорее, чем католическая *meaculpa*, к которой пришлось бы добавлять усилительные эпитеты – *maxima culpa*, *optima culpa*, тогда как еврейская *culpa* включает все степени вины, в том числе безвинную – бремя чужой вины: чужая вина как моя вина. В еврейской этике нет без вины виноватых. Невоцерковленный, паче необрезанный еврей, я всегда чувствовал иррациональное, деструктивное чувство вины. Нет, не угрызения совести, да и не совесть вовсе. Оставим Шопенгауэру эти потуги на остроумие: честь – внешняя совесть, совесть – внутренняя честь. Не совесть, а стыд. Стыдоба. А уже отсюда бунт против самого себя. Типа пятой колонны внутри тебя. Мой советский безмозглый атеизм превратился со временем в обмозганный агностицизм, пока я не поймал себя на том, что мысленно оправдываюсь перед Богом за то, что не верю в Него. Думаю, это всеобъемное чувство вины, включая вину перед Богом за отступничество, и отличает еврейский атеизм от любого другого, независимо от конфессии. А это подразумевает подсознательное согласие еврея с заклятыми врагами еврейства, что во мне, еврее, корень всего мирового зла, первородный грех, а потому лично я несу ответственность за весь миропорядок. Отсюда многочисленные еврейские проекты во его исправление: от Моисеева свода законов и Христовых к нему гуманистических коррективов до – в том же соотношении – капитализма и социализма. Еще неизвестно, кто был большим революционером – Маркс или Иисус. Куда дальше, ортодоксальные евреи умирали в газовых камерах с чувством вины за свои грехи. Зато

выжившие, нерелигиозные живут с чувством вины за Холокост, сужу по себе.

Затрагиваю эту тему мельком, мимоездом, дабы она не затянула в свою трясику, есть у нее такое свойство. Только для того, чтобы объяснить некоторые сюжетные коленца этого моего жизнеописательного опуса. Мне с юности нравилось программировать окружающих, а выбор пал на него не в последнюю очередь, потому что русский: чистокровка. Условно говоря: поскреби русского и проч. Однако в наше время скребут не для того, чтобы обнаружить татарина, но токмо – еврея. Когда война уже была проиграна, Гитлер сказал Шпееру, своему личному архитектору, что мир будет ему благодарен за евреев, что он проделал за других эту черную работу. А что теперь? Тоска не по погрому, а по новому Холокосту? И теоретическое обоснование: «Через газовые печи прошло столько евреев, сколько их не было за всю историю. И все живы!» А мой ставленник был вне подозрений и никогда не прибегал к этому апробированному оружию, хоть и уважал Гитлера. Помимо меня, среди его покровителей были и другие евреи – тренер по боксу, учительница английского в школе, профессор русской истории, какой-то чин в армии, всех не упомяну. Ну да, это тоже сыграло свою роль в моем выборе. Оправданный: он установил не фашистский, а фашиствующий режим минус антисемитизм. Не замешан или не замечен? Про запас? Он поостерегся бы конфликтовать с мировым еврейством, преувеличивая его значение.

У меня была рациональная на него ставка, пусть я и лажанулса стопудово, но кто мог думать? Когда до меня дошло, было слишком поздно, чтобы отыграть обратно.

Полагаю, мою Иезавель тоже потянуло к нему, но на инстинктивном уровне, как к русскому, к своему – от меня, еврея и чужака, а не только потому что он ровесник, а я перестарок, вошел в возраст. Этого опять-таки могло и не случиться, если бы я действовал по инстинкту, а не противу естества, откладывая наше соитие, оттягиваясь на единоличном сексе, из-за гипотетического чувства вины за ее соращение, хотя ни о каком соращении не могло быть и речи – сексуально мои семнадцать были адекват ее четырнадцати. Ставлю это поверх индивидуальных темпераментов в гендерный знаменатель, а о ее числителе я узнал еще позже, чем о несоответ-

ствии сексуального вызревания у девочек и мальчиков – отложим ненадолго. На еврейской шкале антиценностей мой герой находится в качестве чуть ли не главного ингредиента, возбуждая нервные окончания моего чувства вины перед согорожанами, а потому заглоченная им Нарва – мелочевка, хотя именно с нее и началось его возвратное движение к помянутому корыту. Цена триумфа. Начало конца. Расплата за Нарву. Пиррова победа. Кризис подстерегает систему, когда она кажется самой себе неколебимой. Пишу это не со злорадством, а с ужасом – священным. И со стыдом, остро переживая собственную вину за то, что стряслось с Городом.

Гадал над его мотивами – их было множество, от геополитических до психопатических (как-никак, Малая родина), а потому трудно было остановиться на каком-нибудь одном, паче скомбинировать несколько.

Хотя физически он жил в XXI веке, психологически (а не только политически) он так и не перешагнул границу тысячелетий и продолжал существовать в предыдущем миллениуме с его имперско-геополитическими принципами, которые в наше время межконтинентальных ракет с ядерной начинкой безнадежно устарели. Шел вперед, вывернув голову назад – не потому ли он в конце концов нахернулся на ровном месте? Будучи властителем не всей страны, а только Города с прилежащими к нему землями, он был тем не менее озабочен присоединением к Городу новых территорий. Даром что ли получил кликуху – Владимир Калита, собиратель земли русской. Ха-ха? Не только. Лучше бы он собирал не земли, а людей с учетом естественной и неестественной убыли населения, когда смертность превышает рождаемость. Катастрофическая демография, куда ни кинь. Взять хотя бы гендерные контрасты. Даже если верить официальной статистике, продолжительность жизни мужчин у нас в Городе – 67,5 года, женщин – 77,6. Для сравнения: во Франции продолжительность жизни мужчин около 80-ти, а женщин – 85.

Демография побоку, зато он сосредоточился, зациклился на присвоении чужих земель.

Сказывалась здесь и его личная kleptomания – невинный грех или грешная невинность, шекспировская альтернатива? Да, нечист на руку. Несколько раз в нашей совместной юности он попадался, а однажды мог крупно подзалететь – я вырубил его, взял вину на

себя, а сам отмазался. Спустя несколько лет, во время зарубежной службы с ним случился досадный конфуз. Будучи нашим человеком в Зальцбурге (под видом культурного атташе), попался на взятке от турагентства, которому обещал режим наибольшего благоприятствования в нашем Городе. Скандал разгорелся нешуточный, и не то чтобы нам объявили бойкот, а наш будущий Губер стал нерукопожатным, перестал быть равным среди равных в австрийском культурном сообществе и на званных встречах его обходили стороной и даже сажали не за общий стол, а за отдельный столик, и вид у него как у побитой собаки. Причина, почему его в конце концов отозвали из Австрии, хотя взятку он объяснил авансом в совместное предприятие. Больше того, домой он вернулся на коне, и объявил, что игра стоила свеч и ради гешефта можно и не то вытерпеть. С тех пор он и прослыл тефлоновым, в смысле, как с гуся вода, что не совсем так. Точнее, совсем не так. Не то чтобы он ожесточился, но нравы в нашем Городе, когда он стал градоначальником, ужесточились. Ну да, скрепы.

Став во главе города, он продолжал подворовывать. Одна зашварная история – в резонанс – чуть не стоила дипломатического скандала, чудом удалось замять. На приеме в честь американских бизнесменов в Константиновском дворце в Стрельне он увидел на руке хозяина известной спортивной команды золотой чемпионский перстень, инкрустированный 124-ю бриллиантами и попросил примерить. В самый раз. После чего спокойно положил в карман и удалился в сопровождении телохранителей, которые оттеснили опешившего американца. Все попытки вернуть этот не просто дорогой, но значимый, знаковый для него перстень окончились ничем, хотя он подключал к этому делу своих высокопоставленных друзей – вплоть до трех последних американских президентов. Жадный не только до власти. Причиной – убогое, нищенское, голодное детство? От клептомании до клептократии, как определи его губернаторство еще при его жизни. Народ нищал, зато его дружки сказочно богатели, его включая.

С учетом его пристрастий я подарил ему на юбилей старинную серебряную монету. Он удивился:

- Ты, что, забыл? Я филателист, а не нумизмат.
- Отдашь Харону, – сказал я.

– Харон принимает в твердой валюте, – отшутился он, вертя в руке монету.

– Не хочешь – верни. Я ее продам на аукционе.

Возвращать была не в его привычках – он сжал свой детский кулачок.

– Объясни.

– Раритет. Особая монета. Седьмой век до Рождества Христова. Найдена в захоронении в Тенее на Пелопоннесе в черепе древнего грека. Предназначена для оплаты путешествия в загробную жизнь. Не забудь сказать своим янычарам, чтобы положили тебе под язык.

– А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела, – пропел он голосом Марка Бернеса.

Очередной банал в его духе.

– Смотри под ноги, сказал конь Олегу, – предупредил его я.

– Дерзишь.

И не прощаясь, удалился со своими янычарами из личной гвардии.

Отмечу заодно – пока что как приколы, что Нарва была для него тройной шизой – от зачатия/рождения до присоединения. А промеж переезд с родаками в Город, дворники всегда позарез, где-то за Нарвскими воротами, в районе Обводного, из которого он с пацанами вылавливали гондоны, а однажды – кобуру, в ней наган с патронами, который он присвоил себе и хранил его как реликвию, может, до самого конца. Рос, как сорняк в проходных дворах, чтобы легче дать тягу на случай появления фараонов или конкурентной кодлы. Обводная гольтьба да малина – его воспитательная и питательная среда. Шнырь из подворотни, полное дно – самородок, однако, не без того. А если его нарвскую эскападу демотивировать – экспромт, импровизация, по чистому вдохновению?

Я бывал пару раз в их девятидесятиметровой конуре в полуподвальной коммуналке, из окна – ноги прохожих, зато любой, мог, наклонившись, заглянуть к ним с улицы, жизнь на виду у всех, что тоже сказало, не могло не сказаться на его подпольной психике. Как и мелькающие ноги, которые он видел вместо лиц – в пыли, в грязи, в брызгах луж, куда-то бессмысленно, вразброд: сброд, быдло, стадо – уничтожить или упорядочить, дать цель и направление. Что он попытается сделать, преодолевая приступы ненависти. Ну

да, нервический, а точнее нарвический комплекс с детства. Среди прочих. Человек из подвала, человек из подполья, человек из подворотни – и такой взлет!

*Тучи над городом встали
в воздухе пахнет грозой
за далекой за Нарвской заставой
парень идет молодой.*

У меня, однако, будет еще возможность вернуться к этому, если ничто/никто не прервет меня на полуслове. Мертвец? Мертвые срама не имут? Ни срама, ни гордости, ни комплексов, ни мнительности и ни мстительности. Терять ему больше нечего. Не все ли ему теперь равно, коли он умер?

Если умер.

Или я не прав, и он мыслил исторически и был озабочен своим местом не только в истории Города, но и по всей стране? Какой он след оставит? Скоротечный, исчезающий, как на песке во время прилива – бесследный след? Зато прибой утрамбовывает песок и легко по нему топтать, как нам троим, когда он пригласил меня с моей девочкой в Нарву и мы, обходя ее и – через реку Нарову – город-близнец Иван-город, один супротив другого, и облазив обе крепости – ливонскую и русскую, добрались до Финского залива в дюжине километров.

Какой только черт дернул меня согласиться на эту клятую поездку на его Малую родину! Там все и произошло, забегая вперед повествования, но назад хронологически: наступаю, пятясь. Вот так и я движусь вперед с головой, повернутой назад, у Данте есть на этот счет загадочная метафора, но я ее не упомяну. Ну, типа прилив – отлив, туда – обратно – таким сексуально-гекзаметрным манером и движется наше не линейное и не векторное повествование. Незабываемая для меня поездка, по сю пору свербит – нет, не память, а воображение, когда я даю ему волю. А для нее? А для него? Загадка с догадками, но без отгадки. Не загадка, а тайна. Как у турки: «Я понять тебя хочу, Темный твой язык учу». А не как в оригинале у родоначальника: «Смысла я в тебе ищу». Смысла не ищу. Это ошибка всех великих еврейских симплификаторов – того же Фрейда, напри-

мер, которые выводили подсознание на поверхность разума и тем самым неизбежно упрощали и уплощали его. Кажется, Эйнштейн полагал поместить между субъектом и объектом экран и судить о реале по его схематическому изображению. О Марксе и говорить нечего. Принцип познания путем упрощения и укрощения реальности. Вряд ли сгодится в нашем случае. Мы пойдем другим путем.

Темный язык женщины, темный язык правителя, темный воробьиный язык охлоса – и чем охлос отличается от демоса? Если только это не тайные синонимы. Параллельные линии, которые тайно сходятся за пределами Эвклидова пространства. Так они и сошлись в этой клятой Нарве: он – преодолевая свой нарвический комплекс, она – чтобы утишить бунтующую плоть. Одного нашей половозрелой нимфетке-нимфоманке было мало, вот мы с ним и вкалывали не сговариваясь, чтобы наеб*ть ненаебы*аемое. Втроем – она сама нам в помощь.

Потом, в одиночку, наверное, я ее недоуествлял, но я так долго этого ждал, и вот дорвался, никак не мог привыкнуть к чуду ее гостеприимно раздвинутых колен – офигеть! Пусть и не лично для меня – для кого угодно! Мне было все равно. Не успевали кончить, как снова, набрасывались друг на друга, как звери, на одной волне, два еба*ьных робота. Ладно, пусть будет эвфемизм: две сексмашины, до бесконечности. Как пишет Вова Соловьев (ньюйоркжец, вестимо, а не любой из его полных тезок, несть им числа), всю ночь, бывало, не смыкала ног. Это я о моей секстремистке. Добавлю от себя, что у меня самая эрогенная зона – память: шли годы, а я все еще воспринимал ее, как четырнадцатилетнюю девочку, когда увидел впервые. Память, помноженная на ревность. Ревность подпитывает память, когда та дает сбои. Ревность – никогда.

– А где у тебя эта таинственная точка «G»? – спрашиваю мою нимфоманочку.

– Да она у меня повсюду! Я вся эрогенная зона. Сам знаешь: чуть тронь – тут же кончаю.

Так и было. Моя мультиоргастическая девочка, умилялся я. Быстро кончала и тут же заводилась снова:

– Еще! Еще!

Касаемо главного персонажа моего повествования: зачем тогда, если деспот мыслит не дальше своей могилы, он вызвал меня в свой

дворец, где прежде был штаб революции, до – Институт благородных девиц, а еще раньше женский монастырь?

Он, конечно, догадывался, что я задумал его жизнеописание, а потом достоверно узнал от своих ищеек, что уже приступил. Не исключено, что каждая моя фраза становилась ему известна еще до того, как я ставил в ней точку.

– Кому как не тебе! – примирительно сказал он, когда меня доставили в его дворцовую резиденцию, пропустили сквозь металлоискатели и крупногабаритную охрану, а потом мне пришлось ждать минут сорок, наверное, – пустяк, всего ничего по сравнению с его рутинными двух-трехчасовыми опозданиями на назначенные встречи, тактика психологического давления и подавления собеседника. Даже нацлидера он заставил ждать, когда тот прибыл из столицы с дружественным визитом в родные пенаты – в суверенный наш Город. Не говоря про церемониальных лидеров, типа Королевы Елизаветы, которой пришлось дожидаться его на назначенную в Букингеме аудиенцию.

Само собой, я задумывался над этими его вечными опозданиями задолго до того, как, уйдя на покой, занялся его жизнеописанием. Ну да, он считал, наверное, это признаком крутизны – весь мир ждет меня одного. А мир ждет и гадает, делая скидки: загадочная русская душа, тяжелое советское детство и проч. А что, если это не совсем нарочно, совсем не нарочно, а просто он опаздывает по жизни, в принципе? Шаг вперед – два шага назад, чтоб каждый раз приходиться в настоящее из прошлого, не пересекая линию будущего, неизвестности. Это поэтический взгляд, я его пересказываю своими словами, дабы не ограничиться собственными наблюдениями.

Да, внутренние часы моего героя-антигероя не совпадали с бегом времени, от которого он не только отставал, но и опережал тоже, когда как, пока его часы не встали вовсе и показывали точное время только дважды в сутки. Можно было пойти чуть дальше и чуток глубже, вспомнив о клепсидре – если б солнечные, пусть даже песочные, но хронология его жизни определялась именно водными часами, наглядность исчезновения влаги в которых и породила идиому *время истекло*, как истекло время его жизни, а он этого и не заметил, несмотря на преследующий его с детства страх смерти. Это все равно, как он умер (если умер) – натуральной

или насильственной смертью, самоубивец или с чужой помощью, а здесь уже мильон вариаций и версий, заговор включая, но исключая все-таки восточноевропейский экспресс, хотя смерти ему желали многие, даже закоренелые пацифисты. Усталость металла – так мы все устали ждать его вечно опаздывающего, а на самом деле устали от него самого, оппоненты, сторонники, враги и даже друзья, которых у него не было, не считая его страхолюдного пса, а вот тоже не уберег. *Бессильное всесилие*, как опять-таки не я сказал, а кто – не упомню. Он стал помехой на пути времени, с которым был не в ладах. Не говоря о том, что жил не в своем веке – предыдущем или грядущем, зависит не только от точки зрения, но и от будущей исторической оценки. Да, мы с ним оба надеялись, что время пойдет вспять: я – как эстетствующий пассажир с лирическим уклоном, он – как пассажир-политик с имперским мороком? Морок или амок?

Не той же природы его ставшие рутинными хамские опоздания, что не в ладах с объективным бегом времени? Но почему тогда не приходил раньше времени? Она тоже жаловалась, что не было случая, чтобы он вовремя явился на свиданку, а вот ни разу так и не ушла, не дождавшись случки. Что старуха-королева, когда даже Понтифику пришлось его ждать, в ватиканской практике впервые. Один только ничтожный премьер ничтожного Сингапура проучил его и, прождав полчаса, отменил встречу. Что не отучило его от этой барской, но не царской привычки:

– Точность – вежливость королей, – сказал ему в ту нашу встречу, когда прождал его чуть больше полчаса.

– Вот потому я и не король. И не собираюсь.

– Ты не король, потому что ты туз, – сказал я.

Он был самодержцем-самозванцем, а потому не нуждался в регалиях. Да и кому бы он передал власть? Коллективному наследнику – своей клике? Временщику-регенту, но разве он сам не был временщиком и самозванцем? Нашим с ним близняшкам, к которым был отменно равнодушен с их младенчества, если не больше: типа аллергии к младенцам женского пола? Своему бастарду от певички, который в конце концов его предал и взбунтовался, примкнув к школьно-студенческому флешмобу против отца и тем самым оправдав его латентные страхи? Но и без этого Эдипова эпизода, о наследнике и

думать не мог – ни о родном, ни о чужом, ни о ком. Идеализируя монархическую традицию, он воспрепятствовал ее возобновлению в пределах нашего Города, хотя поступали намеки, советы и даже требования от его камарильи моральных – аморальных? – уродцев: паноптикум? Самодержавию он предпочитал самовластие, которое с возрастом склонялось к самодурству, а потому его клеветы прощупывали общество на предмет пожизненного губернаторства. Его идеалом был Наполеон, но того стубила коронация, сказал он мне в ту нашу не совсем последнюю встречу.

– Даже самая прекрасная дева не может дать больше того, чем у нее есть, – вернул он мне французскую поговорку, с которой я его и ознакомил в просветительский период. – Тогда чем она отличается от бляди?

Мы все еще говорили о власти, но в иносказательной манере.

– Ты это сказал. Не преувеличиваем ли мы различие, влюбляясь, будто у них между ног не одно и то же, – подстраивался я под него, хотя в генитальном плане так не думал.

– Ты мой добрый фей, – и тут же уточнил: – Был. Союз гебешного меча и писательского орала.

Намек на его пятилетний, а может пожизненный, по совместительству, тенюр в органах, сразу после армии, где он вступил в партию, хотя недолго музыка играла – партия накрылась, вослед вся страна. Вот как закалялась его сталь, не знаю, где больше – в армии, где он служил вертухаем, чего стыдиться, как Довлатов? в партии? в гебухе? в двухлетней заграникомандировке, где был шпионом то ли канцелярским крысенком гебешного разлива? или в период исторического разлома, когда нерушимый Союз в одночасье рухнул, главная травма его жизни, не считая детских?

В армии он крупно погорел через меня, когда в его прикроватной тумбочке обнаружили присланный мной набор открыток с роденовскими обнаженками, которые сочли за порно и посадили на губу по максимуму – 45 суток. Я тоже пострадал из-за него, когда он служил в гебухе и привлек меня к сотрудничеству – быть его глазами и ушами, но не в смысле слежки и стукачества, а в художественном, типа драгомана, советчика, советника-внештатника по поводу новых книг, спектаклей и выставок в Городе – он был брошен на культуру. Не видя ничего в этом постыдного, я хоть и не кричал

об этом на каждом перекрестке, но и не таился, не скрывал своей связи – скорее лично с ним, чем с его, как оказалось, альма-матер, а не университетский истфак. Из мухи слона – его противники, с которыми я был молча солидарен, подверстывали меня к нему, как пестуна, так и было, и приписывали мне и продолжают постыдную связь с органами, чего не было. Если бы только этим ограничилось! В одной истории с трагическим, увы, исходом, я оказался замешан, хотя ни он, ни я никак не предполагали, что она так кончится. До сих пор переживаю, как-нибудь расскажу. И еще одна, где я оказался не на высоте. *Ты хочешь предстать негодяем в своем собственном произведении?* Да, хочу.

– А как же щит? – спросил я. – Где меч, там и щит.

– Теперь я твой щит, – сказал он загадочно. – Кто спорит, твоя креатура, но сам знаешь, я вырвался на волю и стал сам по себе – селф-мейд-мен! Тебе ли не знать, как вымышленный герой качает свои права и поступает наперекор автору? Созависимость, но теперь мы поменялись местами: как я от тебя тогда, так ты теперь зависишь от меня.

И без всякого перехода, не пускаясь в объяснения, какого рода моя теперь зависимость от него:

– Не окарикатурь.

– Карикатура может быть портретно точна. Или ты предпочитаешь дружеский шарж?

– Не сделай меня глупее, чем я есть.

– Есть другая крайность: сделать тебя умнее, чем ты есть.

– Возражений нет, – усмехнулся он.

– Что ты хочешь? Правду? Полуправду? Четвертьправду?

– Слишком большой выбор, – и тут же выдал клишированную притчу про трех художников, которые писали заказной портрет кривоглазого падишаха.

– Если что не так, ты меня казнишь?

– Велю слово вымолвить, – мгновенно откликнулся он и тут же посерьезнел: – Напиши меня в профиль.

– Как Пьеро делла Франческа одноглазого урбинского герцога-кондотьери Федерико ди Монтефельтро?

Не врубился. В отличие от китчевой притчи, сдвоенный портрет в Уффици еще не стал культурным ширпотребом, и я вкрат-

це ввел его в курс дела. Это напомнило нам обоим старые добрые времена, когда, возомнив себя Пигмалионом, я занимался, среди прочего, просвещением и повышал его культурный уровень, и меня одинаково тогда поражало как то, что он знает, так и то, чего он не знает. Лакуны невежества по причине отсутствия системного, с детства, образования. Гены? Гены тоже.

– Судьба этого наемника и гуманиста наводит на ряд нестандартных мыслей о совместности добра и зла в одном человеке, – осторожно заметил я.

– В смысле гений и злодейство? У Пушкина стоит вопросительный знак. Да и масса примеров, что совместны.

– Изображенный в профиль урбинский герцог был, несомненно, образованным человеком, крышевал художников и собрал у себя в палаццо не только первоклассную коллекцию живописи, но и богатейшую по тем временам библиотеку. Что нисколько не мешало ему убивать людей...

– Вот-вот!

– ...на войне, – закончил я.

– Какая разница? Смерть всегда смерть.

– Насильственная смерть, – уточнил я.

– Любая смерть насильственна. Даже самая естественная. Одно исключение – профанация смерти, – загадочно сказал он.

И вдруг, ни с того ни сего:

– Если человек споткнулся, это еще не значит, что я ему подставил ножку.

Не слишком ли много округ тебя спотыкача? – подумал я, но промолчал я, а он укрылся цитатой:

– *Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел!* Потому и заказные убийства, что они по заказу свыше. Глас народа – глас Божий.

Процент смертности среди его врагов в самом деле зашкаливал, но у его врагов были и другие враги, кроме него, а прямые доказательства, если и существовали, то предъявить их значило поставить в рискованную зону средства их добывания. Искоренение крамолы шло разными способами, убийства включая – с его отмашки или без? Когда как, полагаю.

Считал ли я его способным на убийство? Вопрос нелепый, согласитесь. Каждый человек – потенциальный убийца, оправдывая убийство высокими или низкими материями, но почти всегда вынося за пределы личной вендетты. Тем более, убийство опосредованное, *by proxy*, когда ты не киллер, а только заказчик, а то и намеком, понимай как хошь, за тебя вкалывает целая команда профи-ликвидаторов. А если еще считать себя вместе со своей вотчиной – страной, городом, племенем или идеологией – центром мироздания, человеческая жизнь гроша ломаного не стоит и жертвовать ею во имя высшей цели, все равно какой – без проблем, зачем брать в голову? Если Бога нет, то всё позволено, но если на месте Бога сам имярек, то ему позволено еще больше. Пусть так, да простится автору трюизм: на месте Богочеловека – человекобог, коим он себя возомнил. «Ну, не Бог, а заместитель Бога», – отшучивался он, когда мы его двигали в Губеры. Культ собственной личности – и насаждаемый культ его личности. Моя установка. Серость, посредственность, вторичность – такой, как все: вышли мы все из народа. О том, что можно быть выдающейся посредственностью, сказано еще Иудушкой Троцким. Касаемо крови: испробовав ее вкус, входишь во вкус. Он – не исключение. Человек – расходный материал для его мегапроектов, а то и вовсе мусор.

– Так где разница между смертью и смертью? – настаивает он.

– В самом деле, никакой, – ведусь на его софистику. – В перерывах между войнами герцог читал Данте, Петрарку и Боккаччо.

– Вот напиши меня, как твой Пьеро одноглазого герцога.

Полутораглазым стрельцом? Это и значит сделать тебя лучше, чем ты есть, – молча, про себя.

Хотя в самом деле есть такая опасность, если я начну в него перевоплощаться по Станиславскому. Чертов Метод! Аналогия неизбежна, но не со Станиславским, а с Шекспиром: *Though this be madness yet there's method in it.* (Хотя это безумие, но в этом есть метод). А если произвести рокировку: в каждом методе есть безумие? Это я о себе. Зная, как трудно уболтать психа обратиться к психиатру, я все-таки попытался, когда стал замечать в нем отклонения, хотя и не понимал тогда их клинический характер. Или они тогда еще не приняли клинический характер? Какова природа этих его отклонений: черта характера по Лабрюйеру? нервное расстройство?

психическая патология? злокачественная фаза, когда он окончательно помутился в уме? Теперь-то я знаю, что он прошел все эти этапы – от нарвских обид и подвально-подпольных комплексов до окончательного, бесповоротного сдвига по фазе.

Сам его безумный эксперимент, частично, временно удавшийся в пределах нашего Города, по отпадению от истории – разве не симптом болезни? Психо-дрихо-помешанный. Заветная и несбыточная русская грёза: остановка истории – конец истории, сиречь – смерть. Не в этом ли причина, что он завладел умами сограждан, а не только горожан? Его линейное время было отмерено, дни сочтены, а он мыслил в беспределах вечности. Моя задача противоположного свойства, а потому не из легких: философически выражаясь, создать подвижную метафору его неподвижного времени, придать стагнации динамику и сюжет. Ключевое, знаковое понятие: страх истории. Уточняю: страх мировой истории и противопоставление ей суверенной русской истории с уклоном в мистику: наш отечественный полтергейст. Попытка была предпринята: остановить не мгновение, как оно не прекрасно, а саму историю, повернув ее предварительно вспять – к истокам, как бы туманны и сомнительны они не были. Ну да, великая славянская мечта о прекращении истории и бесформенном рае, не я сказал, а ссылка на самого великого поэта нашего города излишня. Нет, не Бродский, хоть и тезка.

Подростковые мечты? Так он и был – нет, не вечным вьюношей, а вечным отроком (см. выше). Он так и не изжил в себе пацана, его мысли, чувства, мечты так и не достигли полного развития, отсюда его комплекс неполноценности, а не только из-за малого роста и детских обид, а потом из-за взрослых унижений. Это, конечно, не медицинское объяснение его паранойи, мы оба это понимали, но он тогда наотрез отказался пойти к психиатру, выдав очередную банальность: «Врачу, исцелися сам!» Что он имел в виду? Что я сам неадекватен, коли помешан на ревности? Что мне впору заняться собственной, а не его подсознанкой? Психосомаоанализ? Психоанализ взамен самоанализа? Боюсь, наша с ним история зашкаливает в анекдот. Все равно что раббаи взревновал бы к Голему, не поделив с ним бабу. История с Големом покруче той, что поведала мадам Шелли. В ее основе детоубийство: раббай принес в

жертву своего сына дауна. *Я тебя породил, я тебя и убью*. Вот почему я на подозрении: вроде бы не смог, но мог его убить. Должен был убить. Гражданский долг и все такое. А главное, у меня была такая возможность – промолчу пока о нашей последней встрече, чтобы не увеличивать подозрения и сохранить свое алиби.

Или этот опасный психо- и социопат излечился сам, осуществив подсознательные мечты и заразив ими массы с помощью демагогии, коей он великий мастер – минуя разум и обращаясь к инстинктам? Эффект плацебо или иллюзия панацеи? Отчуждение своих комплексов – сброс и вброс их в народ, который сделал его бред национальной нормой? Заразил нас ненавистью, избавившись таким образом от личного безумия? Рационализировав свои мании и комплексы в патриотическое неистовство черни? Или национальный проект в пределах одного Города, но с подспудным влиянием на всю страну дал простор, перспективу, разбег и инерцию его болезнетворным идеям, превратив индивидуальное безумство в безумства национального масштаба?

Так кто он – мой герой или пациент? А кто из нас нормалек? Я? Мы? Где кончается норма и начинается клиника? Доктор Джекилл и мистер Хайд? Временами – временами! – я забываюсь и забываю о нем, и мое собственное подсознание рвется наружу на бумагу. Как ему трудно было сосредоточиться на сексе, так и мне – на его бородавках, когда меня гнетет другое. Расфокусированность – следствие сфокусированности, целеустремленности, упертости. Он ничего больше не берет в голову, кроме власти. А я? Даже в этом трактате. Мы оба-два – ежи. С одним существенным отличием: я – писатель, а потому системности предпочел бы бессистемность, отрывочность, фрагментарность. Порядку сознания – сумбур, хаос, да хоть блуд бессознательного. Если удастся.

– Портрет со всеми бородавками? – говорю я.

– Как знаешь, у меня ни одной.

В самом деле, очень чистое тело – безбородавчатое, безволосое. Робот, а не человек. Иногда я начинаю сомневаться в его существовании. Не есть ли это вымышленный мной двойник нацлидера, который вынужден был под влиянием международной перейти к половинчатому, ползучим полумерам, а я восстанавливаю его прежний имидж, каким он был в период пусть рискованных, но исторических с

его точки зрения авантюра – типа Крыма. Особенно сомнения одолели меня, когда я писал портрет нашего Губера в режиме реального времени. Doppelgänger? Двойник? Дубль? Клон? Подменный губернатор? С кем я говорю сейчас – и кто говорит со мной?

Если после Большого взрыва образовалась не одна, а две симметричные вселенные, в одной живем мы, вектор времени у нас однонаправлен, а во второй, зеркальной, из антиматерии, время течет в обратном направлении, удаляясь в прошлое, и, вероятно, там у каждого из нас живет двойник, включая его двойника. «В таком случае, двойник не живет, а жил, – поправляет меня продвинутый приятель. – И довольно давно». То есть заглянув в эту антивселенную, я мог бы выяснить судьбу моего героя – умер ли он уже в наше текущее время и если да, то естественной смертью, самоубиился или был убит. Кем?

– Иносказание, – пояснил я. – Требование Кромвеля к художникам писать не парадные портреты, а как есть.

– А ты уверен, что знаешь, какой я есть?

– Пока что нет. Для меня процесс писания – процесс познания. Вот когда допишу твой портрет...

– Если допишешь, едрена-матрена.

– В смысле?

– Сам знаешь, человек предполагает... Все в руке божией.

– Коли так,ними с меня домашний арест. Чего ты боишься? Что я сбегу и буду писать тебе из Литвы подметные письма, как Андрей Курбский?

– Кто тебе сказал, что ты под домашним арестом?

– Ну, под колпаком.

– Для твоей же безопасности.

– От кого?

-- Да хоть от моих слишком ретивых молодцов. Мне за всеми не уследить, и они иногда сами решают, кто и что мне во вред.

– Я думал, ты держишь все под личным контролем. Принцип ручного управления. А если твои молодцы решат, что ты во вред самому себе? Идея власти важнее властоносца.

– Согласно твоему Фрейду? Где доказательства?

– Доказательств твоей насильственной смерти тоже не будет? – пошутил я, но тут же дал задний ход: – Да минует тебя чаша сия.

Смерти я ему тогда не желал. Как и никому другому.

– Не обо мне речь. Как-нибудь сам позабочусь. Как и о своих согражданах и согражданах. Именно потому я им нужен. Тебя включая. Ради тебя самого и приставил к тебе охрану и ограничил в передвижениях. До тебя не дошло, что я тебя крышую?

– Хочешь сказать, мне свезло, что покуда жив?

– Ты жив, пока я жив. Пусть опасен, но ты мне нужен. Какой есть. А им ты не нужен – только опасен.

Так и есть. После его смерти, в промежности времен, условия моего домашнего ареста устрожились без никаких на то объяснений. Не то чтобы я был на подозрении, но люди наступившего безвременья держали меня про запас, не зная еще, какая мне роль уготована: не ими, а судьбой: киллера? заказчика? заговорщика? козла отпущения? Буду отрицать свою вину до самого конца, даже если виноват, то безвинно, тайные желания осуществляются независимо от тебя, а в качестве отмаза – этот вот его портрет в историческом и городском пейзаже: тень, знай свое место!

Зачем бы я стал расправляться с ним словом, сочиняя этот пасквиль-некролог, если бы задушил его при нашей следующей, последней встрече? Что с того, что я выше, крупнее, сильнее его, зато какой он скользкий и изворотливый, как угорь. Такого голыми руками не возьмешь.

Окончание – в следующем номере

* Эксперимент австрийского физика-теоретика, лауреата Нобелевской премии Шрёдингера показал, что с точки зрения квантовой механики кот одновременно и жив, и мертв, чего быть не может.

Владимир Соловьев – русско-американский писатель, эссеист, журналист, мемуарист и политолог. В одиночку и в тандеме с Еленой Клепиковой напечатал сотни статей в престижных СМИ по обе стороны океана – от «New York Times» и «Wall Street Journal» до «Московского комсомольца» и «Независимой газеты», и издал немало книг. Среди них «Yuri Andropov: A Secret Passage Into the Kremlin», «Inside the Kremlin», «Boris Yeltsin: Political Metamorphoses», «The Paradoxes of Russian Fascism».

Острые и парадоксальные, на грани фола, произведения Владимира Соловьева – такие, как написанная еще в России горячая исповедь «Три еврея», роман-биография «Post mortem. Запретная книга о Бродском» и исторический роман о современности «Семейные тайны» – неизменно вызывают шквальную полемику в среде читающей публики.

В последние три года выпустил в Москве десять книг, включая мемуарно-исследовательское пятитомное «Памяти живых и мертвых», предсказательную книгу о Трампе задолго до его победы на выборах и «США – pro et contra. Глазами русских американцев».

Постоянный автор журнала «Времена».

Вадим ЯМПОЛЬСКИЙ

ЛИРИКА

Веронике

Площадь, уходящую под воду,
лев с колонны видел сотни раз.
Но на ней, как прежде, тьма народу,
лиц беспечных, любопытных глаз.

Вечности дыханием затронут
этот город, в море вбитый клин.
Даже если все вокруг утонут,
значит, он останется один.

Запах рыбы, сырости и гнили,
улочек причудливая вязь:
приезжали, в сумерках бродили,
и молчали, за руки держась.

Улыбаясь, на канал смотрели,
не могли ни слова проронить...
Это было счастье, в самом деле?
Лев крылатый знает, может быть.

Страшный суд состоялся, а ты не явился,
беспобудным забывшийся сном,
одеялом пуховым надёжно укрылся,
как в шкафу затаился стенном.

А во сне – не какие-то дальние дали:
куртки, шапки, рукав, воротник.
Спи спокойно. Тебя на Суде оправдали,
целый день изучали дневник:

ничего не нашли, ни заначки, ни дури,
опечатали, сдали в отдел,
удивились, что не было по физкультуре
достижений, но ты же болел.

Секретарь под столом поправляла колготки,
и клонило свидетелей в сон:
адвокат приобщи́л твои детские фотки,
где на шапке дурацкий помпон.

Даже строгий Судья улыбнулся украдкой,
улучив для улыбки момент.
Помнишь, друга в саду угостил шоколадкой?
Это был ключевой аргумент.

Сан-Микеле

Сад или кладбище? Бродишь среди цветов –
осы и бабочки возле бутонов вьются,
если устал от докучных своих трудов –
ляг, отдохни, но, прошу, не забудь проснуться.

Стёртые буквы на плитах, полдневный зной,
женщины в чёрном, непышные их букеты.
Разве возможен какой-нибудь мир иной?
Этим же Солнцем уснувшие здесь согреты.

Ходишь счастливый и думаешь: правда, там –
всё и продолжится, только на самом деле.
Как не поверить таким безмятежным снам?
Мы уезжаем. До скорого, Сан-Микеле.

Души бесформенны, души безлики,
души зачем-то придуманы нами...
мусор сметают с асфальта таджики,
листья вальсируют между домами.

Не утешай себя жизнью грядущей,
музыкой вечной, посмертной славой:
вот облетевшие райские кущи
между забором и сточной канавой.

Не уповай на бессильное слово,
не говори ни о чём с небесами.
Разве возможно, чтоб все это снова
кто-то увидел твоими глазами?

«Береги себя...». Как смешно звучит.
Обопрись о земную ось...
Рыцарь пал – бесполезный отброшен щит,
да и панцирь пробит насквозь.

И молитва, прости мне, язык мой груб,
и надежда – спасут едва.
Это в час смертельный слетают с губ
перемолотые слова.

Это эхо в пустых коридорах дней,
снег растаявший к февралю.
Но никто не тронет любви моей,
и не знает, как я люблю.

Стихи исправить ничего не в силах:
посмертный слепок промелькнувших дней.
Они ушли, хотя ты и любил их,
поблѣкший мир не сделался светлей.

Ни нежной нотой, ни богатой краской
не стать сонету – выбери любой.
Смешно искать под этой бледной маской
всю гамму чувств, испытанных тобой.

Ни поцелуй, ведь так, ни шум прибора?
Строка к строке подогнана умом.
Но вот без них, скажи мне, друг мой, кто я?
И что я знаю о себе самом?

...начнёшь опять сначала

Блок

Умрёшь – родишься в параллельном мире,
и там, как в этом, будешь одинок.
На переменах бряцает на лире
от делать нечего, румяный Саша Блок.

Сбежишь с уроков, запасешься «Клинским»
и сквозь забор глядишь исподтишка,
как Саша Пушкин с Женей Баратынским
стреляют мелочь у молодняка.

Вот Гумилёв, отправленный с позором
из класса, пишет «Аня» на стене,
вот Мандельштам, пропахший «Беломором»,
вот Ходасевич, трезвый не вполне.

Урок насмарку: слышен смех бесстыжий,
звонка учитель раздражённый ждёт...
Заснув, невольно вздрагивает Рыжий,
когда Довлатов Бродского зовёт.

В электричках вся правда, в подземных слепых переходах.
В попрошайках, бандитах, бомжах и безногих уродах.
В нищей старости, злости, обиде, безумии, смерти.
Не в холсте разлинованном, не на скрипичном концерте.
В придорожной траве, почерневшей от смога и грязи,
в пустоватой певичке, на сцене дрожащей в экстазе.
Во вранье бесконечном, в тоске беспросветной и скуке.
В невозможной надежде, глядящей на небо в испуге.

Григорию Хубулава

Тот, которого нет, говорит с тобой,
дождь смывает с листвы пыльцу,
полог неба то серый, то голубой
обращён к твоему лицу.

Воробьи, нахохлившись, вниз глядят,
перья вымокли под дождём.
Вы чего-нибудь ждёте? Не говорят.
Мы давно ничего не ждём.

Мы бежим куда-то, теряем след,
собираем обрывки фраз.
И какой-то слабый нездешний свет
иногда настигает нас

ниоткуда. Среди суеты мирской,
в самый серый из серых дней.
И стоим, охваченные тоской,
и не знаем, что делать с ней.

Алексею Беляеву

Хороши мы, Господи, или плохи,
знаешь лучше, а значит, вопрос не к нам,
но собою являем портрет эпохи,
ходим в гости, смотрим по сторонам.

Ухмыляемся, если пошутят плоско,
машинально киваем, услышав бред...
Словно ожили твари с полотен Босха
и собою заполнили белый свет.

Но на лицах наших в минуты боли
проступает правда, бледна, гола,
вот и маски сброшены поневоле,
словно крошки хлебные со стола.

И солгать невозможно, и притвориться,
и надеяться не на что: видишь Ты.
И слетаешь, Господи, словно птица,
слыша голос потерянный, с высоты.

Вадим Ямпольский родился в 1983 году в гор. Колпино. Поэт, член Союза писателей Санкт-Петербурга, автор книг «В первом приближении» (СПб., 2008), «Взамен утраченного» (СПб., 2012) и «Дорожный плащ» (СПб., 2018). Публиковался в журналах «Звезда», «Сибирские огни», «Нева», «Зинзивер», петербургских литературных альманахах. По профессии юрист. С 2006 года живёт в Москве.

Джейкоб ЛЕВИН

СЫН ЛЬВА

Сожитель прачки, инвалид, умер в 1948 году. Он вернулся с фронта в сорок четвертом, весь израненный, но каким-то чудом прожил ещё четыре года и, не перестав болеть, умер молодым. Она осталась жить одна в теплом полуподвале под пекарней со своим вечно перепуганным четырёхлетним сыном. От инвалида ей досталась большая оцинкованная ванна, в которой она купала сына, и целая этажерка ветхих книг, исписанных непонятными ей мелкими ивритскими «сошками».

Мизерная «туберкулёзная» пенсия, которую она скрывала от всех, и для этого получала её на почте, была её жгучей тайной и вечным упрёком. Ей, туберкулёзной комсомолке, было стыдно получать эти «даровые» деньги – так уж она была воспитана. Кроме того, если бы деньги почтальон приносил на дом, соседи узнали бы о её болезни и не доверили бы ей стирать их бельё.

Война унесла всех её родственников, помешала закончить школу и приобрести специальность. «Стиральная доска», «хозяйственное мыло», – кричали ей вслед умные местечковые дети на улице. Но она шла, втянув голову в плечи, не хотела этого слышать и не обращивалась. Вдовьей пенсии ей не полагалось потому, что они не были зарегистрированы, а её сын Бинарик родился всего на три месяца позже, того как её сожитель вернулся с фронта, и, следовательно, отцом его быть не мог.

Ей было двадцать три года, но соседи думали, что не более восемнадцати. Слишком худа она была. Иногда за стирку с ней рассчитывались спиртом, она всегда низко кланяясь, благодарила, и хоть сама не пила, бережно несла пузырёк в свой полуподвал. Поскольку соседи не знали, что у неё был туберкулёз, они были уверены, что худоба её от того, что она была горькой пьяницей и, встречая её, напоминали:

– Майя, нужно лучше закусывать. Картошку поджарь с луком на подсолнечном масле.

Спирт в те годы был валютой бедных людей, и она продавала его за деньги, немного разбавив водой.

Детство её сына Бинарика было невесёлым. Из игрушек была одна, круглая картофелина, без глазков, которую он целыми днями, сидя на полу, крутил и терпеливо ждал, пока она остановится. Когда ему это надоедало, он брал другую, более сложную игрушку – трубочку из соломы и пускал бесконечные мыльные пузыри, в которых отражалось всё убогое убранство комнаты с единственным окошком. Играть с детьми на улице он не любил. Он всегда проигрывал им, а они звали его «прачкин сын». Ему было спокойнее дома.

Самыми интересными и увлекательными мероприятиями были путешествия в соседний городок на еврейское кладбище, где до войны похоронен был дед его матери. Там раньше проходила линия фронта.

На кладбище мать сажала маленького Бинарика на траву, и он, сидя, рвал всякие цветочки подряд, вперемежку с клевером, лопухами и другой травой, потом составлял букетики и протягивал матери. Едва завидя издали людей, он бросался к ней, охватывал её худые ноги и зарывался лицом в её юбку. Его пугливости и страху не было предела.

Родители его матери своего места захоронения не имели, поскольку были расстреляны немцами. И уходя домой на обратном пути с кладбища, он и мать останавливались у колючей проволоки и несколько минут, стоя, смотрели в общую канаву, наполненную доверху жёлтым песком, сквозь который кое-где уже пробивался сиреневый репейник.

Одному Богу известно, как застенчивый, неуверенный во всем, некрасивый, слабый и пугливый Бинарик сумел вытерпеть учёбу в школе. И сколько обид и издевательств он перенёс от своих одноклассников. Соседи по дому смотрели на него с жалостью и снисхождением. «Безотцовщина», – говорили они. Казалось, мальчик, выросший без отца, должен быть самостоятельнее, смелее, увереннее в жизни, ведь ему придётся всего добиваться самому, но Бинарик был другим.

Учился он ни шатко ни валко, но, как ни странно, в четырнадцать лет сдал вступительный экзамен в какой-то провинциальный техникум, его приняли и поселили в общежитии. В тот же год умерла его мать.

Всех этих подробностей я сначала знать не мог, но когда встретился с Бинариком, то понял, что так всё и было.

Мы встретились с ним на берегу Днепра, зимой в очень ясную и холодную погоду. Там были соревнования «моржей». Я не помню, что входило в программу. Но несколько жирных мужиков кувыркались в проруби, в ледяной воде, ныряли, выпрыгивали из воды, фыркали, «спасали» друг друга и выдыхали целые облака пара. На берегу, стуча зубами и исходя мелкой дрожью, переминались с ноги на ногу несколько худющих обнажённых «цыплят» с синей кожей, покрытой бугорками. Им ужасно не хотелось лезть в ледяную воду, но очень хотелось поскорее стать мужчинами. Один из них, совсем тщедушный, стоящий около меня, громче всех стучал зубами и выглядел уж очень несчастным.

– Не хочется в воду? – спросил я его.

– Нет.

– Если не хочется, то и не надо. Одевайся...

– Да, я, пожалуй, оденусь, если заболею, то пропущу занятия, возиться со мной некому.

И он поднял со снега свою одежду.

Мы познакомились. Ему было шестнадцать лет. Оказывается, он был младше меня всего на год. Потом мы сидели в кочегарке гостицы «Днепр» и пили кипяток. Бинарик, видя моё участливое отношение, стал оттаивать и его потянуло на откровения. Видно было, что ему этого очень не хватало. Мы подружились.

Однажды летним днём в выходной, когда я уже знал всё о прошлом Бинарика и мы гуляли по Первомайскому проспекту, я спросил:

– Что у тебя за имя – Бинарик?

– Это отец так называл меня, – ответил он.

– Он был чех?

– Нет. Наверяд ли. Книги остались еврейские. Но он не был родным отцом. Про родного мать ничего не говорила, даже перед смертью.

- А где эти книги сейчас?
- Те, кто хоронили мать, забрали их себе.
- Евреи хоронили, что ли?
- Да, – нехотя сказал Бинарик.
- Может, отец хотел назвать тебя Бен Арье?

– Может и так, не знаю. Он меня очень полюбил и один раз даже поцеловал. Я боялся матери сказать. Мать этого не узнала, но я помню. А имя, как мать написала в записи актов гражданского состояния, так и осталось.

– Это называется сокращённо ЗАГС.

– Мать не очень грамотной была. И работала тяжело, мы жили очень бедно. У нас только патефон был. Когда отец умер, он сломался, и мать больше его не заводила. Пружина соскочила, а пластинка разбилась. Шаляпин. Давно это было.

– Бинарик – это, наверное, Бен Арье. Может, твоя мать не поняла?

– А это что значит?

– Сын Льва.

Он замялся:

– Это по какому Бен Арье – Сын Льва? По-древнему?

– Да.

– Не подхожу я этому имени, – сказал Бинарик.

Но я заметил, что имя ему понравилось, хоть он и стеснялся его. Он перестал сутулиться, как раньше, стал ходить, расправив плечи, и почти перестал отводить глаза при разговоре. В нём появилась какая-то новая стать. Он перестал со страхом смотреть на взрослых мужчин и пугаться их.

Я вспомнил: «Как корабль назовёшь, так он и поплывет...»

Потом меня призвали в армию. Я окончил школу сержантов под Борисовом, в Печах, получил звание младшего сержанта и был оставлен инструктором при школе. Как-то через год меня направили в другую воинскую часть в командировку, в окружной карантин за очередными новобранцами. Первым, кого я увидел на огромной обнесённой забором территории воинской части, был тощий солдат в гимнастёрке, без пилотки и ремня. У него было худое красное и потное лицо, он еле-еле бежал и шумно сопел. Его ноги в тяжёлых са-

погах из подменного фонда заплетались, а воротник был расстёгнут, несмотря на мороз. Пробегая мимо меня, он вдруг выдохнул:

– Мне ещё круг остался, потом поговорим.

– Не разговаривать!

Я услышал окрик сержанта и только тогда увидел его, стоящего в шинели с секундомером позади меня.

– Земляк? – коротко спросил он. Я не понял и спросил:

– Кто?

– Бень. Я ему ещё круг дам, чтобы не врал. Он мне соврал, что ночью на кухне работал! А там другие работали.

Заканчивая новый круг, ко мне опять подбежал тощий солдат и я узнал в нём Бинарика. Форма обезличивает.

Когда урок был закончен, он отдышался, мы уселись под навесом казармы. Он с восторгом, как зачарованный, смотрел на мои погоны. После нескольких его вопросов я рассказал ему о причине моего появления.

– Вот заберу восемь солдат и уеду в Борисов, – закончил я.

– Возьми меня с собой, – с надеждой попросил Бинарик. – Здесь мне кранты.

– Ты сам не знаешь о чём просишь! – возмутился я. – Во-первых, все восемь человек у меня уже в списке. Тебя среди них нет. А во-вторых, в учебке тебя заедят в три дня! Там слабаков не терпят. Унижать будут каждый день.

– Всё равно, там лучше, чем здесь, – печально сказал Бинарик.

– Там ты сможешь.

– Я? Да я в школе сержантов никто! Ты не знаешь, о чём говоришь.

– А если я закончу школу, то тоже стану сержантом?

– Да, станешь, только ты её никогда не закончишь. Или инвалидом останешься, или в дисциплинарный батальон угодишь. А уж там быстро тебя задавят. Там весёлые ребята. Научат сапожные гвозди глотать или мошонку гвоздями к табурету прибьют.

– А зачем? – испуганно спросил он.

В этот момент меня вызвали к командиру роты. Мне нужно было пробыть с новобранцами ещё два дня. Семь человек были готовы к командировке в учебку, но восьмой – баптист, белорус, присягу принимать с оружием в руках отказался наотрез, а без оружия

было нельзя. Через два дня все ждали либо его согласия и отправки на службу, либо отказа, в этом случае его ждал трибунал и пять лет тюрьмы. Взять в руки автомат баптиста уговаривали все поочерёдно.

– Возьми автомат, прими присягу, и тебя отправят в полевой хлебозавод печь хлеба, а там автомат забудешь, – пытался обмануть его старшина.

Капитан угрожал посадить на гауптвахту, в одиночку на десять суток, отобрать нижнее бельё и натравить конвойных из роты охраны, пусть не забудут воду под двери подливать, в морозы это помогает, но баптист только отворачивался и рассеянно улыбался. Майору, комбату, он сказал:

– Зато, когда раздастся трубный глас Архангела Михаила и все верующие станут по правую руку, а неверующие по левую, вы увидите меня. Весь я буду в золотом сиянии!

– Чёрт с тобой, даю тебе, придурку, два дня. Потом вызову конвой.

В отличие от других, я не уговаривал его. На вопрос каково мне было закончить сержантскую школу, я честно сказал ему, что тяжело. Но он слушал меня почти безразлично.

Баптист был, в сущности, неплохим парнем и когда узнал, что я забыл взять с собой бритвенный станок, предложил свой. На моё предложение сыграть в шахматы он ответил отказом.

– Шахматы есть обман, через искушение...

На другое утро я разыскал Бинарика и сказал ему, что у него появилась надежда попасть в учебку. Но если только баптиста отдадут под трибунал. Он сначала обрадовался, а потом сник.

– А что если он возьмёт в руки оружие?

– Он крепкий парень. Он не возьмёт, – сказал я, и был прав.

Через день мы с Бинариком и ещё семеро солдат ехали на военном автобусе в Борисов, в школу.

Когда мы прибыли, я представил курсантов и отдал заведующему столовой продовольственные аттестаты солдат. Затем мы пошли к бравому капитану медслужбы и участнику штурма рейхстага – Шехтеру. После медосмотра он отозвал меня в сторону и спросил:

– Где ты взял этого «гренадёра»? Этот дистрофик – верный дезертир или самострел. Что это за имя у него?

Я объяснил.

– Почему же он по военному билету белорус? Не хотел записаться евреем?

– Наверное. Да он никакой не еврей, – ответил я.

Капитан был понятливым и совсем не занозливым. Он засмеялся, подошёл к Бинарику и сказал:

– Поскольку ты Сын Льва, ты докажешь мне это на деле. Понятно? А теперь всем: вольно! Разойтись.

Мне он сказал:

– Бинарика в школу приняли только потому, что у него есть диплом об окончании техникума, но я лично отправил бы его в госпиталь и дал бы ему курс уколов витамина «Бэ», а потом – домой. Он совершенно истощён. Скажи ему, чтобы ко мне в любое время приходил, я ему всегда освобождение дам, иначе ему конец. Коллапс и инвалидность. Или сердце не выдержит...

В армии знакомство с капитаном медицинской службы – дело очень полезное. Этим я сделал для Бинарика, даже больше, чем мог.

Мне же по службе ничего не было гарантировано, и я всегда был готов к переменам. Через несколько дней меня внезапно перевели служить на танкодром, и я расстался с моим приятелем Бинариком. Ему предстояло спуститься в ад.

Моя новая служба на танкодроме была настоящим санаторием. Вскоре на погонах у меня уже были три полоски. Правда, я по-прежнему получал зарплату 10 рублей 80 копеек. Моя служба проходила в нескольких километрах от учебных корпусов школы, и с Бинариком за шесть месяцев его учёбы мы встретились только один раз. Он лежал на траве и прерывисто дышал. Только что закончился марш-бросок на четыре километра с полной выкладкой в двадцать семь килограммов. С автоматом, патронами, шинельной скаткой, противогазом и сапёрной лопаткой. Он получил десять минут отдыха. Святое дело. Он даже был не в состоянии разговаривать.

Только каким-то колдовским образом он сумел закончить шестимесячную школу. Когда ему было присвоено звание младшего сержанта, у него на теле не оставалось ни жирилки. Если бы курс обучения продлили ещё на одну неделю, он бы умер, признался Бинарик.

После окончания шестимесячных курсов младшие сержанты обычно получали полдня отдыха. Потом начиналась отправка по назначению на дальнейшую службу. Мы провели вместе два часа. Бинарик был тих и подавлен свободой, которую он вдруг приобрёл. Движения его опять стали осторожными и неуверенными. Он ежесекундно ожидал новой команды, но команд больше не было. Мы зашли в солдатскую чайную, съели по коржику и запили чаем. Он постепенно приходил в себя.

Бинарик получил назначение в самую крупную в Белоруссии воинскую часть, в Урученскую гвардейскую дивизию, в пятьдесят пятый танковый полк. Дивизия располагалась под Минском. Мы на время расстались, но потом, на третьем году службы, в эту дивизию перевели и меня.

Я был временно прикомандирован к штабу полка, а потом назначен командиром отделения дальномерщиков и с нетерпением ждал окончания службы. С Бинариком я ещё не виделся, но уже переговоривался по телефону. Он служил в соседнем полку. Наконец, морозным зимним вечером, когда уже смеркалось и красное зарево заката застелило полнеба, я на «ГАЗ-69» с брезентовой крышей въехал на территорию полка и остановился подальше от казармы в условленном месте, около свалки с армейским мусором. Погасил фары и, не выключая двигателя, стал греться и ждать появления Бинарика. До его появления оставалось полчаса.

В сумерках я разглядел одинокую полураздетую фигурку солдата. Он копался в куче бытового хлама и с опаской оглядывался на мою машину. Что мог делать он там в такой холод, почти в темноте?

Я окликнул его:

– Ты почему без бушлата? Тебе что, не холодно?

Он подошёл к машине.

– Нивозможна бегат в бушалати, товариш серджянт, – на невероятном русском языке сказал он. Он дрожал и стучал зубами.

– Садись в машину, погрейся.

Он сел.

– Откуда ты?

– Из Наманган, там типло.

Его звали Юсеф.

– Что ты потерял в этом мусоре?

– Я ищу такой маленькая резиновая крутишка от противогаз, называется калпан.

Действительно, под гофрированным шлангом противогаза имелся тонкий резиновый клапан, который служил только для того, чтобы выдохнуть использованный воздух. Из заражённой среды воздух через него обратно поступать в лёгкие не мог. Такова была конструкция противогаза тех лет. Этот клапан сильно ограничивал и стеснял дыхание солдат при движении, из-за него запотевали стекла очков, его ненавидели все, кто пользовался противогазом. При первой возможности его выбрасывали, это было легко – нужно было только поддеть его пальцем. Когда солдаты возвращались с занятий и сдавали в ружейный парк автоматы, патроны и противогазы, они старались не забыть вставить новые клапаны. Для этой цели в ружейном парке стояли открытые ящики с новыми клапанами. Никто никогда эти резинки не считал, их там было всегда много.

Мы разговорились. Юсеф, по его словам, на занятиях в классе всегда садился подальше, в глубь помещения, за спины других. Иногда ему удавалось поспать. Он очень уставал от службы. Командир взвода, старший сержант по фамилии Бойко, буквально издевался над ним.

– Мне свинину есть нивозможно, я от неё отказываюсь, мой дедушек – мулла, – рассказывал мне Юсеф, – так этот звер узнал и теперь меня всегда в наряд на хозяйсвинный свинарник работать посылает.

– Как же ты без мяса живёшь?

– Мне земляки денги дают, я на них инжир покупаю. Но сил уже нет. Я сейчас уснул в классе на политзанятиях, так он меня будил и одинцать кругов по плац бижать в противогазе заставил. А как бижать с калпаном? Воздух не хватает. Я думал – умру. Калпан выбросил и побежал, чуть только не умер. А он пришёл, палец в дирка от калпана вставляет и говорит: ты мой палец видишь? Так вот: поставь калпан на место и опять десять кругов бегай. А я где калпан возьму? Я его в снег выбросил. Искал, руками снег капал, руки смёрзли, ноги смёрзли. Умру.

– А ты иди в ружейный парк и другой клапан возьми. Там же много.

– Дынивальный ключ не даёт. Старший сержант Бойко ему запретил. Иди, говорит, и найди тот, который ти бросил. Это военный имущест. А я где его найду?

– Да, Юсеф, зверь он у тебя.

– Конечно, звер, чистий звер. Я его на прошлой недели убивать хател, тапор со стенда схватил... Земляки атабрали...

В это время в пластмассовое окошко «газика» постучал Бинарик.

– Открывай, я уже здесь!

Он обошёл машину, открыл дверь и занёс ногу над подножкой.

– А кто у тебя здесь? Ниязов? Ты что здесь делаешь? Греешься?

– Да, греюсь, ошен холодна сиводня, товарищ старший сержант.

– Клапан нашёл?

– Никак нет, товарищ старший сержант.

– Тогда п*здуй отсюда. Спать не пойдёшь, пока не найдёшь.

Юсеф медленно выбрался из машины.

Тут вмешался я:

– Бинарик, во-первых, поздравляю тебя с присвоением звания старшего сержанта. Как ты перепрыгнул через одно звание? Быстро карьеру делаешь! А во-вторых, я и не подумал, что ты тот самый старший сержант. Честно, я и фамилию твою Бойко подзабыл. Бинарик и Бинарик. Послушай, отпусти пацана. Он весь синий от холода. Открой ему ружпарк.

– А тебя не учили в школе сержантов, что обсуждать приказ старшего по званию в присутствии подчинённого строго запрещено? – неожиданно прозвучало в ответ. Я обалдел.

– Это кто старший по званию, ты, Бинарик?

– Да, я. Так точно. Я – старший сержант, а ты – сержант, – отчеканил Сын Льва. – Выходи из машины и становись по стойке «мирно»!

– Ты чего, обалдел? Ты не шутишь, Бинарик?

– Никак нет! Не шучу. Мне что, позвать караул?

Я подчинился. Не могу передать, что творилось у меня на душе. Растерянность сменилось злобой, потом в глазах все заколебалось, будто пошла рябь на воде от брошенного камня. Бинарик, Сын Льва, как такое возможно...

Наша дружба в этот момент оборвалась.

Через месяц он при всех со смехом вытащил кусок мыла и верёвку из постели Юсефа и отнёс в особый отдел.

Когда возвратился, чтобы отправить Юсефа на гарнизонную гауптвахту, тот сидел на кровати и ждал появления старшего сержанта с пожарным топором под подушкой.

...Сына Льва похоронили на дивизионном участке заброшенного военного кладбища в Уручье.

Джейкоб Левин эмигрировал из Риги в Нью-Йорк около 40 лет назад. Несмотря на то, что по образованию он инженер по обработке металлов, всегда интересовался историей и знает ее на профессиональном уровне. Основная тема его произведений – Холокост и судьбы людей в период и после оккупации Прибалтики.

Левин широко известен и как эксперт по средневековому оружию, и как дизайнер и изготовитель художественного оружия и миниатюрных изделий, механизмов из металла и различных драгоценных материалов. Существует более 30 публикаций на английском, итальянском и французском языках о его художественных работах.

Книги, изданные в США: «Удо и странные предпочтения Боргманов», «Встреча в ньюйоркском сабвее», «Encounter in the New–York Subway» (на английском). Готовится к выходу его книга на французском и русском языке под условным названием «Ньюмен», а также полный сборник его рассказов на русском языке.

Постоянный автор журнала «Времена».

Дмитрий СТОНОВ

В ДВА ГОЛОСА

Окончание. Начало в № 2 (10)2019

В комсомольскую ячейку
Московского текстильного института

ЗАЯВЛЕНИЕ

Вот уже несколько дней как по институту распространяются слухи, порочащие имя нашего товарища В. Булыгина. Нет никаких сомнений, что распространением подобных слухов занимаются исключенные из втуза субъекты, – в их выявлении Булыгин принял большое участие.

Все мы знаем товарища Булыгина, одного из лучших наших активистов. С первого же дня своего поступления в институт Булыгин зарекомендовал себя как стойкий и преданный товарищ. Нет ни одной комиссии, ни одной бригады, в которой Булыгин не работает. Он является примером как в общественной работе, так и в учебе.

Полагаем, что комсомольская ячейка должна немедленно вступить за Булыгина и отбить охоту у явных и тайных врагов компрометировать лучших наших товарищей.

Студенты Текстильного института
(девять подписей)

Заявление Кати Иващенко

Товарищи, третьего дня я разошлась с Виктором Булыгиным, больше года он был моим мужем. Так как наш разрыв носит не только личный характер, я считаю своей обязанностью довести до сведения комсомольской ячейки...

Как всякая женщина, покончившая все счета с близким человеком и рассказывающая об этом тотчас же после размолвки, Катя Иващенко не совсем, видно, справедлива. Так, например, она утверждает, что с первого дня знакомства с нею Виктор Булыгин «старался казаться не таким, как все студенты, чтобы, связавшись с пролетаркой, дочерью ивановского текстильщика, укрепить свои позиции...». «Ни один товарищ не был со мной так ласков и внимателен, и – признаюсь – этим, главным образом, он склонил меня на свою сторону. Он не хлопал меня по плечу, не тискал, не лез целоваться. Связь с девушкой не была для него «парой пустяков». Каждый раз, получая стипендию, он дарил мне цветы, и это были единственные цветы, которые мне когда-либо давали... Он отучил меня от блатных слов, от ненужной грубости. Он принял большое участие в моем развитии, он привил мне вкус к хорошим книгам. Благодаря Булыгину я впервые увидела оригиналы картин, известных мне с детства. Вместе со мной он работал в бытовой комиссии, в комиссии санитарии и гигиены и, надо сказать, внес в эту работу много ценного и полезного...

...Он усыпил мою бдительность, товарищи, в этом я чистосердечно должна признаться. Изредка он бывал со мной откровенен, и в такие минуты осторожно снимал маску. На эти его как бы случайные слова я в свое время не обратила внимания – может быть, потому, что в конце концов он сводил их к шутке...»

Булыгин сидел у стола, вприкуску пил со студентами чай и с удивлением следил за Катей. Казалось, рыться в не совсем чистом белье ей доставляет удовольствие. Она отбрасывала в сторону подушку, снимала одеяло и простыню, переворачивала матрац и, прищурившись, действуя всеми пальцами, начинала обследовать складки.

– Ура, – кричала девушка, найдя насекомых. – Еще одна койка на черной доске! Кто здесь спит, признавайтесь?!

Смущенный студент – хозяин койки – уверял, что только три дня тому назад он уничтожил всех клопов, матрац смазал кероси-

ном... «Тебе показалось, Катька!» Тремя пальцами Иващенко брала насекомое и торжественно преподносила его студенту. При этом она напевала марш. Все хохотали.

До позднего вечера тянулась проверка. От девушки воняло клопами, руки изгажены, голова в перьях.

Вышли в полночь. Вечером выпал первый снег – крупный, звездами, он мягко хрустел под ногами. У фонаря стоял извозчик, на его бровях и бороде лежали пушистые хлопья.

– Витька, снег, – воскликнула Катя и, приблизив к губам рукав пальто, стала слизывать пушинки. – Какая ночь! Господи Боже мой, какая ночь!

Несколько минут шли молча.

– О ночи, о первом снеге ты говоришь с тем же восторгом, что и о клопах, — сказал Булыгин. – «Какой клоп! Боже мой, какой клоп!»

Иващенко рассмеялась.

– Ты здорово притворяешься, Катя, – продолжал Булыгин. – Признайся, тебе ведь противно возиться с чужими клопами? Хорошо еще, что ты в уборную не полезла! Какая чушь!

– Во те раз! – Катя остановилась, хлопнула себя по коленям. – Было бы противно – я бы не возилась. Ведь это же удовольствие – чистота! Придешь к ребятам, а у них как в санатории, как в образцовом доме отдыха – ни пылинки, ни мушинки... Хорошо!

– Чушь и чушь! – Булыгин заметно раздражался. — Мы не на людях, мы можем не лгать друг другу! Какое мне дело до того, что каких-то Ивановых и Петровых кусают клопы? Да пропади они пропадом – я и пальцем не шевельну!

– Ну, это, знаешь ли...

– Что – «знаешь ли»? Масса и останется тупой и косной скотиной. Ничего нет глупее – эту скотину тащить на своей спине! Наоборот, на ней нужно ездить, ею понукать. И, если говорить правду, чем масса темнее, тем лучше!

– Это, кажется, теория фашистов?

– Пожалуйста, не пугай меня словами, они мне надоели! «Ах, вредная теория, ах, неправильная мысль!» Почему она неправильная, если я в ней убежден?

– Ты что, Виктор, с ума сошел?

Минуту она смотрела на него с недобрим вниманием.

Они стояли на мосту, в черную воду падал снег. На трамвайных проводах трещали зеленые огни.

Булыгин обнял девушку, поцеловал в холодную щеку.

– Вот я и разыграл тебя, Катя, – сказал он, смеясь. — Надо почаще ходить в театр, я давно говорил. Все, что я говорил, – это из трамбовской пьесы... Забыл как называется... И знаешь? – «действующему лицу» отвечают почти то же самое, что ответила ты... Брось дуться!

... Говорили о будущем.

– Как ты представляешь свое будущее? – спросил Булыгин.

– Очень ясно, – ответила Катя. – До двадцать третьего года мы жили в казарме, я помню ее с пятилетнего возраста. Керосиновая лампа, пахнет капустой и пеленками, тараканы шуршат. Бабушка в твердом платке – один нос торчит... Знаешь, из четвертушки бумаги делают носатую птаху, бабушка была похожа на такую... Сидит в сторонке, щи из чугунка деревянной ложкой хлебают... И ткачи собирались у Никанорыча. Это мой отец – Никанорыч. Напротив – дом хозяина, квартиры инженеров. Они как во сне – недосыгаемы. Ткачи пьют жидкий чай и жалуются... Даже не так, просто беседуют. «Они» – администрация, значит, – оштрафовали, «они» хотят выгнать с фабрики, «они» дочку взяли в прислуги и живут с нею... Воображаю – что бы случилось с товарищами отца, да и с самим отцом, если бы хозяин или инженер зашли к нам в гости чай пить. «О чем вы тут толковали?» Небось со страху повалились бы на пол... И вот я окончу институт, обязательно вернусь в Иваново и поступлю на нашу фабрику. Там нет уже казарм, но там остались Никанорыч и его старые приятели. Я соберу их, заварю четвертку чая, поставлю угощение... «Ну-ка, товарищи дорогие, я вам теперь не сопливая девчонка, я инженер, у меня строго, не думайте! Давайте поговорим о нашей фабрике, о нуждах, о недостатках... Какие у кого жалобы, какие предложения?» Я часто об этом думаю...

– Это не план, а мелодрама, – возразил Булыгин. – Чай пить я предпочитаю с директором, а не с рабочими... Я уже не говорю о том, что сам стремлюсь стать директором!

– А вот и неправда, – воскликнула Катя, – ты выдумщик, Виктор, ты на себя клеветешь! Разве ты не говоришь на собраниях, что нам нужно заниматься с отстающими ребятами, втягивать их в обще-

ственную работу, поднимать их культурный уровень? А остальные – кто? Треплешься, парень!

– От своих слов я не отказываюсь...

– Ага! «Не отказываюсь»! Всегда ты так: думаешь одно, а мне часто говоришь другое. Из противоречия это, что ли? Вот у меня братишка – ему три года. Скажешь: «Степа, слезь с табурета». А он: «Не слезу», – и лезет... Кто больше всех занимается общественной работой? Кого калачом не выманишь из студкома? Кто обследовал столовую и натянул нос кооперации? Кто повысил посещаемость лекций? Молчал бы лучше!

– Опять ты чепуху городишь, – рассердился Булыгин. – Я говорю о цели, ты – о средствах. Ты что думаешь – устраивать лекции для тупоголовых идиотов, следить за тем, чтобы они платили членские взносы и ходили в баню, – это моя цель? Я не так глуп, Катя! «Товарищи, мы настояли на том, чтобы кооперация улучшила работу нашей студенческой столовой... С завтрашнего дня порция манной каши будет увеличена вдвое...» Какое достижение для Булыгина, какая замечательная цель! Нет, милая, шутишь, это не цель, а средство. Нужно – значит, делай, не рассуждай. Бери барьер за барьером. А как называется барьер – общественная работа или еще там как – не все ли равно?

– Интересно рассуждаешь, – в свою очередь разозлилась Катя. – Об этом, по-моему, стоит поговорить на общем собрании. Ты, может быть, сделаешь доклад?

– Мои интимные мысли не для общих собраний!

– Значит, у тебя имеются одни мысли для себя, а другие – для всех?

– «Это – двурушничество... клеймим позором...» – так, что ли, ты хотела сказать?

– Можешь подобрать другие слова... Да и эти неплохи... Всё дело в том, что иногда ты любишь потрепаться... Разыгрываешь меня, Витя, а я сержусь!..

– А ты не сердись!

– Мне не нравятся твои интимные мысли, попросту – трепня!

– А что нравится?

– Весь ты – твое отношение к общественной работе, к людям, к учебе... Но вот иногда ты говоришь такую ерунду, что – на секунду – начинаю тебя ненавидеть.

– Так ведь я шучу, Катя. Нельзя же всё серьезно и серьезно. В институте – серьезно, на собраниях и заседаниях — серьезно, в постели с тобой – тоже серьезно...

...Я расходую все свои силы, одна часть остается нетронутой – злоба. Иногда мне хочется швырнуть ее под ноги людей, да так, чтобы они споткнулись, полетели... Мне хочется перегрызть людям горло, а я улыбаюсь, мне хочется говорить дерзости – я высказываю «правильные мысли»... Но злоба растет и растет, я ощущаю ее физически, как ощущают порой сердце... На ком бы мне ее сорвать, Катя?

Это было, пишет Иващенко, за несколько дней до чистки студентов. Особую ненависть — я до сих пор не знаю почему – вызывали в Булыгине «тихие» студенты. Он относился к ним враждебно, точно это были его личные враги. «Ненавижу, всеми силами ненавижу «тихий», – говорил Виктор. – Они уклоняются от всякой общественной работы, они интересуются только учебой... Ты думаешь, случайно? Они хотят достигнуть своей цели без всяких затрат... Я их вижу насквозь... Не такое теперь время, голубчики... Я вас расшифрую... Умей бороться, лезть вперед...»

В своем заявлении Катя Иващенко подробно останавливается на «Деле В. Булыгина», слухи о котором распространились по институту... Булыгина она характеризует как человека волевого, мужественного. Вот почему ее вначале удивило «отношение Виктора к этим слухам». Он как-то сразу потерял уверенность, раскис, даже внешне как бы преобразился...

Булыгин пришел потный, у него дрожали руки. «Холодно, Катя, кажется, я заболел... Топи печку». Иващенко принесла дрова, затопила. Виктор стал уверять, что в комнате пахнет жжеными перьями, — этот запах преследовал его. Он нервно тянул носом, принюхивался к отсыревшему платью, пальто. «Перья... Я задыхаюсь от запаха жженных перьев...» Он содрал с себя одежду, полотенцем вытер лицо. Катя уложила его в постель. Вскипятила чай – Виктор отказался

пить. Он укрылся одеялом, тяжело дышал. Казалось, он заснул.

– Катя, – позвал он тихо, из-под одеяла. – У меня неприятность.

– О чем ты? – спросила Катя. – Ты бредишь... Спи...

– Товстун распространяет обо мне нелепые сплетни...

– Ну и черт с ним! Ты что, хочешь, чтобы этот жандарм хорошо о тебе отзывался? Спи...

– Катя!.. – Булыгин сбросил одеяло, сел. Огонь освещал его лицо – страшное, с воспаленными глазами. — Ты мне веришь?

– Конечно, верю!

– Любишь?

– Люблю. Ложись, Витя, ты нездоров.

– Если ты любишь и веришь, заткни Товстуну рот! Мои нервы напряжены, я больше не в силах бороться. Переговори с секретарем, скажи ему, что мы должны щадить своих людей, что я болен... Скажи, что студенты возмущены сплетнями. Я знаю, несколько человек собираются подать заявление, взять меня под свою защиту...

– Хорошо... Пожалуйста... Спи!

– ...а еще лучше, заberi бумаги Товстуна. Они находятся в ячейке, кажется, в правом ящике... Тебя никто не заподозрит, никто не обратит внимания — ты часто там бываешь, роешься в столе, в шкафу. А тем временем я возьму перевод в другой институт...

– Ты болен, Витя, ты говоришь чепуху. Спи...

– Там, по всей вероятности, есть одна бумажка... В девятнадцатом году мой отец сошел с ума и объявил себя попом... Но почему я должен отвечать за поступки сумасшедшего? Может, его уже нет в живых, пойми, Катя. Умоляю тебя... Надо похитить бумаги...

Тогда, ночью, я недостаточно серьезно отнеслась к его словам. Я была убеждена, что он бредит. Я сказала, что он должен лично переговорить с секретарем ячейки и объяснить недоразумение. Булыгин и слышать об этом не хотел. «Нет, нет, ни за что, ни в коем случае... Лучше я покончу самоубийством». – «Но почему же, почему?» – «Об этом не может быть и речи. Я охотнее застрелюсь. Все будут на меня пальцами показывать... И если даже меня оставят в институте – кем я после этого буду? Рядовым, забытым, несчастным студентом, над которым все издеваются...»

...С этой ночи, товарищи, он только и говорил что о самоубийстве. Теперь для меня ясно: он хотел меня запугать, заставить украсть документы, собранные Товстуном. В те дни, однако, его слова меня очень пугали. «Вспомни-ка свое выступление на товарищеском суде, ты обвинял Иду Рубинштейн: «из-за несчастной любви» Рубинштейн покушалась на самоубийство. Что ты тогда говорил?» – «Тогда одно, сейчас — другое. Честное слово, я застрелюсь. Прощай, Катя, ты не застанешь меня в живых... Не думай только прятать от меня револьвер. Не будет револьвера – я отравлюсь. Знай, я любил тебя, я люблю тебя...»

Постепенно его угрозы перестали на меня действовать. Три дня, уходя в институт (Виктор притворялся больным, сидел дома), я забирала с собой револьвер. На четвертый день я случайно забыла его на подоконнике. Прихожу – револьвер на месте. «Ты что, нарочно оставила оружие?...» Он был неузнаваем, жалок, отвратителен. – «Такие, как ты, не кончают самоубийством». – «Вот увидишь, Катя, увидишь, будешь жалеть...»

Он стал уходить – с утра и до поздней ночи. Как-то явился в третьем часу. Я притворилась спящей – Булыгин растолкал меня: «Ты не раздумала, Катя? Боже мой, почему ты так черства? Я ведь тебя люблю». – «Оставь меня в покое, ты мне мешаешь спать...»

Это было шесть дней назад, товарищи. Через два дня, возвращаясь из института, я увидела его с особой нэповского типа, может быть, с проституткой — не знаю... Они стояли в переулке и целовались. Ночью мы объяснились — в последний раз. «Если ты не забереешь бумаги, я уйду к другой женщине». – «Убирайся вон!» – «Ты обманывала меня, несколько дней тому назад ты уверяла, что любишь. Ты даже не плачешь...» – «Моих слез ты не увидишь...» Я повернулась к стене, потушила электричество – было противно на него смотреть. Мне хотелось его избить, выгнать – я жалею, что не успела этого сделать...

...На следующий день он исчез. Он даже не нашел нужным оставить записку. Он забрал свои вещи и покинул нашу комнату...

1935 г.

Александр ПОЛОВЕЦ

ПОКА ЗЕМЛЯ ЕЩЕ ВЕРТИТСЯ...

**9 мая исполнилось 95 лет со дня рождения
Булата Окуджавы**

Александр Борисович Половец (род. в 1935 году в Москве) – американский издатель, писатель, публицист и общественный деятель. В 1976 году эмигрировал в США. В 1977 году основал в Калифорнии издательство «Альманах», Здесь были изданы, среди прочего, двухтомная русско-английская антология русских анекдотов «Недозволенный смех», «Центральный Дом Литераторов» Льва Халифа (первое издание, по нелегально вывезенной рукописи), «Русская кухня в изгнании» П. Вайля и А. Гениса. С 1978 года Половец издавал русскоязычное приложение к англоязычной газете еврейской общины Лос-Анджелеса, мгновенно ставшее популярным, а с 1980 года начала выходить уже отдельная русская газета «Панорама», ставшая крупнейшим независимым русскоязычным еженедельником за пределами СССР.

Среди авторов, публиковавшихся в «Панораме» – Василий Аксёнов, Анатолий Гладилин, Сергей Довлатов, Евгений Евтушенко, Вячеслав Иванов, Владимир Кунин, Эфраим Севела, Саша Соколов и другие.

В восьмидесятые годы Половец участвовал в создании корпорации «Media Analysis Foundation», был её вице-президентом, с 2009 года – президентом. С 1991 года Половец – президент благотворительного Американского культурного фонда Булата Окуджавы. Фонд занимается сбором денег и покупкой оборудования для музея Окуджавы в Переделкине, проводит фестивали и концерты, вручает литературные премии. В своё время Фонд собрал средства для проведения Булату Окуджаве операции на сердце в США.

Мы публикуем воспоминания Александра Половца о замечательном поэте, прозаике, барде.

Итак – Москва.

– Пойдем обедать в ЦДЛ, – предлагает Булат.

Мы входим через главный вход, с улицы Герцена, и задерживаемся у киоска, пестреющего газетами, названия которых мне большей частью незнакомы. И книгами – теми, которые еще совсем недавно следовало обертывать плотной бумагой, а надежнее – переплести заново, чтобы на обложке читалось что-нибудь совсем безобидное...

Выяснив у вечной бабульки, ведающей всем этим богатством, что недавно завезенные сюда в порядке смелого эксперимента выпуски «Панорамы» разошлись полностью, мы следуем в сторону ресторана. Остается пройти просторное фойе Малого зала, мы приближаемся ко входу в ресторан и обнаруживаем здесь некую долговязую фигуру в темном костюме. Она полностью загораживает собою вход, не выказывая намерения уступить нам дорогу.

– Мы – в ресторан... – собираясь спокойно миновать фигуру, произносит жена Булата Ольга, она оказалась у дверей первой.

– То есть, как?... – не понимаем мы.

– А так! Не положено. – И, снисходя до нашей непонятливости, фигура поясняет: – Будет ремонт.

С места, где мы стоим, хорошо видны двери, ведущие в ресторан: на всем пути к ним никаких признаков хотя бы готовящегося ремонта не заметно. Булат, не меняя привычной позы – руки в карманах, – делает шаг вперед.

– Мы пройдем здесь... – спокойно произносит он.

– Не положено! – повторяет фигура.

– Что?! – Редко, крайне редко доводится мне видеть Булата разгневанным.

Он оборачивается к нам – Ольга, Буля (сын) и я стоим чуть позади, готовые вернуться на улицу, чтобы обойти здание и оказаться у бокового входа в него – со стороны Поварской, тогда еще носившей имя Воровского.

– Идем! – Булат двигается вперед, мы – за ним. Фигура оторопело смотрит нам вслед, не делая даже попытки остановить нас.

– Поставили тут болванов! – громко, но уже почти спокойно говорит Булат. – Писатель не может войти в свой дом... Болваны, – повторяет он, не оглядываясь на нас, идущих следом.

Большую часть обедающих в тот год пока еще составляют литераторы, – и к нашему столику непрерывно кто-то подходит, чтобы выразить участие и радость по поводу благополучно завершившейся операции – ее в начале лета перенес Булат.

Потом мы сидим за столиком: слева от меня, лицом ко входу со стороны Поварской, – Булат, справа – Оля и Буля, я сижу лицом к залу. Ресторан почти полон, а посетители всё подходят и подходят. Кто-то подсаживается к кому-то, создаются импровизированные компании. В ожидании неторопливых подавальщиц за столиками беседуют, прикладываясь к непустеющим рюмкам.

Всё нормально, обед в ЦДЛ.

– Посмотри, писатели едят. – Сейчас Булат, сидя вполоборота, кивком указывает в сторону тесно уставленных по всему залу столиков. – Я было совсем перестал здесь обедать, противно стало: сплошь торговое сословие. Какие-то лица... А сейчас снова хожу: писателей нынче печатают, видишь – они могут заплатить за обед 50 рублей... – Булат задумывается и потом добавляет: – При средней по стране зарплате 350 рублей. А барахло – нет, не печатают.

Конечно, Булат говорит это о солидных издательствах, в чьих традициях (и утверждаемых где-то на самом вершине тематических планах) значились, прежде всего, имена секретарей писательского Союза – отнюдь не обязательно самых талантливых и самых читаемых. Да, тогда, послепутчевым сентябрем 91-го, мы еще не догадываемся о грядущем засилье «барахла» на книжных прилавках России. Но «барахла» уже другого сорта, появление которого закономерно: оно спровоцировано активным спросом существенной части российского народонаселения.

Время от времени кто-то подходит к нам, здоровается, перекидывается несколькими словами. Ерофеев Виктор... Леонид Жуховицкий... Андрей Битов, прошедший здесь, что вполне заметно по нему, уже не один час... Оставив свою компанию, он почтительно пожимает руку Булату, кивает нам, сидящим вокруг столика. Отходит, оглядывается, снова подходит, упирается в меня взглядом:

– Половец, это правда – ты?

Битова я не видел два года – с тех пор, как он останавливался у меня в Лос-Анджелесе. А здесь я не был почти 16 лет...

Отобедав, мы некоторое время остаемся за столиком. К Окуд-

жаве подходит еще кто-то, разговор затягивается, я прошу еще кофе и посматриваю в зал, отмечая знакомые лица... В какой-то момент в широком дверном проеме возникает силуэт высокого, опирающегося на палку человека – Сергей Михалков. Слегка сутулясь, он оглядывается, неторопливо пересекает зал в поисках места. Свободный столик находится почти рядом со входом.



Слева направо:
Александр
Половец,
Булат
Окуджава
и Анатолий
Рыбаков.
(Снимок
из архива
А. Половца)

Прислонив палку к стене, Михалков садится. Сразу на его столике появляется суповая тарелка, он склоняется над ней, не поднимая головы. Сидящие в зале в его сторону не смотрят, не замечая его. А те, кто видит, быстро и, как мне кажется, демонстративно отводят взгляд.

Удивительно ли? Михалков – один из немногих открыто поддержал путч. И из первых: кто-то из его коллег просто не успел и, как вскоре оказалось, очень кстати, промолчал. В этот раз обычно острое чутье сановитого писателя подвело его – путч, не начавшись, провалился... А в зале сегодня – сплошь «апрелевцы».

Рассчитавшись с официанткой, мы поднимаемся и идем к выходу. Ольга за несколько шагов до дверей задерживается с кем-то в разговоре. Булат перед самым выходом сворачивает к столику Михалкова и через минуту догоняет нас.

Дождавшись Ольгу, мы выходим из здания.

– Булат, что ты сказал Михалкову?

Ольга выжидающе смотрит на супруга.

– Ничего. Поздоровался, спросил, как дела?.. А что?

– Он плачет. Склонился над супом – и плачет...

* * *

11 мая в калифорнийском доме Александра Половца в Лос-Анджелесе собрались американские друзья и знакомые Булата Окуджавы и почтили его память.

22 июня барды Лос-Анджелеса и гости клуба авторской песни устроили концерт памяти Окуджавы, исполнили его песни, которые помнятся и поются по сей день.

Владимир БАТШЕВ

РУССКАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА СЕГОДНЯ

Некоторые мысли издателя и редактора

Эмигрант первой волны проф. Н.Е.Андреев когда-то дал точное определение нашей литературы: «Зарубежная русская литература естественно включает в себя всё то, что претендует быть литературой и что появляется на русском языке вне границ страны. Эта зарубежная литература проникнута пафосом авторской свободы, ибо независимость авторского мнения и выбора любой формы при его воплощении в слове есть сущность литературных произведений за рубежом».

1

Начну свою статью упоминанием события, которое для всех нас является особой вехой, реальным осуществленным фактом, юбилеем – 21 год назад вышел первый номер нашего журнала «Литературный европеец», издающегося в Германии. Сегодня, в июне 2019-го, уже выпущены 256 номеров – многолетний труд авторов из всех уголков Европы и Америки (и даже России). Доказательство, что журнал имеет успех и его читают. Журнал, объединивший на своих страницах знаменитых писателей и тех, кто только делает первые шаги в литературе.

«Литературный европеец» – свободное издание, не зависимое ни от каких официальных структур, которым мы пытались, но безуспешно, объяснить миссию, возложенную на журнал, о его необходимости для всех нас.

Но, может это и лучше, что немецкие «инстанции» нас не восприняли, посчитав, что для интеграции мы не годимся? Мы сохранили свою независимость. Независимость от всех, кроме подписчиков.

Казалось, что начиналось все просто. Желание иметь литературный журнал возрастало с каждым днем, наперекор растущим как грибы во многих уголках Германии таблоидам, рекламным листкам, дайджестам и псевдолитературным журналам.

После публикации в феврале 1998 в газете «Контакт» информации о создании Союза русских писателей в Германии и грядущем журнале, пришли первые письма и телефонные звонки – появились первые авторы – Игорь Гергенрёдер и Николай Дубовицкий...

Вскоре в журнал позвонил и написал о нем статью в «Ост-Европе» знаменитый немецкий славист – Царство ему небесное – Вольфганг Казак, который на многие годы стал другом и критиком журнала. Потом таким же критиком стал и бывший редактор журнала «Грани» – одного из лучших журналов эмиграции 40-80х годов прошлого века – Евгений Романович Романов.

Судьба «Литературного европейца» похожа на судьбу журналов, выходивших когда-то в Европе, и в то же время стала судьбой фантастической, как сказал когда-то редактор дружеского журнала «Время и мы» Виктор Перельман – «судьбой из театра абсурда судьдеб».

Всем нам, делающим журнал, хотелось встречаться с нашими авторами и говорить, говорить о том, что можно сделать для журнала. Эти встречи проходили в Германии, Австрии, Чехии и во Франции.

С каждым днем расширялся круг авторов, со страниц журнала стали слышаться все новые и новые голоса – Маргарита Кучукова, Василий Бетаки, Кира Сапгир, Борис Носик, из Франции, Лариса Ковалева и Джин Вронская – из Великобритании, Левицкий – из Чехии, Евсей Цейтлин, Юрий Дружников, Семен Ицкович из США.

Сегодня журнал читают и в Европе, и в Америке, и даже в России. И вот удивительные встречи. На одной из презентаций в Париже к нам подошла заведующая отделом эмигрантский литературы Российской Государственной библиотеки – бывшей «ленинки» – и поблагодарила нашу редакцию за комплект «Литературного европейца». Она рассказала, что журнал пользуется большим спросом и вызывает интерес у многих читателей библиотеки.

Не хотелось, чтобы то, о чем я пишу, выглядело идиллически.

Мы живем нормальной литературной жизнью, которая имеет

свою правду – правду людей, живущих в разных странах, много сделавших в своей жизни, но, увы, не всегда расставшихся с комплексами, которые лихорадят нашу литературу здесь, на Западе.

Как порой бывает трудно принять решение, кого печатать, а кого не печатать, что будет в журнале главным, а что второстепенным, какой автор нужен журналу, а какой нет, – естественный и гармонический баланс плюсов и минусов, которые являются жизнью журнала, моей и вашей, дорогие авторы и читатели, жизнью.

Каждый вышедший номер «Литературного европейца» – это страницы, включающие факты нашей жизни, документы истории, литературы, публикации, имена.

Сегодня этих номеров – 256. Это итог нашей общей работы. Это наш общий праздник.

Я не назвал имена тех, кто бескорыстно служит делу русской литературы в нашем журнале, делу огромной важности, их много. Но нельзя не вспомнить тех, кто начинал со мной журнал – Галину Чистякову (которая вычитала все номера журнала), Беллу Йордан, Владимира Брюханова, Юрия Диденко, Серафиму Бронштейн, Виталия Скуратовского.

А наши старейшие авторы – Виталий Раздольский, Галина Кисель, Семен Ицкович, Владимир Порудоминский, Леонид Борич, Григорий Пруслин, Михаил Румер-Зараев, Роберт Лейнонен...

А как не назвать нашего старейшего (по возрасту) подписчика Семена Михайловича Уринова из Штутгарта? Он узнал о журнале из московской «Литературной газеты». Позвонил в Москву, нашел автора статьи, выпытал мой телефон. И несколько лет каждый месяц получал журнал.

И пусть злобные выкорышши советских литературных консультаций шипят: «У вас в авторах одни старики!» Пусть шипят, старый конь борозды не портит, а делает ее глубже.

Я уже не говорю об авторах – нашей гвардии, тех, кто пришел в журнал, отягощенный советскими книгами и регалиями, но и тех, кто только в эмиграции серьезно стал заниматься творчеством.

Берта Фраш, которая стала обозревателем литературы, издающейся на всех континентах, и ее сын – наш веб-мастер и автор Интернет-версии журналов ЛЕ и «Мосты» Мартин Фраш; покойный Генрих Кац, который организовал «Клуб друзей «Литературного ев-

ропейца» в Кёльне; Михаил Румер-Зараев – единственный, кто регулярно освещает путь журнала на страницах берлинских газет.

Не могу я всех перечислить, потому что тогда придется перечислять ВСЕХ.

Простите. Всем вам – хвала и слава, друзья мои и коллеги.

О нашем журнале сегодня пишут не только в Германии, но и в других странах, и это отрадно. Оттуда приходят к нам новые авторы и подписчики.

Хотелось, чтобы авторы журнала рассказывали о своих литературных работах, публикуемых в ЛЕ, о своих коллегах-авторах и в других изданиях, выходящих в Германии, организовывали встречи в культурных центрах.

Ведь мы вместе делали и делаем большое нужное дело – сохранение русского языка и литературы в изгнании. Это не только публикации в журнале, но и книги, и авторские издания. Этим нужно гордиться, об этом нужно говорить.

За 21 год в журнале опубликованы произведения более 400 авторов. Не все из них были профессиональными авторами в бывшем СССР. Но многие из них стали опорой журнала. Как и те талантливые люди, что смогли себя реализовать только в эмиграции.

Большинство из них являются постоянными сотрудниками «Литературного Европейца».

Мы понимаем и тех, кто ушел из журнала. Не для всех людей творчество является главным в жизни. У каждого своя дорога в эмиграции.

2

Теперь некоторые общие мировоззренческие соображения.

По мнению Г. Струве, период наиболее ожесточенных споров о зарубежной литературе, «о самом ее бытии и смысле, сомнений в возможности и нужности ее существования» совпал с периодом ее расцвета.

Спор этот растянулся на 100 лет. Предметом его были:

а) возможность существования литературы в изгнании, в отрыве от русских тем, русской почвы и живого (развивающегося в повседневности) русского языка;

б) возможность появления в «безвоздушном пространстве» эмиграции литературной смены. По сути дела, речь шла о природе художественного творчества и о законах художественной (литературной) эволюции.

За 100 лет история доказала, что эти споры – глупость.

И литература существует уже 100 лет в эмиграции, и смена литературная есть.

А кто думает о русских темах?

Без российских (а не русских) тем не могут существовать писатели типа Калинина, Пруслина, Порудоминского.

Остальные находят достаточно тем в окружающем их мире.

Столкновение русского языка с чужим – в эмиграции – порождает более внимательный и более придирчивый взгляд на собственное творчество.

В России писатель живет в плену собственного языка. В эмиграции перед ним языковой мир, из которого он черпает свежую воду нового для своего творчества. Жаль тех, кто этого не понимает, не видит, не делает. Это не значит вставлять между делом или по делу иностранные слова на латинице в кириллическую вязь собственного словоизвержения.

Химически чистой литературы нет – на нее влияют и происходящие события – как в жизни самого автора, так и в жизни страны проживания. А для многих – и события в метрополии (для тех, кто живет российским ТВ и тамошним интернетом).

Писатели старшего поколения по преимуществу творят «вне времени и пространства» (Порудоминский, Кисель), и лишь кое-кто из новой поросли (Шестков, Урусов, Штеле, Доттай) пишут о сегодняшнем дне.

Почему это происходит? Почему большинство живёт в прошлом?

Русская зарубежная литература свободна от идеологического давления метрополии.

Она свободна. Но свободна от чего? Свободна для чего? От цензурных, идеологических и эстетических канонов советчины и путинщины.

Свободна для чего? Для всестороннего развития литературы эмиграции.

Но на самом деле получается, что наша литература не свободна от сложившихся прежних эстетических установок и стереотипов, она проросла соцреализмом, бытовщиной и психоложеством.

То есть вместе со старыми одеждами привезли в эмиграцию и старое отношение к литературе и к собственному литтворчеству. Но если старые одежды скоро сменили на одежонку из Красного Креста, а позднее на товар магазинов СундА и Клоппенбург, то стереотипы остались. И от давления этих стереотипов происходят разговоры, что «читатель там, а не здесь», и происходит «нестыковка» писателей старшего поколения с более молодыми. Ибо у более молодых (относительно) отсутствуют прежние эстетические догмы. Многие писатели остаются внутренне НЕСВОБОДНЫ, несмотря на то, что много лет живут в Европе. А пока они не станут свободными, они не смогут выполнить миссию русского писателя в эмиграции.

Глядя на этих людей, читая их произведения, меня одолевает стыд. Ведь мы и есть современная русская литература. Ведь именно ее представители стали нобелевскими лауреатами – Бунин и Бродский, родина русской зарубежной литературы не Россия, не СССР, а – Германия, Франция, Западная Европа.

Но с другой стороны – что есть нынешняя эмиграция?

Что такое нынешняя эмиграция?

Вопрос не в том, какая она — экономическая или политическая. Подобный вопрос заранее обречен, ибо разделять нынешнюю эмиграцию по принципу кошелька — дело тех, кто не может ее остановить. Отсутствие колбасы в магазинах или невозможность ее купить – причина политическая, как и неплатежи заработной платы много месяцев.

В эмиграцию не едут за чем-то. В нее уезжают от чего-то. В основном, от плохой жизни. Ненависть к стране, где тебя обманывали десятилетиями, настолько велика, что любыми путями жители Страны Недоразвитого Социализма стремятся вырваться за ее пределы. Тут и фиктивные браки, и фальшивые документы, и несуществующие родственники. Любым способом в эмиграцию!

Но стали ли новые жители страны приема ее гражданами? Нет. Статистика показывает, что только 32% эмигрантов из бывшего СССР смогли интегрироваться в Германии. Но дело не в статистике.

А остальные 68% – что же они? Остальные живут странной нереальной жизнью «русскоговорящего» населения (Кстати, термин «русскоговорящие» придумали российские черносотенцы и употребление термина в эмиграции по меньшей мере – бестактно).

Я о духовной жизни говорю. Они смотрят российское ТВ, читают газеты из России ходят на концерты артистов из России, смотрят фильмы из России. Жизни вне российского опыта и российских стереотипов для них нет.

Господи, да стоило ли уезжать?

Но что можем предложить новому эмигранту мы, русские писатели Зарубежья?

Почти ничего.

Да, трудно. Средства наших журналов и издательства мизерны.

Сегодня нет духовных центров, которыми долгие годы были журнал «Континент» в Париже и издательство «Посев» во Франкфурте. Нет Толстовского Фонда. Нет всевозможных печатных органов эмиграции, которые «гремели» еще двадцать лет назад. «Русская мысль» в Париже и «Новое русское слово» – ведущие эмигрантские газеты многих лет, были уничтожены путинской властью. Их купили у владельцев и закрыли «за ненадобностью».

Остаемся мы, 2-3 издания в США («Шалом», «Времена», частично «Новый журнал») и – всё. То, что существует кроме – издается на московские деньги и не скрывает своих пропутинских симпатий.

Нет уж, господа хорошие, если вы желаете что-то говорить своим бывшим русскоговорящим соотечественникам, то придется создавать свою литературу, свое новое искусство, свою новую эстетику.

А поскольку все мы распрощались со старой жизнью, то и жизнь, как эстетическую категорию, придется придумывать заново.

Ибо – опять тот же сакраментальный вопрос – зачем было уезжать, если снова – оглядка на авторитеты, если снова – заплесневелые истины, если снова – угодная Москве полуправда?

Мало того, что выдавливать «по капле из себя раба», но создавать нового человека – вот труднейшая задача сегодняшнего интеллигента в эмиграции. Разве Бунину и Мережковскому легче было? «Мы не в изгнании, мы – в послании», говорили люди первой эмиграции.

Они не читали советских газет не потому что не имели к ним

доступа. Они не читали их потому, что расставшись с ТОЙ жизнью, не хотели даже вспоминать ее в жизни ЭТОЙ.

Я не говорю о героях второй эмиграции, которым, в отличие от первой эмиграции, грозила выдача сталинским палачам.

Но что мы смогли сделать за прошедшие годы?

Создали нового человека? Создали новое искусство? Новую эстетику?

Нет, мы не создали ни того, ни другого, ни третьего.

Но мы – сохранили журнал ЛЕ, создали второй журнал – «Мосты», издаем книги. Таким образом, мы сохраняем русскую зарубежную литературу.

3

Я часто слышу странные возгласы: «Наш читатель ТАМ».

Нет, любезный, вашего читателя там нет. А если там есть ваш читатель, значит, вы должны быть вместе с ним, там, а не ЗДЕСЬ. Не правда ли? Где читатель – там и писатель. Прощайте, милейший, отправляйтесь в страну родных погромщиков. Скатертью дорога и перо в зад.

Как-то я получил письмо одной из коллег, она писала: *Здесь мы никому не нужны, наш читатель – ТАМ*”.

Я отвечал, не знаю, как ваш читатель, а моего читателя ТАМ нет. Если он и есть, и вы его знаете, то как к нему пробиться? Издавать книги ТАМ? Попробуйте. Может, вы удачливей меня. Мои книги ТАМ издавать не хотят. Даже боевики.

Вы забываете, что для тамошних издателей мы – предатели, в лучшем случае – миллионеры, способные заплатить тысячи долларов или евро за издание своей книги.

Всё зависит от идеологом, которым подвержен тот или иной издатель.

В Петрограде создано специальное издательство для завлечения эмигрантов – «Алетей». Это откровенно жульническая контора берет с писателя деньги, печатает ему десяток экземпляров книги в копи-шопе, а потом врет, что его книги продаются на «просторах родины чудесной». Только почему-то НИКТО из авторов не нашел этих книг на полках магазинов. Несколько наших авторов купились

на приманки «Алетеи». И что? «Помогли тебе твои ляхи?» – спросил Тарас Бульба. – Стал ты знаменитым? Один наш автор даже издает собрание сочинений в этом издательстве, отказавшись от издания у нас. Наверно, верит, что «читатель ТАМ».

Но это отступление.

Вернемся к теме.

Писательница спрашивает – кому мы там нужны?

Не знаю. Наверное, никому.

Я вообще не понимаю вопроса.

И сколько этих читателей вашей мечты?

Времена, когда поэты собирали стадионы слушателей, – не повторяются.

Подобное бывает в редкие социальные катаклизмы.

Статистика безжалостна: газеты читает 1% населения, журналы – 1% от читающих газеты. А сколько процентов от этих процентов читают стихи и прозу?

Подсчитайте на досуге – в Германии живет 2 миллиона говорящих по-русски.

Погрустите, если верите статистике.

Дело не в стране обитания, а в среде.

Здесь нет читателя, писала она, я работала социальным педагогом и знаю уровень этих аузидлеров и азюлянтов.

Так дорогая коллега, это же и есть ваш читатель ОТТУДА! Вы же о нем мечтаете! Неудобно получается – пишете о читателе ТАМ и тут же его отвергаете.

Дело не в читателе, а в том узком круге, который окружал вас (нас) ТАМ. Этот круг был из понимающих, думающих, сочувствующих слушателей, читателей, зрителей.

Здесь его нет. Точнее, он есть, но он не рядом, он тонок, как целлофан, и собрать этот круг вокруг себя, чтобы оказаться в центре – не внимания, нет! – круга, чрезвычайно трудно.

Для кого тогда мы пишем? – вопрошает писательница.

Отвечу словами Пастернака: для лучших.

И задача поэта, писателя, творца в эмиграции – собрать лучших в круг.

В свой круг.

Понимаете?

Лучшие уехали «за бугор» раньше нас, они оказались смелее и удачливее. В России остались не лучшие, а просто люди разорванного круга.

Переживать бесполезно – разорванный временем круг не восстановить, как не вернуть молодость.

Каждому времени – свое. Каждая женщина прекрасна в любом возрасте.

Жалкое существование литераторов и литературы в России – показатель, кому нужна литература в стране, из которой бегут всеми возможными способами. Борич рассказывал мне как-то, что его приятель, ленинградский писатель, получил за опубликованный роман столько денег, сколько хватило, чтобы угостить редактора в ресторане. Это – сегодняшние реалии тамошней литературы.

От хорошей жизни читатели не убегают.

Так где же читатель, дорогие коллеги? Может, мы не хотим его замечать?

Не тот ли, кто матерится в немецких электричках, не умолкает с неистребимым местечковым акцентом в очереди за бесплатной мадой, вздыхает на концертах гастролирующей попсы, зачитывается криминальными дешевками и демонстрирует «за девочку Лизу»?

Он, он это, узнавайте, не смущайтесь его, не гоните, не брезгуйте им.

Дайте ему свои произведения.

Научите его читать хорошую литературу.

Воспитайте его.

Подтяните до своего уровня понимания метафор и гипербол.

Это – ваш читатель.

Это – наш читатель.

4

Да, здесь имеется серьезная опасность.

Опасность идти на поводу читателя – серьезная опасность. Даже для тех, кто говорит: «Мой читатель – там». Имеется в виду страна Путина. Но автор цитаты продолжает жить в Европе и не очень-то стремится в Россию.

Нельзя опускаться до уровня читателя, надо его подтягивать до своего.

Кич всемогущ – он вторгается и в сюжет, и в язык подобного произведения.

Сразу же мы упираемся в проблему языка произведения.

Писатель и его язык неразделимы.

Язык писателя не столько разговорный язык, сколько язык его произведений. Они отличаются друг от друга, и тот писатель, который не понимает, что язык улицы – это одно, а язык книги – другое, – плохой писатель.

Когда я читаю *«она была в прикиде»*, я не понимаю, о чем это и что такое «прикид». Мне нужно открывать словарь, и находить в «Словаре языка хиппи», что «прикид» – это одежда.

Но причем здесь героиня рассказа? Ведь она не хиппи, а интеллигентная дама. И ее собеседник – тоже, и автор – вроде бы тоже. При чем здесь слово из языка хиппи?

При том – это слово улицы.

Как и «пиар». И «харизма». Эти слова с улицы Штампов.

Любой язык оправдан только характером и языком персонажа. Если он не оправдан – звучит фальшиво, непрофессионально.

Но, когда я говорю об этом автору, он защищается беспомощной фразой:

– А людям нравится.

На это я не отвечаю автору – значит люди, которым нужны подобные произведения и которым это нравится – соответствующие люди.

– Соответствующие чему? – может спросить меня читатель.

Соответствующие Улице Штампов.

И не защищайтесь такой отговоркой. Защищаясь, вы показываете, что неправы.

И, пожалуйста, не пишите “Вы” с большой буквы. Это принято в частных письмах, но не в художественной литературе. Если автор считает, что этим он подчеркивает свою “культурность”, то ошибается – подчеркивается мещанство.

Кстати, подчас употребляющий некоторые слова и выражения не знает, что они означают.

Как в анекдоте про Чапаева – *«звучит красиво»*.

Редактор московского «толстого» литературного журнала рассказывает на книжной ярмарке:

– Он ее отпиарил...

– Хм...Простите, он ее, что – вы...

– Да нет. Отпиарил – опубликовал против нее организованные статьи...

И редактор известного литературного журнала не видит в этом ничего особенного. Тогда я его спрашиваю про «пиар», дескать, с чем его едят или куда засовывают. Он бекает и мекает, пытается изобразить нечто мычащее.

Так вот, вниманию авторов и редакторов.

Пресловутый «пиар» – есть PR – всем известные *паблик релейшин*, то есть, говоря по-русски, средства массовой информации. Так что никто никого не может отпиарить или пиарить и сотворить пиарство и т.п.

Не получится. Если по-русски.

И «харизмы» нет.

А «маргиналы» тоже из придуманных штампов.

В принципе, маргинальные означают «с обочины», то есть, по-дорожник или одуванчики.

Но дело в том, что из нынешней путинской России к нам *прёт* – другого глагола и подобрать трудно – вал, тайфун, цунами – нынешнего уголовно-казенного канцелярита. Эта волна идет со страниц газет и журналов, издающихся не только там, но и здесь, в Германии.

Кто не противостоит этой волне, того она поглощает.

В основном, слабых.

А писатель, если он всерьез занимается этой профессией, должен быть сильным.

Вот слова, значение которых газета не расшифровывает, а дает просто, как обыденность. «Продюсер», «реалити-шоу канала», «представители гламурной молодежи», «вы заболели этим форматом», «проект», «акция современного искусства», «уходит в такой серьез», «мы делали много вариаций при монтаже», «нащупать свой язык», «картинка будет очень бедная», «фильм европейского уровня», «я, как продюсер, не отличаю фестиваль от рынка», «потратил немало лет на самопознание, чтобы самому ощутить свой язык», «говорят дистрибьюторы», «вот в чем фишка», «грамотно рабо-

тать со следующим проектом», «я пришла на кастинг», «российское арт-хаусное кино», «у нее потрясающая энергетика».

Это взято из одной только статьи в берлинской газете. Статья, по всей видимости, перепечатана из российской газеты или взята из российского интернета. Могу поспорить на что угодно, что авторы этих фраз не понимают, о чем говорят и не знают значение слов, которые употребляют.

Писатель – носитель языка в эмиграции. И если он пишет не на русском языке, а на постсоветском, со всеми этими «упасть на голову соседу», «русскоязычный», «мандража не испытывал», «перекантоваться», «мужик свободный от постоя» (цитирую только одного автора), то мне кажется, что Бунина, Ремизова, Зайцева, да что далеко ходить! – Булгакова и Пастернака для автора не существовало.

Таких авторов много.

Обычно утром принято полоскать горло и чистить зубы. Кто-то из поэтов говорил:

– Прочитать Пастернака как горло прополоскать.

Цитированные выше авторы не «полоскают горло» хорошей литературой.

Иногда возникает ощущение, что, кроме себя, они никого не читают.

5

Даже у тех, кто пишет о советских и российских временах, происходит переосмысление прожитого. Даже персонажи смотрят иначе, чем смотрели бы 20-30 лет назад.

Это временные рамки – скажет кто-то. Нет, не времени, а места – ибо человек пишет в эмиграции, а не в России. Вот тут уж поистине бытие определяет сознание. Возьмем Штеле – от его ДУРНИНЫ (рассказ) 20 лет назад, до одноименной главы в романе «Аэроплан» – дистанция 20 лет. Другое восприятие, другой акцент, интонация.

Или Турьянский, который начинал бытовыми рассказами из жизни новых эмигрантов, а через десять лет выступил совсем в ином качестве – вспомните его повесть о марках, пьесу «Кадеве» и необычный рассказ «Тетрадь».

В чем суть нашего творчества?

Осознать свою миссию.

Вот на это определение и надо равняться нам всем.

Потому что, как сказал другой замечательный человек – Г.П. Федотов: «Среди литературной продукции эмиграции соберется с десяток книг, на которых будут воспитываться поколения в России. Эти книги там не могут быть написаны. Они выражают коренной, временно прерванный поток русской мысли. Они способны утолить духовную жажду России, когда эта жажда проснется или получит возможность своего удовлетворения» (Тяжба о России, ИМКА, Париж, 1982 с. 211).

* * *

Вот те некоторые мысли, которыми хочется поделиться с читателями журнала «Времена».

Владимир Семенович Батшев (1947) – русский писатель, поэт и прозаик. Бывший советский диссидент.

Окончил сценарный факультет ВГИК. Работал сценаристом в кино, литконсультантом в журналах и издательствах.

В 1965-1966 годах один из организаторов и руководителей неформального литературного общества СМОГ, редактор журнала «Сфинксы» (№ 1-4), альманахов «Чу», «Рикошет», «Авангард».

Был арестован и осуждён на пять лет «за тунеядство». Отбывал ссылку в Красноярском крае. Под давлением международного общественного мнения освобождён по амнистии.

В феврале 1995 вместе с женой эмигрировал в Германию. Член Союза писателей Германии и международного ПЕН-клуба.

Редактор ежемесячного журнала «Литературный европеец» и ежеквартального журнала «Мосты».

Автор ряда книг, включая черырехтомник, посвященный генералу Власову. Удостоен нескольких литературных премий.

Виктор НОРД

«ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!»

Рождение знаменитого мюзикла

В номерах нашего журнала 2,3 и 4 за 2017 год была опубликована глава из новой книги Виктора Норда, посвященная символу Бродвея Дэвиду Меррику, выдающемуся американскому театральному продюсеру, номинанту 39 премий «Тони» и лауреату одиннадцати из них. Читатели с большим интересом восприняли эту публикацию. Она позволила многим открыть неизвестные им страницы американской культуры.

Сегодня мы продолжаем рассказ на эту тему, главный герой которого – легендарный Дэвид Меррик.

В конце декабря 1965 года в кабинете секретаря ЦК КПСС Сулова запищал красный телефон. Звонил Брежнев.

«С американцами этими мы малость переборзили, Михал Андреич. Давай-ка выпустим пар чуток... Под новый год самый раз будет.

– Воля ваша, – сухо ответил Главный Идеолог.

– Чудненько. Значит – единогласно... – на другом конце линии повесили трубку.

В двенадцать десять ночи 1-го января 1966 года на телеэкранах огромной страны появился кукольный тигр с банджо в лапах. Он запел под звукозапись хриплым голосом, знакомым всему миру. Зрители прибавили звук, оторвались от своих оливье и шампанского и прильнули к экранам. Из двухсот тридцати – по меньшей мере сто миллионов человек смотрели в этот час свой любимый «Новогодний огонек» – а картонный тигр рычал там голосом Луи Армстронга: «Хелло, Долли!»

В 316 году до н.э. афинянин Менандр представил на публике свою комедию «Ворчун» и получил за нее первый приз на театральном фестивале «Менайа». В пьесе помимо комического образа старого брюзги появляется Херей – *Парасит*: ловкий приживал, лизоблюд, прихлебатель. Буквально – сидящий поближе (*пара*) к зерну (*ситос*), то есть к кормушке, еде.

Через сто с лишним лет, в 202-м д.н.э., римлянин Плавт показал свою версию ворчливого старика, помешавшегося на деньгах, в комедии «Горшок золота» – и там этот знакомый публике персонаж попадает в беду благодаря козням вороватого раба.

В 160-м до н.э., еще через шестьдесят лет, карфагенянин Теренций повторяет этот проверенный на зрителе комедийный конфликт: сварливый упрямец – против хитроумных озорных интриганов.

Образ вездесущего пройдохи *Парасита* занимает теперь прочное место среди персонажей античной комедии.

В 1597-м Шекспир использует элементы его характера в своем Фальстафе.

В 1668-м Мольер – в «Мизантропе».

В 1835 году актер и драматург Джон Оксенфорд представляет публике фарс «Прекрасно проведенный день» – о двух приказчиках пригородной лавки, в отсутствие угрюмого хозяина удравших в Лондон, дабы насладиться всеми соблазнами, какие только может предложить большой город.

В 1842-м австриец Йоганн Нестрой развивает этот сюжет на три акта («Уж погуляет он на славу!»); он ставит там главным персонажем уже самого Ворчуна – сварливого скупердяя, попадающего в водоворот интриг и мистификаций в единственный день, что бедняга выбрал себе для городских развлечений.

В 1938 году в США Пулитцеровский лауреат Торнтон Уайлдер случайно обнаруживает этот столетний фарс и пишет свою версию его под названием «Йонкерский купец». (*Читатель, вероятно, уже заметил в названии ироническую параллель с шекспировским «Венецианским купцом»*).

К гордости автора, его бродвейский продюсер поручает режиссуру этой пьесы мировой знаменитости, самому Максиму Райнхардту – и в его постановке спектакль... с треском проваливается на Бродвее!

В 1965 году американский посол в Советском Союзе Фой Д. Колер встречается с советским послом в Соединенных штатах Анатолием Добрыниным с тем, чтобы возобновить Соглашение 1958 года «О советско-американском культурном обмене». Переговоры быстро заходят в тупик, когда выясняется, что советское руководство де факто нарушает условия Соглашения.

Какая же связь, спросит читатель, между этими столь далеко отстоящими друг от друга событиями? Чтобы ответить на этот вопрос, следует сначала вернуться к промежутку истории между 1938 и 1955 годами.

В этот период время быстро набирает темп; как заметил Бертран Рассел, раб обречен поклоняться времени, а значит судьбе и смерти.

Шоу-бизнесу в Америке это вроде бы не грозило.

«Будучи рабами технологических новинок, замечая только их, мы часто не видим, как проносится мимо, улетает в прошлое целая эпоха – и пока сами не втянуты в водоворот событий, тихо существуем себе в нашем заокеанском болоте, узнавая о мировых потрясениях лишь за утренним кофе, изгазет и радио – и так до конца и не веря в происходящие там, далеко за океаном катаклизмы».

Как следует из цитаты обозревателя «Тайм», в Новом Свете еще в бурные 20-е был выработан надежный иммунитет к бегу времени.

В конце тридцатых затянувшаяся Великая депрессия начала, наконец, возвращать американцев в реальный мир. Ни Новый курс Ф.Д.Рузвельта, ни проекты его кабинетных либеральных экономистов не смогли оправдать надежд населения на счастливый конец, на то, что в конце концов *«все будет о'кей»*. Экономика не желала возрождаться, безработица росла, средний класс разорялся.

Сегодня нам очевидно, что только начавшаяся мировая война и смогла вытащить американскую экономику из глубокого кризиса, но тогдашняя либеральная пресса готова была разорвать на куски любого обозревателя, осмелившегося на такие грозные предсказания.

Германо-советский договор «О дружбе и границе» заставил наиболее прозорливых политиков похолодеть от ужаса. Мир понесся к войне с нарастающим темпом.

Именно в это время шоу-бизнес, особенно Голливуд, несмотря на депрессию, процветает, привлекая своими движущимися, танцующими и поющими картинками публику, старающуюся не задумываться о плохом...

Нас, однако, интересуют прежде всего события, связанные с историей американского театра.

Две вехи стоят в ней особняком в упомянутый период.

Невзирая на фиаско «Купца», в том же 1938-м Торнтон Уайлдер получает второй Пулитцер за другую свою, всеми признанную пьесу «Наш городок». Затем третий – за новую трагикомедию, и к 1943 году Уайлдер становится чем-то вроде живого литературного классика. Он обращается теперь к истории человеческого рода, прослеживая жизнь одной семьи в тени надвигающихся мировых катаклизмов через каждые... две тысячи лет! (Эта космическая аллегория с непереводаемым названием «The Skin of Our Teeth» неизвестна широкому русскому зрителю; под названием «На волосок от гибели» она впервые будет опубликована в России лишь в 80-е годы.)

В разгар театрального кризиса 40-х начинает на Бродвее свою карьеру сын бедного еврейского эмигранта из Нового Орлеана, молодой человек по фамилии Маргулис – тот, кому в течение последующих двадцати лет предстоит стать некоронованным императором Бродвее. В Нью-Йорке провинциальный юрист Маргулис становится продюсером Дэвидом Мерриком – по замыслу, этот псевдоним должен рифмоваться с именем английского классика Дэвида Гэррика, знаменитого актера и директора Королевского театра Друри Лэйн.

Меррик женат по расчету на страстной любительнице театра, весьма кстати получившей в наследство приличное состояние, – во всяком случае достаточное, чтобы мужу ее попробовать себя в роли бродвейского импресарио.

После нескольких, доставшихся нелегко, но в целом успешных театральных дебютов Меррик уверенно набирает силы и вскоре становится профессионалом Бродвее – продюсером, известным своей неумной жадностью успеха, бешеной пробивной энергией, а также весьма сомнительными методами ведения шоу-бизнеса. О его страсти к беззастенчивой, не гнушающейся никакими средствами рекламе начинают рассказывать легенды и анекдоты; число недобро-

желателей растет и уже превышает число его редких поклонников – друзей же в Нью-Йорке у Меррика вообще нет! Местным талантам он предпочитает экспорт английских мастеров и их проверенных на Вест Энд спектаклей: рисковать и экспериментировать он пока что любезно предоставляет конкурентам.

Звездная карьера Меррика кажется медленной по сравнению с нарастающим темпом истории. Время бежит все быстрее, и обзрвателям становится уже трудно следить за мировыми переменами. Занимаясь своей карьерой, выстраивая им самим придуманный себе образ театрального Могола, Великого и Ужасного, о чем только ни беспокоился, чем только ни занимался Дэвид – но уж только не мировой историей и своим местом в ней.

Как признавался он позже в частном интервью, «в театре каждое утро решая тысячи срочных проблем, ты начинаешь жить текущим моментом и только им, стараешься не оглядываться назад и не думать о последствиях в будущем. Так канатоходец старается не смотреть вниз и думает лишь о том, как правильно сделать следующий шаг, куда поставить ногу...»

«Ты постоянно действуешь как бы в центре бури, – пояснял Дэвид, – какой бы силы ни достигал ветер, как бы ни рушилось все вокруг, тебе до этого дела нет; там где ты находишься – тишина, нет ни облака, полный штиль, и твоя забота – это просто двигаться вместе со штилевым «глазом» урагана с той же скоростью и в том же направлении: как иначе еще уцелеть среди всеобщего хаоса?...»

Просто двигаться... Всего лишь! На самом деле в этом и заключался секрет Меррика, его инстинктивного, близкого к звериному чутья, уникального сочетания дерзкого финансового риска, предельной осторожности и самоконтроля.

Через четырнадцать лет после скандального провала «Ионкерского купца» английский режиссер Тайрон Гатри предложил Уайлдеру вернуться к своему полузабытому фарсу и дать ему еще один шанс на театральном фестивале в Эдинбурге. Гатри был директором этого фестиваля, и таким образом мог обещать пробным представлениям независимость от кассового успеха. Уайлдер, теперь уже несравненно более уверенный в себе, без особого восторга согласился при условии кое-каких доработок. В последний момент он даже ре-

шил изменить название пьесы: к этому были у него веские причины, но о них – позже.

Премьера в Эдинбурге состоялась в ноябре 1954 года. Пьеса была принята на ура как критикой, так и восторженной публикой.

Меррик, всегда внимательно следивший за театральными событиями в Англии, не стал терять времени зря – и твердо решил «открыть» на Бродвее это шоу, заслужившее международное признание – с талантливой актрисой Рут Гордон в главной роли и под новым названием «Сваха».

За спиной Дэвида Меррика был пока лишь один в меру успешный мюзикл. Чтобы закрепить и развить этот успех на Бродвее, Дэвид понемногу заводил нужные знакомства в финансовом мире – и разводился с женой, чтобы окончательно порвать со своим провинциальным иммигрантским прошлым.

Однако все это время он без устали искал материал, подходящий для следующего этапа его карьеры – большого прыжка в большой шоу-бизнес! Одну за другой отбрасывал назад в корзину пьесы – среди них было немало вполне приличных, а пара-тройка даже явно талантливых, но Дэвиду этого было недостаточно. Четырнадцать лет прошло с его приезда в Нью-Йорк, а он все еще числился в подающих надежды, в новичках. Ему требовалось точное попадание, тот единственно возможный случай, что сделает ему имя в театральном мире, откроет двери, заставит международно признанных мастеров сцены принимать его всерьез и разговаривать с ним на равных!

Вот почему уже на следующий день после репортажей о триумфальном успехе старого американского фарса, на адрес Дирекции театрального фестиваля, Эдинбург, Шотландия, пришел телекс из Нью-Йорка. Офис Меррика предлагал Уайлдеру, Тайрону Гатри и примадонне Рут Гордон перенести спектакль на Бродвей, на условиях, от которых в здравом рассудке просто нельзя было отказаться!

Это предложение малоизвестного продюсера, однако, осталось без ответа...

Здесь необходимо на минуту остановиться и вспомнить о переделках, на которых настаивал автор провалившегося «Йонкерского купца». Поверхностные критики посчитали несколько его поправок

чисто косметическими, кто-то с глупой скрупулезностью подсчитывал количество дописанных им слов и поменявшихся местами реплик... Кабинетные теоретики-литературоведы, ни ухом ни рылом не смыслившие в природе драмы, вообще не понимали, зачем помимо названия (явно по настоянию главной героини Рут Гордон) нужно было делать еще какие-то изменения – настолько они казались им незначительными!

А между тем драматическое различие между «Йонкерским купцом» и «Свахой» было огромным, принципиальным!

В «Купце» сваха была лишь приемом, служебным персонажем для разрешения запутанных фарсовых ситуаций, живым воплощением *Deux ex Machina* – и не более того. Разрабатывая сюжет, Уайлдер мучительно долго не мог справиться с развязкой в третьем акте, то есть с финалом пьесы, – покане изобрел Долли! Теперь, лишь только фабула запутывалась в гордиев узел, раздавался крик «Зовите Долли!» – и тут же обнаруживался выход из тупика.

В процессе работы его Долли стала обрастать деталями характера: вот она уже не просто сваха, поневоле посвященная во множество секретов; не вообще некая вдова, но как сама она говорит о себе, мастерица на все руки и «в каждой бочке затычка». (*В оригинале для этого требовалось лишь одно слово: *bisubody* – вездесущая. В том контексте уличная идиома означала, что Долли была в курсе всех событий, всех человеческих тайн – и всегда рада была оказать ся полезной другим.*) Именно так: всех и всегда!

Немудрено, что такой характер начал вытеснять на второй план главного героя –вечно всем недовольного «купца», не говоря уже о других персонажах. В результате в пьесе образовались пустоты; на фоне неукротимой Долли остальные персонажи бледнели, их чувства казались публике пресными, сцены – затянутыми; зритель каждый раз ждал, когда она наконец появится на сцене и одним махом разрешит все запутанные конфликты.

Могучему, но несколько тяжеловесному таланту Макса Райнхардта такая логика сюжета – абсурдная логика фарса – была чужда; запросы бродвейской публики казались ему плебейскими, потребительскими, вздорными. Режиссер потерял, что называется, «чувство аудитории» – и результат не замедлил сказаться. «Купец» не выдержал и сорока представлений и тихо сошел со сцены...

В «Свахе» же главным действующим лицом стала сама Долли, а вовсе не ее клиент, богатый *йонкерский купец* Горас Вандергелдер. И все, что для этого потребовалось – это замена нескольких строк текста и перенесение двух проходных реплик из первого акта в финальный монолог, завершающий пьесу. Этих не оцененных критиками нескольких штрихов мастера оказалось достаточно, чтобы произвести настоящий переворот среди традиционных персонажей комедии положений.

Нам придется вернуться в самое начало истории, к Менандру и его *параситу* Херею, чтобы понять, насколько необычным, новым (чтобы не употребить стертое слово *революционным*) оказался образ свахи Долли.

Дело в том, что с незапамятных времен, а точнее, со времен Новой Аттической комедии, фарс – грубовато доведенная до абсурда цепь недоразумений – покоился на постоянстве персонажей, легко узнаваемых публикой. Они по воле автора «случайно» попадали в самые неправдоподобные ситуации; фабула развивалась, вернее, запутывалась с невероятной быстротой, а зритель, издавна знакомый с чертами характера персонажей, понимал их действия с полуслова и не нуждался в пояснительных монологах, замедлявших ход событий. Публика не успевала соскучиться, настолько лихо бежало действие, а глубина характеров аудиторию не особенно волновала.

В поздней разновидности площадного фарса – Комедии Масок (*Commedia dell' arte*), где публика заранее знала, чего ожидать от каждого персонажа, актеры могли свободно импровизировать в рамках заданной ситуации; чуть приподымая маски, они даже подшучивали по ходу над своими героями и подмигивали зрителям – что неизменно вызывало их восторг и аплодисменты.

Многое позаимствовала Комедия Масок у античных авторов, но главное – это железное правило набора дежурных, знакомых зрителю условных образов: их постоянство дарило свободу авторской фантазии, позволяло бросать персонажи в невероятные обстоятельства к вящему удовольствию публики, не затруднявшей себя вопросами правдоподобия. *Панталоне, Иль Дотторе, Иль Капитано, Арлекин, Коломбина, Пьеро...* Со времен Менандра фарсе не менялись персонажи ворчливого подозрительного Богача, простоватого

Хозяина дома, засидевшегося у него в гостях Прихлебателя, привередливого скупого Холостяка, хвастливого Солдата, пройдохи-Слуги (иногда двух господ!), бойкой и смышленной Горничной и еще десятка других, побочных действующих лиц, пока...

...Пока в середине двадцатого века, при помощи нескольких вымарок и переадресовки монологов, Уайлдер не разбил привычный зрителю стереотип образов, не вывел побочное действующее лицо в главные герои и не создал впервые в истории жанра многомерный, мятущийся, меняющийся по ходу пьесы женский персонаж, который обладал свойствами характера, прежде считавшимися противоречивыми, несовместными.

Сваха (иногда реже – Сводня) была знакома театру и зрителю вот уж который век – это образ симпатичный, самым родом занятий заключающий в себе нечто добродушно-комическое. Эта женщина, а по сути – существо без определенного пола, возраста и морали, выполняет лишь свою роль катализатора чужих интимных отношений. Ее дело – держать свечу, дабы возлюбленным в критические моменты не помешали многочисленные шпильки и булавки. Она пассивна, нужда в ней отпадает, когда в будуаре гаснет свет и наступает блаженная тишина. Своих романтических интересов у Свахи нет. Когда она в отчаянии, ей не сочувствуют; над ней смеются, когда она попадает впросак, но зато всегда рады, когда она оказывается причиной, даже если и невольной – счастливого разрешения конфликта. Ей желают успеха в ее предприятиях. То есть в целом – это приятный публике персонаж, хотя и чисто служебный, эпизодический.

Энергичный *Парасит*, с другой стороны, каким бы блестящим острословом он ни был, какими бы хитроумными и морально оправданными ни были его козни – и каким бы смешным ни выглядел его жадный и тщеславный патрон – Парасит это персонаж опасный, негативный; публика с самого начала предвкушает провал его планов, ожидает скандала его разоблачения и расплаты за причиненный ущерб. Успех Парасита в конце пьесы неизбежно означал бы для разочарованного зрителя победу сил зла!

Даже избегавший одномерных образов Шекспир, создав по общему мнению самый яркий свой персонаж – Фальстафа, так и не ре-

шился преступить вековую театральную традицию. При всем восхищении жизнелюбием и циничными философствованиями этого труса, пьяницы и обжоры, Фальстаф остается мил зрителям прежде всего тем, что всегда первым готов весело признать свое фиаско! «На сей раз я, сдаётся мне, остался в дураках», («*I do begin to perceive that I am made an ass*»). Порок, таким образом, признает свое поражение, и справедливость торжествует... до следующего появления Фальстафа на сцене!

Уайлдер же взял – и объединил в одно: привычную зрителю-добродушную бесполоую Сваху и неутомимого жизнелюбца, манипулятора-Парасита! Более того, в новом варианте пьесы автор наделил главную женскую роль обычно отталкивавшими в Парасите качествами *busybody* (вездесущей). Он сделал героиню энергичной, полнокровной, радующейся любым проявлениям жизни. В результате получилось нечто большее, чем просто сумма противоречивых качеств. Много большее: родился многогранный живой образ!

Здесь нет нужды пересказывать фабулу пьесы: если кому-то понадобится, ее синопсис можно найти в любом справочнике. Нам же достаточно упомянуть основные повороты линии Долли, вдовы из Йонкерса.

Прежде всего – ее имя. Оно звучит достаточно непривычно. Рано оставшись сиротой, ирландка Долли Галлахер вышла замуж за добрейшего Ефрема Леви (в английском произношении Ливай), еврейского эмигранта из России. Он был старше нее и во многом заменил ей отца; она взяла его имя и стала Ливай Галлахер. После смерти мужа Долли в каком-то смысле стала его реинкарнацией; даже в ирландском выговоре ее появились еврейские восточноевропейские интонации. Оставшись одна, Долли провела некоторое время в затворничестве, но потом ей пришлось пополнять свой бюджет различными заработками, сватовством в том числе. Объясняет она свой скромный успех склонностью вмешиваться в чужие жизни. Желающих она готова научить манерам и танцам, а в случае нужды может преподавать будущим молодоженам даже и уроки... игры на мандолине!

Одним из ее клиентов стал мрачноватый пожилой вдовец Горас Вандергелдер, муж покойной подруги, и в процессе устройства ему достойной партии мы и застаем Долли на сцене. Однако, к немалому

своему удивлению, она и сама начинает подумывать о браке с этим, на первый взгляд, мало симпатичным клиентом. Дело в том, что в маленьком сонном Йонкерсе он считается богачом и ни на минуту не позволяет забыть окружающим, что это он, владелец местной лавки «Сено и Фураж», является среди них *настоящим полу-миллионером!* Долли же надеется, что если вдовца как следует встряхнуть и избавить от присущего ему мелкого тщеславия и жадности, она сможет вернуть его к жизни, сделать ее легче и радостней.

Вот, собственно, и вся основная линия Долли – если не считать того, что на пути к ее планам – и благополучному финалу – камнем преткновения лежит память о ее муже, мудром и щедром благотворителе – полной противоположности угрюмому скупцу Вандергелдеру. (Читатель наверняка заметил в пародии на его аристократическое голландское имя знакомое еврейское слово «гелд» – деньги).

И пока ее незабвенный ментор Ефрем Ливай не отпустит Долли из плена памяти в мир несовершенных, суетных, нередко вздорных, но живых людей, счастливое разрешение пьесы будет немислимо, и сюжет обречен топтаться на месте. Впрочем, лучше всего об этом сможет рассказать сама Долли. Поэтому нам кажется уместным привести здесь полностью ее монолог, завершивший «Сваху» и давший пьесе вторую жизнь:

ДОЛЛИ (одна):

– Ефрем Ливай, я собираюсь снова выйти замуж. Ефрем, я выхожу замуж за Гораса Вандергелдера и его деньги. И деньги эти я пушу на все те добрые дела, которым учил меня ты. О нет, это не сможет быть браком, в котором две души сливаются в одну – но поверь, я еще способна принести кому-то радость; и еще, Ефрем – я устала. Я устала едва сводить концы с концами, и я прошу твоего разрешения – ты отпустишь меня?

(К зрителям):

Деньги! Деньги! – это как солнце, под которым мы ходим; одним оно несет смерть, другим исцеление... Деньги мистера Вандергелдера! Вандергелдер не устает повторять, что большинство людей на земле – дураки, и он в чем-то прав, разве нет? И сам он дурак, и

Айрин, и Корнелиус, да и я тоже! Но ведь наступает однажды момент в жизни, когда каждый должен решить для себя, жить ему среди живых людей или напротив – дураком среди дураков. Или того хуже – дураком-одиночкой. Что до меня, то я выбрала быть живой среди живых.

Не всегда было так. После смерти мужа я уползла глубоко внутрь себя. Да, вечерами я звала домой кота, запирала дверь и наливала себе рюмочку рома с гвоздикой; и перед тем как пойти в постель, я не забывала поблагодарить Бога за свою независимость, за то, что ничья чужая жизнь не мешает моей. И когда на колокольне Троицы било десять, я уже крепко спала и была этим вполне довольна. Но однажды, года два спустя, из моей библии выпал дубовый лист. Я заложила его между страницами, когда муж сделал мне предложение; листок прекрасно сохранился, только вот потерял цвет, засох. И я вдруг вспомнила, что давно уж утратила способность к слезам; или наоборот, к розовыми мечтам о том, что в конце концов что-то, как-то повернется к лучшему в моей жизни. Я поняла, что стала похожа на мертвый листок и решила той ночью вернуться назад к человеческой расе.

Да, конечно, мы дураки, и собственной дуростью способны уничтожить себя и весь мир. Но самый верный способ спасти нас от гибели – это подарить нам те немногие – четыре, пять – из человеческих радостей, что делают нас лучше в этом мире – и это так недорого стоит!

Ведь разница между небольшими деньгами и полным их отсутствием чудовищна – и может привести мир к концу. В то время как разница между небольшими деньгами и огромными, в общем-то мало заметна – но и она тоже может мир уничтожить!

Деньги... я всегда чувствовала, что деньги, простите за выражение, подобны навозу; он тоже ровно ничего не стоит – пока его не разбрасывают, чтобы питать ростки новой, молодой жизни.

Так, во всяком случае, считает будущая Миссис Вандергелдер номер два»

Читатель уже догадался, что финальное обращение к публике – это и были те «косметические» несколько строк, перенесенные автором из середины первого акта в конец спектакля. Не считая упоминания о дубовом листке, весь текст присутствовал и в прежнем варианте пьесы. Но только в ином контексте, и сказанный по иному поводу парафраз изречения Фрэнсиса Бэкона о деньгах и навозе воспринимался широкой публикой всего лишь как «хохма», очередная еврейская шутка покойного мужа Долли, чудаковатого филантропа – а вовсе не как идея всего ее образа и всего спектакля, высказанная хоть и с юмором, но без всяких обиняков, прямым обращением в зал.

На этом вообще-то можно было бы закончить рассказ об эволюции древнего женского образа и древнего фарса. Театр открыл для себя новые возможности: родился новый жанр, в котором вполне реалистический персонаж, пришедший как бы из другого мира – или по меньшей мере совсем из другой пьесы, управлял и манипулировал условными персонажами, масками. Можно даже считать, что именно после этого известные персонажи мастера Комедии масок Луиджи Пиранделло нашли, наконец своего кукловода, – и он, вернее она, оказалась вовсе не автором, диктующим свою волю из зала, по ту сторону рампы, а одним из действующих лиц на сцене, в том же измерении и в тех же драматических обстоятельствах, что и маски. И как выяснилось, такое смещение реальности, такое нарушение единства условности никому из публики, даже самой «бродвейской», неприхотливой, ничуть не помешало!

Это был настоящий переворот в театральном искусстве, прошедший, как это часто бывает, практически незамеченным современными критиками. После «Свахи» стало невозможным предлагать зрителю спектакли, сделанные в традиционной манере с «четвертой стеной», даже в самом консервативном коммерческом театре. Можно (хотя и не бесспорно) утверждать, что именно «Сваха» дала возможности в последующее десятилетие хлынуть на Бродвей целому потоку молодых талантов и наполнить его самыми немислимыми проектами.

Но закончить нашу историю традиционным переходом к эпilogу: «Остальное, как говорится – история...» просто никак невозможно.

Ибо мировая история в последующие десять лет начинает уже не просто нестись, но скакать, будто сорвавшись с цепи, без всякой логики, опрокидывая все прогнозы, издеваясь над аналитиками, сводя международных обозревателей с ума своими выкрутасами.

И все эти годы занимаясь своими театральными делами, Дэвид Меррик не проявлял никакого интереса к зигзагам времени; он не предполагал, что ему суждено быть поневоле втянутым в большую политику и вихрь мировых событий.

А советскому и американским послам, если помните, тоже кое-что предстояло: встретиться – и разойтись, так и не возобновив свое соглашение «О культурном обмене...»

Итак, продолжаем.

...Так и не дождавшись ответа на свой телекс, Меррик сам отправился в Лондон и через несколько месяцев с четвертой попытки попал, наконец, на прием в грим-уборную к Рут Гордон. Стараясь не кусать от застенчивости ногти, обычно нагловатый Дэвид как мог изложил свое предложение – и едва выслушав его, звезда неожиданно сразу согласилась! Меррик уже готов был упасть в обморок от радости, когда она прибавила лишь одно условие: в Нью-Йорке вместе с ней должна будет выступать и вся ее английская труппа.

Лишь одно!? Это условие было равносильно решительному отказу. Да заикнись он о таком на Бродвее, театральный профсоюз «Экуити» мог бы на месте разорвать в клочки за наглость: ведь речь идет о том, чтобы отобрать у голодных до работы американских актеров кусок хлеба и отдать его англичанам. Меррик глубоко вздохнул и попробовал торговаться, но актриса остановила его царственным жестом изящной ладони.

– Дэвид, я знаю театр лучше, чем вы..Заменишь один элемент – и нарушится весь баланс постановки. Мы играем уже полгода при полных сборах. С другими людьми у вас будет совершенно другой спектакль.

О, за четырнадцать лет Меррик отлично изучил эту стальную мягкость звездных интонаций: спорить было бесполезно, и ему ничего не оставалось, кроме как полететь домой для переговоров с

«Экуити», то есть прямо в пасть к дракону. Правдами и неправдами, лестью и посулами, а главное – бесчисленными финансовыми обязательствами, но он готов был во что бы то ни стало смягчить позицию профсоюзов.

По достигнутому компромиссу, пятьдесят один процент работников нового шоу должны были быть американцами – и пришлось согласиться сразу же набрать второй состав участников, целиком из местных актеров и служащих сцены. Ставка на успех таким образом подскочила вдвое, потом втрое, и Дэвиду оставалось только надеяться на оправдание расходов от будущих (если они вообще состоятся!) гастрольных турне.

Так или иначе, но к сезону 1955-56 года ему каким-то чудом удалось почти в полном составе перенести английскую постановку «Свахи» на Бродвей и после нескольких неудачных прогонов добиться хвалебных рецензий и, что гораздо важнее, завоевать энтузиазм публики.

«Дэйли Ньюс» восторженно описывала «...этот безостановочно безумствующий балет, сравнимый разве что с лучшими комедиями немного кино – только раз в десять смешнее, со звуком: со словами Торнтон Уайлдера, которые первоклассный ансамбль то шепотом, то рыком, визгом или ревом доносит до воющего от хохота зрительного зала».

Спектакль продержался больше года на Бродвее, выдержал 488 представлений, но ненасытному Меррику и этого было мало. Для него это было лишь еще одним шагом к главной цели.

Молодой эдинбургский критик однажды пророчески отметил, что это «...шоу обладает взрывной энергией музыкальной комедии, но с таким замечательным, крепко выстроенным сюжетом, что словно и самую музыку в нем сочли излишней и отказались от нее за ненужностью». И Меррик ни на минуту не забывал его отзыв все последующие десять лет, когда он упорно, шаг за шагом, продвигался к созданию мюзикла на материале «Свахи».

...В июле 1957-го в Москве открылся Международный Фестиваль молодежи, где впервые рядовым гражданам СССР дозволены были личные контакты с иностранцами. Фестиваль проходил под лозунгом «За мир и дружбу», но в августе 57-го ТАСС сообщил об

успешном испытании советской межконтинентальной баллистической ракеты – и в мире снова началась паника.

Ракета означала что у России вот-вот появятся средства доставки ядерного оружия! А когда еще через два месяца русские запустили *Спутник*, в США начался уже настоящий переполох среди широкого населения: кто побогаче, спешно приводил в порядок личные атомные убежища, а в публичных школах была возобновлена программа «*Duckand Cover*», где детей учили в случае ядерной тревоги сразу же нырнуть лицом в пол под парту, вне доступа световой вспышки, а потом открыть рот, прикрыть руками глаза и уши и надеяться на лучшее.

Атмосфера снова в корне меняется, когда в 1958 году Москве на Конкурсе Чайковского первое место вдруг присуждают американскому пианисту – с ведома и личного разрешения Хрущева! Сентиментальный, немного женственный Вэн Клайберн в одночасье становится любимцем толпы, его называют «наш Ваня Клиберн», и в московских вытрезвителях уже можно услышать, как вместо привычной «Костры горят далекие...» пьяницы выкрикивают со страстью, в стиле Клайберна, первые аккорды Опуса 23, концерта си-бемоль минор Чайковского.

Американцы теперь – лучшие друзья, свои ребята, они любят русскую музыку, и совсем не похожи на толстых стариков в черных цилиндрах и с еврейскими лицами – американских поджигателей войны из журнала «Крокодил».

По ту сторону океана телезрители тоже вздыхают с облегчением. Русские оказывается, безумно любят фортепьянные концерты, и готовы за них награждать американских исполнителей, а не вербовать их в атомные шпионы и заставлять голосовать за коммунистическую партию!

И в этой новой, подогретой телевидением атмосфере в Женеве заключается в 1958 году Соглашение «О культурном обмене между США и СССР».

На экранах и в публике царит благодущие и ожидание конца холодной войны. Надолго ли?...

Между премьерами «Свахи» и «Хэлло, Долли!» Меррик ухитрился выпустить тридцать три спектакля. То есть, практически каждые три месяца на Бродвее появлялась новое шоу, которое он представлял – один или с партнерами. Более половины постановок принесли ему успех, оказались настоящими «хитами». Да, да это не опечатка, более половины!

Никто уже больше не называл Дэвида подающим надежды: если он подавал их, то в течение пяти-шести сезонов успех его превзошел самые радужные надежды его финансистов. Более того, даже его неудачи критика теперь готова была скорее отнести к *success d'estime* (почетным поражениям), нежели к провалам. Пятнадцатилетний опыт театральной практики начинал наконец приносить плоды. Казалось бы, Дэвид достиг своей главной цели – всеобщего признания, но нет! Ненасытным его амбициям предела не было, ему нужен был не просто «хит», но хит сногшибательный, *smash hit* – и он упорно продолжал трудиться над своей, тогда еще не имевшей названия «Долли».

В 1959 году он основывает Фонд Искусств Дэвида Меррика, некоммерческую корпорацию, позволившую представить театральной публике новых авторов и режиссеров, о которых раньше никто и не слыхивал. Сегодня эти классики известны любому ученику драматической школы, но в то время такие имена как Осборн, Питер Устинов, Том Стоппард, Жан Аннуй, Тони Ричардсон, Шелла Делане и даже Теннесси Уильямс были известны лишь своими провалами в кассе, да и то лишь занятым театрам! И никто уже не помнит, что именно жадный до денег Меррик открыл тогда дорогу в Америке таким безнадежным в коммерческом плане пьесам как «Карьера Артуро Уи», «Оглянись во гневе», «Вкус меда», «Мария Головина», «Молочный поезд здесь больше не ходит», «Марат/Сад» и еще многим....

И все же самыми важными для него событиями в этот период явились отнюдь не многочисленные его премьеры, но лишь две из них: мюзиклы «Джипси», сезона 1959 года и «Карнавал!» – 1961-го.

Если «Карнавал!» был переработкой для театра старого голливудского киносценария, «Джипси» на сто процентов была детищем Дэвида. Однажды в журнале «Харперс» он наткнулся на историю безумной театральной мамыши, в погоне за успехом и славой изо

всех сил толкавшей своих дочерей на сцену – пока одна из них действительно не стала суперзвездой... стриптиза (!) и не написала об этом мемуары. Меррик не задумываясь, купил права на ее книгу, и сразу же отослал экземпляр звезде музыкальной комедии Этель Мерман с предложением сыграть роль неистойвой мамыши...

...А еще через полгода известный скупостью на похвалы критик Уолтер Керр уже назвал в отзыве «Джипси» «самым лучшим мюзиклом, что мне, черт подери, пришлось увидеть за долгие годы на Бродвее...». Даже снобливый «Нью-Йоркер» дважды употребил эпитет *great*, «великий» в рецензии на спектакль. Но для Дэвида важнее было другое: кажется в этом мюзикле удался образ одержимой успехом Джипси!

Много лет Меррика обвиняли в контрабанде европейских талантов, враги объявляли холодным ремесленником, умельцем перелицовывать английский товар на вульгарный бродвейской лад, но Джипси – это уже был оригинальный, сугубо американский характер, да и сама ее история – чисто американская, местная! И пусть критики теперь считают это шоу событием в истории театра, думал Дэвид, для него оно прежде всего важно как подготовка к «Долли» – но об этом никто не должен догадываться...

Меррик любил повторять, что стремится не вмешиваться в творческие дела; мол его заботы – администрация, пресса, реклама, и касса. В этом была изрядная доля лицемерия. Его тщательно хранимым секретом была острая нехватка базовых академических знаний, недостаток эрудиции. При всех своих незаурядных способностях, он всегда помнил, что в профессии он на самом деле был лишь самоучкой, талантливым дилетантом; и сейчас, когда успех открывал ему возможности приобщиться к большому искусству, больше чем когда-либо ему начинали мешать пробелы в образовании.

Тонкости и нюансы, что в процессе работы он куда лучше многих ощущал нутром, инстинктом, он не в состоянии был облечь в слова, внятно объяснить их авторам, самому осмыслить их как систему. Не вооруженный терминами, от этого не способный получить помощь советом извне, Дэвид часто блуждал в потемках, пробирался к своим целям на ощупь. Не в силах поделиться с артистами своими соображениями, он теперь все чаще терял контроль над собой и прибегал

к единственно доступному ему способу коммуникации – крикам и угрозам выйти из бизнеса, бросить шоу к чертям на произвол судьбы. Иногда это помогало достичь желаемого результата, чаще – нет.

Он действительно избегал обсуждать творческие вопросы – но по своим достаточно циничным соображениям. Если ему что-то не нравилось на сцене или публика оставалась холодной, он орал и топал ногами на актеров и творческий состав. Расчет его был прост: если после криков что-то делалось по его и менялось к лучшему, он приписывал это себе, а в случае неудачи – всегда мог свалить на других свои ошибки...

Но в секрете от всех, даже от своей новой жены Джинни – Дэвид непрерывно учился. Учился и на чужих, но в основном – на собственных ошибках. И год за годом он откладывал работу над «Долли» только оттого, что чувствовал, что к ней он еще не готов!

Поэтому из всех спектаклей, выпущенных им за эти годы, самыми значительными действительно были «Джипси» и «Карнавал!»: они послужили для Дэвида бесценной пробой пера, уроками, этапами в приобретении опыта!

Джипси помогла ему до конца понять движущие силы главного персонажа, Долли. И для его воплощения на сцене помогла понять незаменимость того, специфически американского типа актрисы, что Меррик за незнанием лучшего термина называл *comedienne* («клоунесса»), вызывая этим ярость молодых эмансипированных артисток второго плана.

Что касается «Карнавала!», то в процессе его создания Дэвид определил для себя нечто еще более важное: уникальный жанр будущего мюзикла. Готовясь к рекламе «Карнавала!», он случайно наткнулся на афишу бурлеска начала века. На нем была изображена карнавальная красотка в маске, рискованно одетая в воздушное цирковое платье длиной чуть ниже колен; множество бечевек было крепко зажато в ее кулачках. Дергая за них, она манипулировала дюжиной счастливых мужчин, покорно стоявших на коленях или лежавших у ее ног. Все они были одеты строго формально в черные фраки – с тросточками, с крахмальными манишками и стоячими воротничками – но все казались лилипутами, едва доставшими красотке до колен, и все они напоминали марионеток.

Именно тогда Дэвиду вдруг стало ясно как день: его «Долли»

– это и должен быть *Карнавал Масок*. Именно – *карнавал* и непрерывный, праздник, шествие, парад. И это должна быть гротескная *Кукольная Комедия*, в которой кукловодом должна быть только Долли, единственный реалистический живой персонаж, со своими страстями и переживаниями вышедший на подмостки, и взаимодействующий и с условными масками, и с публикой!

Только теперь наконец Дэвид почувствовал, что готов приступить к работе. «Долли» сложилась у него в голове; оставалось лишь перенести ее в реальность, на сцену. И никто на Бродвее не умел это делать лучше, чем он, Меррик!

Окончание – в следующем номере

Виктор Норд – автор множества кино- и телесценариев. Закончил Институт кинематографии (ВГИК).

Ему было двадцать шесть, когда он уехал из России. Перед тем успел сделать дипломную картину под названием «Это были мы» по сценарию своего товарища А. Миндадзе. Это был единственный раз, когда Виктору довелось поставить фильм по чужому сценарию. С тех пор ему приходилось писать для кино на разных языках, но не по-русски. А кроме того, быть еще и «кинодоктором» («story doctor»), то есть переписывать не получившиеся сценарии и фильмы, сделанные другими. Виктор Норд появлялся в титрах то в качестве сценариста, то редактора, то автора-либреттиста, а то и просто автора диалогов.

Написанные для себя и поставленные им фильмы представлялись на международных кинофестивалях в Каннах, Сан-Франциско и других. Среди наград, им полученных – ЭММИ – приз Телеакадемии США (за «Эль Сальвадор») и специальный приз жюри за дебют в Каннах «Плодотворное Око» (фильм «Сад», начавший карьеру актрисы Мелани Гриффитс).

Его написанный по-русски первый роман «Непредвиденные последствия» после выхода в свет в Москве в 2014 году зажил своей особой жизнью и потребовал от автора заняться прозой с полной отдачей.

Сейчас Виктор готовит к печати уже третью книгу, отрывки из которой он предоставил нашему журналу.

Рената МОЛДАВСКАЯ

ПЕРЕВОДЫ РУССКОЙ ПОЭЗИИ НА АНГЛИЙСКИЙ

ПУШКИН
Медный всадник
(Вступление)

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный чёлн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
На зло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твёрдой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат

Вознёсся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхой невод, ныне там
По оживлённым берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Тёмно-зелёными садами
Её покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой её гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
Люблю зимы твоей жестокой

Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор бáлов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красоту,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамён победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,
Или, взломав свой синий лёд,
Нева к морям его несёт
И, чуя вешни дни, ликует.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо как Россия,
Да умирится же с тобой
И побеждённая стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас

Начну своё повествованье.
Печален будет мой рассказ.

The Prologue to the Bronze Horseman

By waves so desolate and wild,
He stood – grand projects filled his mind –
And looked afar. Before him, broadly,
A river rushed... Pushed by its might,
A dugout dashed through waters lonely.
The river banks were sad and bare...
Just poor Finns' huts were scattered there
And showed around like dark-point dotting.
And, unbeknown to beaming glare
Of sunshine dimmed by misty coating,
The woods stood there.
And then he thought:
“From here we'll threat Swedes... In our favor,
We'll found a city at this spot,
To spite our haughty, jealous neighbor.
Right here, Dame Nature readied all,
To break a window to the world.
Here, by the sea, we'll set foot proudly.
To us, on waves so new for them,
From 'round the world the ships will sail.
We'll feast upon the vastness loudly...”

A century has passed... And now
This city is a Russian wonder.
It rose from woods and mossy ground,
To be among great cities numbered.
Where Nature's stepson poor and sad –
A Finnish fisherman – abided
And cast his lonely tattered net
Into the waters undecided,
The scape has beautifully changed:
Upon the lively banks arranged,

The fine-built palaces and towers
Are crowding there; and flocks of ships
Stream unto modern wealthy quays –
From all the foreign lands to ours...
Now the Neva is granite-clad,
By bridges' drapery bestridden,
With all her islands fully hidden
Beneath the gardens' dazzling plaid...
Next to this capital as splendid
As the Tsarina fresh and glad,
The ancient Moscow paled and faded,
And, like a dowager, looks sad.

I love you, Peter's fine creation.
I love your elegance and grace;
Your river's stately revelation
And her embankments granite-faced;
Cast-iron patterns of your fences;
Your thoughtful meditative nights
With their sweet, moonless, shiny fancy
When I do not need any lights,
To read and write when I'm inspired...
There shines the Admiralty Spire;
The streets are clearly seen and lined
Despite the fact that it is night.
And, giving not a chance for darkness
To dim the golden shiny skies,
A dawn pursues a dawn with fastness,
To leave just moments for the nights.
I love your winter's snowy laces,
Still air and sharply biting frost,
Alongside the Neva sleigh races,
Girls' faces brighter than a rose;
Dance parties' chic, and noise, and voices;
And, at the time of singles' binge,
The hissing chat of foaming goblets
And punch-bowls' bluish flame and singe...

I love the warlike agitation
Emerging on the Field of Mars:
The foot and horses' looks and fuss,
Routinely splendid demonstration,
The way formation neatly sways,
The rags of the victorious banners,
And – pierced by musket balls in battles –
The grenadiers' brass-fronted hats...
I love, war capital, your stronghold,
The loud salute with many a gun
When the Tsarina – proudly, fondly –
Presents the Tsar's House with a son;
Or at the times when wars are won,
And Russia starts the celebration;
Or when the proud Neva breaks free
From winter ice and to the sea
Runs, feeling springtime, with elation.

So, Peter's city, thrive and stand
As strong and powerful as Russia!
May the defeated folk and land
Their peace with you regard and usher!
May Finnish waves forget and sweep
The bitter taste of the takeover,
So that their malice would be over
And wouldn't bother Peter's sleep!

It was the time of pain and grief,
And still so fresh is recollection.
My friends, with reference to that
I'll start the following narration.
My story will be truly sad.

Храни меня, мой талисман...

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.

Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи, —
Храни меня, мой талисман.

В уединеньи чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.

Священный сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман.

Пусть же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай, надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман.

My Talisman, Please Safeguard me...

My talisman, please safeguard me
In days of exile and suppression,
Days of remorse and agitation...
The day was sad, when I got thee.

When waves of ocean rise at me,
And stormy ruthless clouds assemble,

And roaring sounds of thunder tremble,
My talisman, please safeguard me.

In boring times of sluggish spree,
In agitation of the battle,
In foreign lands where I won't settle,
My talisman, please safeguard me.

The sacred lure that used to be
Soul's magic light and its confusion
Now vanished, as it was illusion.
My talisman, please safeguard me.

Wounds of my heart may now be healed!
May painful memories retire!
Goodbye, sweet Hope! You sleep, Desire!
My talisman, please safeguard me.

Няне

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждёшь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые ворота
На чёрный отдалённый путь;
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе

To Nanny

My friend through all the hardest moments,
 My old and precious little dove!
 You are alone, in deep pine forests,
 Awaiting me so long with love.
 You, by your front room's lookout window,
 Grieve, faithful as if standing guard,
 And, in your hands, your knitting needles
 Are pausing slightly all the time.
 You look at doorways long-forgotten,
 At dim, unfolding, distant paths;
 And grief, concerns, and dark foreboding
 Each time torment your tired chest.
 You sometimes picture...

Я вас любил...

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
 В душе моей угасла не совсем;
 Но пусть она вас больше не тревожит;
 Я не хочу печалить вас ничем.
 Я вас любил безмолвно, безнадежно,
 То робостью, то ревностью томим;
 Я вас любил так искренно, так нежно,
 Как дай вам Бог любимой быть другим.

I Loved You...

I loved you, and perhaps that loving languor
 Has not yet faded in my tired soul,
 But may it be no reason for your anger...
 I do not want to sadden you at all.
 I loved you – torn by jealousy and coyness;
 I loved you – having no high hopes or words...
 My love has been as tender – and as honest –
 As, God grant, one may love you afterwards!

Возрождение

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с годами,
Спадают ветхой чешуёй;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

Rebirth

A savage artist maladroitly
Destroys a genius' work.
With his unruly clumsy drawing
He mars the picture stroke by stroke.

As years pass by, the foreign colors
Fall off like old shed snake skin's flakes.
The work of genius transpires;
Its former beauty reawakes.

The same way are my own sad errors
That leave my soul without a trace...
And pure sweet images and flavors
From early times emerge in place.

Туча

Последняя туча рассеянной бури!
 Одна ты несешься по ясной лазури,
 Одна ты наводишь унылую тень,
 Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облежала,
 И молния грозно тебя обвивала;
 И ты издавала таинственный гром
 И алчную землю поила дождём.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
 Земля освежилась, и буря промчалась,
 И ветер, лаская листочки деревьев,
 Тебя с успокоенных гонит небес.

The Cloud

Last cloud of the rainstorm that now has got scattered!
 So lonely you drift through the azure of heaven;
 Alone, you are gloomily flying astray;
 Alone, you are dimming the joy of the day.

Just recently, you've had the heaven surrounded,
 And, tightly embraced by a menacing lightning,
 You've let out the thunder's mysterious sound
 And watered with rain the dehydrated ground.

Enough, fly away, for the rainstorm has ended,
 The earth feels refreshed, and the squall has abated.
 The breeze that caresses the leaves on the trees
 Is chasing you down from the azure with ease.

ЛЕРМОНТОВ**Парус**

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнётся и скрипит...
Увы! он счастья не ищет,
И не от счастья бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

The Sail

A sail looms distant, white, and lonely
In hazy seas' light bluish band.
What does she seek abroad so fondly?
What has she left back in her land?

The waves and winds soar, lacking measure;
The mast bends wildly, squeaks, and creaks...
She neither flees from joy and pleasure,
Nor does she look for any bliss...

The sunny skies are high above her,
The azure streak is underneath,
But she, rebellious, asks for thunder
As if in storms she finds some peace.

Рената Молдавская родилась в Киеве. Любовь к поэзии унаследовала от отца. Работала учителем английского языка. В 2001 году эмигрировала в США. Стихотворения и переводы Р. Молдавской публиковались в периодике. В Украине и Италии были выпущены сборники музыкальных произведений известного украинского композитора В.Троценко с эпиграфами Р. Молдавской. В 2010 г. в свет вышел песенно-поэтический сборник «Воспоминанья с нами остаются». В настоящее время занимается редактурой медицинских статей на английском языке.

Стефано БЕННИ

ПАПУ ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТВ

В доме Минарди всё было готово. Синьора Леа протерла экран спиртом, поместила на телевизор свадебную фотографию, сняла покрывало с дивана, засиявшего, словно подсолнух. Она выставила блюдо с солеными орешками, рождественский кулич, хоть и не ко времени, виски из Альбиона и оранжад для детей. Вытерла пыль с листьев фикуса и постелила на стеклянный столик лучшую скатерку. Трое детей не сводили с нее глаз в то время, как она проверяла, всё ли в порядке, теребила завитые локоны и постукивала каблучками по навощенному полу. Никогда прежде они не видели ее дома без домашних тапочек.

Дети тоже были готовы. Двенадцатилетний Патрицио, в своем любимом ярко-красном спортивном костюме и в фирменной шапочке миннеаполисского бейсбольного клуба, расположился на диване.

Рядом уселась его семилетняя сестренка Лючилла. На ней была пижамка с нарисованными на ней тремя серыми мышатами, в руках – беременная Барби.

Двухлетний Пастрокетто был заключен в рамку детского стульчика, комбинезончик с кучей пуговиц позволял ему двигать только тремя пальчиками и ложкой. В него влили немного сиропа с кодеином, чтобы не мешал.

Позвонили в дверь. Пришли соседка по дому Мариэлла и ее муж Марио, принесли сладости и мороженое, которое тотчас было засунуто в морозилку, чтоб не растаяло до времени.

Марио, в пиджаке и галстук по случаю, поздоровался с малышами и энергично пожал руку Патрицио.

– Ну что, чемпион, доволен своим папой?

– А то!.. – ответил Патрицио.

– Леа, прическа сногшибательная, – сказала Мариэлла. – Мы сегодня такие красивые! Ну конечно, день-то такой необычный!

- В каком-то смысле... – отозвалась Леа.
- Во сколько начнется трансляция?
- Минут через пять.
- Тогда пора включать.
- Только пульт пусть будет у меня, – сказала Лючилла.
- Лючилла, не валяй дурака.
- Папа всегда его мне давал!..

В тот самый момент синьор Аугусто Минарди пребывал в приподнятом расположении духа. Он только что вкусно поужинал ризотто с трюфелями и теперь отдыхал, растянувшись на раскладушке.

– Надеюсь, что буду выглядеть неплохо, – поразмыслил он вслух.

– Через три минуты это будет зависеть только от вас, – прозвучал голос за дверью.

– Черт побери! – поразмыслил опять синьор Минарди. – Я же забыл почистить зубы. А если по телевизору это заметно?..

– Я не стала приглашать консьержку, – заметила синьора Леа, жуя шоколадную конфету, – но дело не в классовой проблеме, не подумайте ничего такого, просто она такая сплетница, что разнесет по всему свету то, что может случиться здесь этим вечером. В какие-то моменты я предпочитаю побыть только с самым близкими друзьями.

Мариэлла ласково погладила ее руку.

– Ты всё сделала правильно, – сказала она, – к тому же, эта мегера недолюбливает Аугусто.

– Чемпион, мог ли ты представить себе когда-либо, что однажды увидишь своего папу по телевизору? – спросил Марио, усаживаясь на диван возле Патрицио.

– Не-а.

– А папу уже один раз показывали! – сказала Лючилла. – Правда, только чуть-чуть. Он шел с демонстрантами, и еще шел дождик, и он наполовину был прикрыт зонтом.

– Да, да, я помню, – сказал Марио, – я тоже там был.

– А тебя когда-нибудь по телевизору показывали? – спросил его Патрицио.

– Меня нет, а вот моего брата показывали. Его снимали скрытой камерой, когда он дрался на стадионе, дурак, целых две минуты его было видно с флагом в руках...

– Дулак... – оживился Пастрокетто, застучав ложкой.

– Марио, прошу тебя, попридержи язык! Особенно сегодня... – сердито одернула его жена.

Синьор Аугусто двигался длинным коридором по направлению к помещению, над дверью которого горела красная лампочка. Войдя, он увидел телекамеру, взявшую его в кадр.

– Мы уже в прямом эфире? – спросил он.

– Еще нет, – ответил его спутник. – Пока это съемка. Может быть, подмонтируют позже...

– Смотри-ка, как в раздевалке перед игрой.

– Похоже, – засмеялся спутник. – Вот, сейчас мы в эфире.

Появление Аугусто на экране в доме Минарди было встречено громкими аплодисментами и парой выкатившихся слезинок.

Патрицио не мог усидеть спокойно и запрыгал на диване. Лючилла теребила Барби. У синьоры Леа блестили глаза.

– Смотрите, как он спокоен, – отметила Мариэлла. – Кажется, будто ничего другого в жизни не делал, как только выступал по ТВ! И выглядит прекрасно.

– Да. И волосы зачесал назад, как я ему советовала.

– Наверняка получит мешки писем от поклонниц, – хихикнул Марио.

Жена испепелила его взглядом.

– Садится, садится!.. Какой замечательный крупный план!

– Старина Аугусто! – растроганно шмыгнул носом Марио. – Кто бы мог подумать!

– О нет! – застонала Мариэлла. – Давать рекламу именно сейчас!

– Мы в эфире? – спросил Аугусто.

– Сейчас нет, – ответил техник, – тридцать секунд рекламы. Потом появится ведущий, который нас представит, потом три минуты на окончательную подготовку и потом всё начнется. Вы волнуетесь?

– Конечно. А вы нет?

– Не больше, чем всегда, это моя работа, – засмеялся техник.

Реклама закончилась. На экране возникла физиономия ведущего:

– Уважаемые телезрители, у нас на прямой связи камера в тюрьме Сан Витторе, где впервые в нашей стране произойдет процедура смертной казни, с трансляцией по телевидению. Событие для кого-то, может, и печальное, но очень важное для нашего демократического роста. Сейчас вы видите осужденного, Аугусто Минарди, вот он сидит в комнате, которую можно назвать прихожей в зал казни. Здесь перед самой процедурой ему будет сделана успокоительная инъекция.

– Черт возьми! – воскликнула Леа.

– Что случилось?

– Аугусто до смерти боится уколов!..

– Это так необходимо? – спросил Аугусто врача.

– Лучше сделать. Это немного одурманит вас, и вы ничего не заметите.

– А может, не надо? Я могу отказаться?

– Ваше право, – ответил врач, пожимая плечами. – Однако смотрите, чтобы там на стуле вы не сдрейфили, иначе произведете плохое впечатление...

– Ну и пусть, только никаких уколов, – настоял на своем Аугусто.

– А сейчас позвольте познакомить вас с хроникой событий, приведших к сегодняшнему роковому дню, – объявил диктор. – Итак, Аугусто Минарди, 50 лет, бывший рабочий текстильной фабрики, три года без работы, утром третьего июля прошлого года, будучи вооружен пистолетом, совершил нападение на супермаркет на окраине города. Он хотел взять деньги из кассы, однако кассирше удалось включить сигнал тревоги. Вмешался охранник. В результате короткой перестрелки на земле остались лежать трое: охранник Фабио Тривелла, 43 лет, кассир Елена Петузио, 47 лет, и пенсионер Роберто Алдини, 76 лет...

– Этот не считается, – заявила Леа, – он умер от инфаркта.

– Он не назвал рассыльного, – вмешался Патрицио, – ведь был еще рассыльный...

– ...Охранник и кассир были убиты на месте, а пенсионер умер от инфаркта. Минарди пытался бежать, но на улице столкнулся с рассыльным Невио Негелли, 23 лет, которого легко ранил...

– Вот теперь всё, – сказал довольный Патрицио.

– Минарди арестовали чуть позже в видеосалоне. Процесс над ним завершился через два месяца, подсудимый был приговорен к пожизненному заключению. Однако чуть позже, на основании нового закона от 16 октября, наказание было пересмотрено и заменено смертной казнью на электрическом стуле. Это была хроника преступления, – пояснил диктор. – А сейчас мы обратимся к нашим гостям, которые обсудят происходящее событие. Я представляю их вам: отец Чиполла, иезуит и социолог...

– Добрый вечер.

– ...телекомментатор Джилорамо Скиццо...

– Добрый вечер.

– Смотрите, – подскочил Патрицио, – это же сам Скиццо!

– Мне он не нравится, он такой вульгарный, – сказала Леа.

– ...затем от оппозиции сенатор Карретти, инициатор многочисленных поправок к вышеупомянутому закону, а также писатель и режиссер фильмов ужасов Паоло Каппеллини и актриса Мария Ведовия...

– Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер...

– ...и наконец, министр, автор закона, сенатор Сангуин.

– Добрый вечер.

– Боже, какая дурацкая рожа, – откомментировал Марио.

– Мама, а почему больше не показывают папу?

– Лючилла, замолчи!.. И прекрати есть конфеты! Ты съела почти все одна.

– Дулацкая ложа, – вновь оживился Пастрокетто, грохнув ложкой.

– Я не слишком сильно стянул? – спросил техник.

– Нет-нет, нормально, – ответил Аугусто.

– Если хотите моего совета, когда пойдет ток, наклоните голову вниз. Так никто не увидит гримасы...

– Чего не увидит?

– Гримасы.

– Но я хотел бы, чтобы дома меня хорошо было видно...

– Я мог бы начать, – открыл дискуссию сенатор, – с заявления, что категорически возражаю против использования прямой трансляции для таких случаев...

– Тогда чего ты сюда приперся, старый ханжа? – крикнул ему Скиццо. – Вот так всегда вы и грязные паразиты из вашей партии цепляетесь к фактам, а когда надо платить по счетам...

– Уймись и уважайте серьезность момента, мерзавец!

– Сам мерзавец, кусок дерьма!

– Прошу вас, прошу вас!.. – вмешался отец Чиполла.

– Я хочу, чтобы вы все осознали торжественность события, – сказал диктор, – и поэтому обращаюсь с вопросом к режиссеру Каппеллини... Скиццо и Карретти, потише, умоляю вас. Каппеллини, скажите, мог ли бы когда-нибудь прийти вам в голову подобный сценарий? И, если б, например, вам нужно было подобрать актера на роль Минарди, кого бы вы пригласили?

– Ну-у, я не знаю... может быть, учитывая, что это такой кроваво-жидкий тип... Депардье был бы неплох...

– Ты слышала? – воскликнула Мариэлла. – Он сравнил его с Депардье! Ты довольна?

– В общем, да, очень симпатичный мужчина, не знаю, есть ли внешнее сходство...

Зазвонил телефон.

– Мама, – позвала Лючилла, – это какой-то журналист. Спрашивает, что мы чувствуем в этот момент...

– Замолчи, папу опять показывают, – ответила мать, не уделяя ей внимания.

– А теперь женские роли... – Ведущий повернулся к актрисе. – Госпожа Ведовия, если бы вам предложили сыграть роль его жены?

– Это очень интересная роль, очень драматическая... Конечно, чтобы выглядеть намного старше, пришлось бы накладывать грим и всё такое...

– Намного старше! И это говоришь ты, старая корова?! – возмутилась Мариэлла.

– Ничего, пусть говорит что хочет, – проговорила миролюбиво Леа.

– А обо мне ничего не скажут? – спросил Патрицио. – Мне хотелось бы, чтобы мою роль сыграл Джонни Депп.

– А мою – Гэри Купер! – засмеялся Марио.

– Упер, – повторил Пастрокетто.

– Сейчас мы как раз сидим перед телевизором и кушаем шоколадные конфеты, а потом будем есть мороженое, – говорила в трубку Лючилла. – Какое мороженое? Не знаю, подождите, пойду посмотрю в холодильнике.

– И вот, наконец, наступает момент, которого вы все с нетерпением ждете, – произнес ведущий. – Вы видите стул, модель та же, что используют в американских тюрьмах. На экране техник, синьор Гроссман, на счету которого уже более дюжины исполненных приговоров в столицах Техаса и Алабамы...

– Но вы так хорошо говорите по-итальянски! – удивился Аугусто.

– У меня мать итальянка, – объяснил техник.

– Видите, он разговаривает с осужденным. Он говорит на превосходном итальянском, потому что его мать родом из Милана. Не уверен, что смогу пригласить его к микрофону, думаю, что нет, поскольку он очень занят. А сейчас последняя пауза для рекламы, после чего мы перейдем к трансляции последнего акта процедуры.

– Называйте ее своим именем: убийство! – выкрикнул сенатор Карретти.

– А его мы будем называть убийцей? Да или нет? – закричал в ответ Скиццо. – И нечего тут сопли размазывать, оппозиционер хренов!..

– Шут кровавый!..

– Моралист опереточный!!

– Реклама!

– Он назвал его убийцей, – заплакала Леа.

– Но это же в пылу спора, – успокоила ее Мариэлла.

– В конце концов, он стрелял и победил, – сказал Патрицио.

– Победил? В каком смысле? – спросил Марио.

– В смысле, как в вестерне...

– Значит так: лимонное, шоколадное и кремовое. И еще какое-то, то ли с йогуртом, то ли сливочное, – сказала в телефон Лючилла.

– Пора, – сказал техник. – Сейчас вас покажут крупным планом. Наклоните немного голову, замедлите дыхание и ничего не почувствуете. Ну может, будто легкий укол.

– О, черт, нет, только не это, – побледнел Аугусто.

– Тогда будто полет с шестого этажа, – поправился техник.

– Это уже лучше, – оценил Аугусто. – Я готов.

– Наступил важнейший момент нашей телевизионной демократии, – голос ведущего зазвенел. – Мы хотели сообщить вам данные о численности нашей аудитории сразу же после завершения процедуры, однако они настолько впечатляющи, что мы не можем не поделиться ими с вами сейчас же. В настоящий момент нашу передачу смотрят шестнадцать миллионов телезрителей!!!

– Мама миа! – изумился Марио. – Словно футбол между Италией и Германией!

– Нет, ты посмотри, как он спокоен, – сказала Мариэлла, – вроде в кино сидит.

– Ты неправ, я-то его хорошо знаю. Это только внешне он спокоен, а внутри очень взволнован, – возразила Леа.

– Мне? Пять лет... Да, папа всегда хорошо ко мне относился... Что вы говорите?.. Ну может, один или два раза... да, ремнем по попе, но не больно, – сказала Лючилла в телефон.

– Вот он, долгожданный момент!.. Скиццо, Карретти, да уймись же, прошу вас! Кто-нибудь, растащите их!.. Вы видите лицо осужденного. Простой средиземноморский тип. Лицо одного из нас. Тщательно выбритое. Он поужинал в последний раз: ризотто с трюфелями и белое вино. И вот он здесь – перед своей и нашей совестью. Техник начинает обратный отсчет. Вы можете видеть, как бегут секунды, в правом углу экрана. Осталось пятнадцать секунд. Напоминаем, у того, кто хочет, еще есть время выключить телевизор. Это ваш выбор – смотреть или не смотреть. Это и есть демократия. Восемь секунд... Внимательно смотрите на лампочки над креслом.

Когда загорятся все три, это будет означать, что все кончилось. Три, секунды.. две... одна!..

– Синьор Гроссман, сейчас, когда мы отходим от случившегося, и всё прошло хорошо, как бы вы оценили эту казнь?

– Как?.. Нормально... Осужденный продемонстрировал определенное присутствие духа...

– Bravo, папа! – крикнул Патрицио.

– Браво, – поддакнул Пастрокетто, стуча ложкой.

– Старина Аугусто, – прослезился Марио, отпивая большой глоток виски, – кто бы мог подумать?.. Какая сила!.. Я помню, однажды на рыбалке он вогнал крючок себе в руку...

– Марио, Бога ради, – оборвала его Мариэлла, гладившая волосы Леа.

– Мой брат прыгает на диване, синьор Марио пьет виски, мама плачет, положив голову на колени синьоры Мариэллы... Сильно? Ага, мне кажется, сильно плачет... Я?.. Я говорю по телефону с вами, разве нет?.. Да, меня зовут Лючилла, с двумя «л», а не Лючия, как всегда ошибаются в школе...

Перевод с итальянского Валерия Николаева

Стефано Бенни (1947, Болонья) – итальянский писатель-сатирик, поэт, драматург, кинодраматург, журналист.

Начал свою литературную карьеру в 1976 году, издав сборник юмористических рассказов Bar Sport. В 1997 году вышло его продолжение – Bar Sport 2000, а в 1987 – сборник сюрреалистических рассказов «Бар на дне моря».

Бенни публиковался во многих периодических изданиях, но наибольшей известностью пользовались его сатирические материалы в «Сигоре», где в гротесковой и сюрреалистической манере он представил многие несовершенства Италии последних десятилетий. Кроме того, Бенни сотрудничает в ведущих газетах. По своей книге «Забавные перепуганные вояки» совместно с режиссёром Умберто Анджелуччи снял фильм, поставил множество спектаклей с участием классических и джазовых музыкантов, сам в них играл.

Автор нескольких романов. Награждён различными литературными премиями Италии.

29 сентября 2015 года Бенни через свой Facebook объявил об отказе от премии Витторио Де Сика, которую ему должен был вручить лично министр культуры Дарио Франческини. Этот шаг стал проявлением оппозиции писателя к деятельности правительства, которое он обвинил в пренебрежительном отношении к искусству.

Валерий Николаев (род. 1942) – российский переводчик прозы и драматургии с итальянского языка.

Окончил истфак МГУ, получив специальность историка-международника. Сотрудничает с издательствами «АСТ», «Радуга», «Прогресс», «Махаон», «Иностранка», «Россмэн», «Рипол-Классик», «Текст», ИГ «Азбука-Аттикус» и другими, а также с журналами «Новый мир», «Иностранная литература», «Дружба народов», «Современная драматургия» и другими.

Член Союза писателей Москвы и русского ПЕН-клуба.

Владимир ФРУМКИН

ЧТО СВЯЗЫВАЕТ КОММУНИЗМ И ЛИБЕРАЛЬНУЮ ДЕМОКРАТИЮ

Не надоела ли свобода американцам?

Фразой подзаголовка с вопросительным знаком начиналось послесловие к моей статье «Хотят ли русские свободы», опубликованной в минувшем году в номере 2(6) журнала «Времена». Речь в постскриптуме шла о странном явлении, наблюдаемом в последние годы в странах Запада, которое можно определить как *добровольный тоталитаризм* – отказ от подлинного либерализма, ограничение гражданских свобод, в частности, свободы слова, и внедрение квазилиберальных принципов тотального равенства и упрощенно понимаемой социальной справедливости.

Моя новая статья в этом номере журнала развивает мотивы, намеченные в упомянутом послесловии. Вслед за ней публикуются (в моем переводе) фрагменты книги Рышарда Легутко* «**Демон в демократии: тоталитарные соблазны в свободных обществах**» (Ryszard Legutko. *The Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies*. Encounter Books. New York, London, 2016), а также выдержки из интервью с профессором Легутко, состоявшегося через полгода после выхода его книги в свет и через две недели после американских президентских выборов 2016 года.

* **Рышард Легутко** (род. в 1949 г. в Кракове) – польский философ, историк, писатель, государственный и общественный деятель. Профессор Ягеллонского университета (Краков). Многие работы Легутко переведены на европейские языки, но нашему читателю он практически неизвестен. Настоящая публикация впервые представляет этого незаурядного мыслителя русской-язычной аудитории.

Автор этого интереснейшего труда описывает происходящие в западных обществах тревожные изменения, но не ограничивается этим. Великолепное знание мировой истории и философских течений Запада позволяет ему пойти вглубь и обнаружить корни очевидных для многих, но труднообъяснимых явлений. А именно – изначально таившиеся в демократии тенденции и импульсы, которые присущи не только ей, но и тоталитарной идеологии, которая, казалось бы, абсолютно противоположна демократической концепции общества. Эти тенденции получили мощный толчок в результате молодежных революций, прокатившихся по западной Европе и Америке в 60-е годы XX века.

Профессор Легутко предсказывает два возможных исхода драмы, переживаемой сегодня в западном мире. Как увидит далее читатель, один из них – оптимистический, другой – не очень...

Мне представляется необходимым пояснить, что слово «либеральный» автор книги толкует большей частью не в его классическом, позитивном понимании, а в том значении, какое оно приобрело в последние десятилетия – левый, лево-радикальный, progressive. Как заметил известный американский политический комментатор Деннис Прагер, последним истинным либералом в США был убитый в 1963 году президент Джон Кеннеди – антикоммунист, поборник свободы, снижавший налоги ради процветания экономики (см. книгу: Dennis Prager. Still the best hope. Page 4).

Таким образом, когда Легутко говорит о либеральной демократии нашего времени, он имеет в виду демократию левого толка, близкую социалистическим принципам.

ПРИЗРАК БРОДИТ ПО АМЕРИКЕ...

Казалось, августовский путч навеки похоронил коммунистическую мифологию. Не торопитесь, ты ее в дверь, она в окно, теперь окно американское. Заступник американского пролетариата Берни Сандерс ... поднимет упавший в России факел.

Эдуард Бормашенко

*Беги от кумачёвых их полотен,
От храмов их, стоящих на костях...*

Александр Городницкий

Уезжая из СССР, я бежал от маршей. Так я говорил своим американским студентам, пытаясь объяснить, чем отличается закрепощенная культура от культуры свободного общества. Оба тоталитарных монстра XX века, говорил я им, Советский Союз и Германия, шагали в свое прекрасное будущее, увлекаемые подхлестывающим ритмом марша. Пристрастие к маршам сохранялось в России и в постсталинские годы, над страной продолжал звучать лапидарный, туповатый и лживый «Гимн Советского Союза». И настал момент, когда чаша моего терпения переполнилась...

«А почему в Америку поехал? – продолжал я. — Не догадываетесь? Потому что, в отличие от большинства стран, вы, американцы, сделали своим гимном не марш, а мелодию английской застольной песни в плавном и гибком ритме медленного вальса! Америка с самого начала росла на ритмах раскованных, синкопирующих, свингующих. Даже ваши марши – не те, что были заимствованы из имперской культуры британцев, а собственные, возникшие на родной почве, – звучат без тени милитаризма, легко, если не легкомысленно: под них не печатать шаг хочется, а фокстрот танцевать... Только поистине свободный народ мог создать такой национальный гимн, такие марши, такую музыку. И если ценишь свободу, мечтаешь о ней – бросай всё и вали туда!»

Студенты слушали эти мои рассказы с интересом, но и с некоторым скепсисом: их больше занимали и волновали изъяны *своей* страны, ее проблемы и болевые точки, нежели пороки далекой России, которые, в моем изложении, казались им порой чрезмерно сгущенными. При всем при том, предлагаемые ими решения американских проблем не выводили страну за рамки существующего строя, молодые критики властей требовали прекращения войны во Вьетнаме, выступали за расширение гражданских прав и ликвидацию остатков расизма, ратовали за экономические реформы. За более решительные, коренные преобразования выступали считанные единицы.

40 лет промчалось с тех пор, и я с трудом узнаю новую Америку. Она сильно сдвинулась влево. Опросы общественного мнения вызывают оторопь и отчаяние. Более 50 процентов молодых респондентов заявляют, что капитализм плох, его следует заменить социализмом. То есть отказаться от принципов свободной экономики, лишь слегка регулируемой государством, и ввести систему плотного государственного контроля, цель которого – перераспределить доходы, прижать высокими налогами чрезмерно преуспевающих и за их счет подкинуть благ отстающим.

Промежуточные выборы ноября 2018 года преподнесли нам сюрприз, граничащий с шоком: в Палате представителей впервые в истории Америки собралось значительное число политиков социалистического толка, которые тут же принялись выдвигать поражающие воображение проекты. Самый удивительный из них – к 2030 году полностью отказаться от ископаемых источников энергии. Для чего? Чтобы спасти планету от капризов климата, а человечество – от неизбежного вымирания. Уголь, нефть, природный газ, ядерные электростанции заменим ветряками и солнечными панелями. Выбросим на свалку свои автомобили, воздушный транспорт заменим сеть скоростных железных дорог. Ликвидируем крупный рогатый скот – коровы бесцеремонно загрязняют атмосферу вредным газом метаном. Стоимость затеи под названием Green New Deal? Автор проекта, молодая дама, называющая себя «демократической социалисткой» и ставшая кумиром нескольких миллионов участников социальных сетей, говорит, что обойдется он в триллионы и трил-

лионы долларов. И предлагает покрыть часть этой суммы, отобрав у богачей 70 процентов их доходов.

Другая молодая конгрессвумен считает, что для оплаты этого и других захватывающих дух проектов (среди которых – национализация всей системы здравоохранения и бесплатное образование) миллионеры должны отдавать государству гораздо больше – до 90 процентов заработанных денег. В том же ключе высказываются их однопартийцы постарше – демократы, которые включаются в президентскую гонку 2020 года. Сражаясь за внимание и симпатии избирателей, они стараются всячески перещеголять друг друга, доказывая, что их идеи – смелее, радикальнее, левее предложений их конкурентов.

С трибун всё чаще и громче звучит риторика, знакомая до боли, до тошноты. Не думал я и не гадал, что под конец жизни, половина которой прошла под властью утопии, придется снова встретиться с ее зловещим призраком. Нечто подобное испытал Наум Коржавин, приехав в Италию в начале 1974 года и увидев на улицах Рима демонстрантов с кумачовыми полотнами и прочей осточертевшей символикой. Когда мы познакомились перед его отлетом в Бостон, он вписал в мою записную книжку такой стишок:

*Везде, хоть бейся, хоть кусайся,
Здесь серп и молот, как в Москве.
И это мне серпом по яйцам,
И молотом по голове.*

Сегодня социалистический вирус медленно, но верно проникает в плоть и кровь Америки, а почему, в силу каких объективных причин – непонятно, ибо остается она, при всех ее болячках, противоречиях и проблемах, самой свободной, богатой и мощной страной Западного мира. Безработица снизилась до минимума, зарплаты растут, покупатели, судя по опросам и предпраздничным продажам, уверенно смотрят в будущее. И тем не менее, эмоции и симпатии многих моих сограждан дрейфуют всё дальше влево, к иллюзиям и мифам Совдепии.

Публицист и физик Эдуард Бормашенко полагает, что коммунистический миф, по сравнению с традиционными религиями, «плосок, скучен, примитивен». «Всем развитым религиям, – пишет он в статье, из которой я взял эпиграф к этим заметкам, – давным-давно известно, что препятствием к раю на Земле служит неисправимо кривая душа человека, а кто же выпрямит кривое? – спрашивал еще царь Соломон. А вот Марксу с Лениным это было невдомек. Они в самом деле были уверены в том, что, если отнять и поделить, всё как-то само-собой образуется. Оглушающе пошлая уверенность».

Согласен: рецепт устройства рая на Земле посредством «отнять и поделить» – примитивен, плосок и пошл. Но скучен ли? Так, как он изложен в «Капитале», да, скучен. «Товар-деньги-товар». «Прибавочная стоимость». «Пауперизация: абсолютное и относительное обнищание пролетариата». (Это марксово предсказание осуществилось! Только не в гнивающем капитализме, а в безнадежно гнившем советском социализме!). Бодяга такая, что скулы сводит. И если бы основоположники ограничились сухой теорией и не сочинили бы свой знаменитый «Манифест», воспитавший многие тысячи адептов коммунизма, марксизм непременно увял бы и заглох. У скучных идей недолгий век, а коммунистической миф живет себе и здравствует. Одна из причин этого в том, что у проповедников земного рая хорошо подвешены языки. Они умеют рекламировать свой товар.

«В нашей стране полно денег, – провозгласил недавно мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио. – Полно их и в нашем городе. Но находятся они не в тех руках!» Зажигательная тирада мэра, который когда-то оказывал активную помощь никарагуанским сандинистам, была встречена бурной овацией.

“In the wrong hands!” В плохих, «неправильных» руках. Из которых деньги следует забрать и передать в правильные руки. Трудовые, мозолистые. В полном соответствии с марксистско-ленинским учением о классовой борьбе. У основоположников этот рецепт спасения человечества звучал несколько иначе: «Экспроприация экспроприаторов». Осенью 1917 года, в канун октябряского пере-

ворота, Ленин обнародовал свою вариацию классического лозунга: «Грабь награбленное!» И вскоре получил нагоняй от не в меру щепетильных товарищей по партии, шокированных допущенными Ильичем «непарламентскими выражениями». Ленин с ними решительно не согласился. В лозунге «грабь награбленное», заявил он, «я не могу найти что-нибудь неправильное, если выступает на сцену история. Если мы употребляем слова экспроприация экспроприаторов, то почему же здесь нельзя обойтись без латинских слов?» Так и есть, Владимир Ильич, спите спокойно, всё было правильно, лозунг сработал отлично. Как и другой ваш шедевр: «Власть – народу! Землю – крестьянам! Фабрики – рабочим!» У противников вашей революции не было таких лозунгов, как не было и агитаторов большевистского калибра.

«Красные армии разбили белых... отчасти потому, что ораторская подготовка заменяла в Красной армии артиллерийскую подготовку, – заметил однажды философ Григорий Померанц. – Мне рассказывал товарищ по нарам, солдат 1920 года, какое потрясающее впечатление производил приезд оратора № 1 или № 2 (то есть Троцкого и Ленина – В.Ф.). Речь равна была по силе пятистам орудийным стволам, сосредоточенным на километре прорыва... Короче: красные победили белых потому, что овладели искусством красноречия».

Красные учились этому искусству у революционеров прошлого, в частности у тех, кто совершил Великую французскую революцию. Ее лозунги и призывы – лаконичные, броские и волнующие («Свобода! Равенство! Братство!» «Мир хижинам, война дворцам!»), как и ее песни, оставили заметный отпечаток на риторике русских социалистов. Они подхватывали и пускали в дело лозунги, обращенные не столько к разуму, к логике, сколько к чувству, вселяющие бесстрашие и лютую ненависть. «На воров, на собак, на богатых! / Да на злого вампира царя! / Бей, души их, злодеев проклятых! Засветись лучшей жизни заря!» – призывала народ русская «Марсельеза», написанная революционером-народником Петром Лавровым в 1875 году.

Жаль, не туда смотрели русские революционеры, не к тому источнику приникли. Обратись они к урокам американской революции, начавшейся за 14 лет до французской, куда счастливее сложилась бы судьба России.

Вспомним, как начинается важнейший, ключевой документ этой революции, Декларация независимости, написанная Томасом Джефферсоном летом 1776 года:

«Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью».

Звучит красиво, но сдержанно, без эмоциональных излишеств. Сжато, в одном коротком предложении, изложена суть задуманного отцами-основателями общественного устройства. В центре которого – гражданин, наделенный неотъемлемым правом на жизнь, свободу и стремление к счастью. Да, Творец создал людей равными, но равенство это – в одинаковых для всех правах и в равных *возможностях*. Каждый волен строить свое счастье – и он сам, а не государство, несет ответственность за достигнутый им уровень процветания.

Современный американский консерватизм зиждется на принципах, записанных в Декларации независимости, и на законах, вошедших в Конституцию. Между тем, американские левые считают, что многие из этих принципов устарели и что Конституция есть не нечто застывшее и неизменное, она – “living document”, нуждающийся в непрерывном обновлении. Ее следует менять, а не просто изредка дополнять в принимаемых конгрессом поправках. Менять *фундаментально*, приспособляясь к меняющимся ценностям американского общества и способствуя его прогрессу. При этом левые безоговорочно верят в неостановимость прогресса и принципиальную решаемость всех проблем человеческого бытия. “We shall overcome!” – поется в песне, ставшей неофициальным гимном американских левых.

Феномен политической корректности, бросившей дерзкий вызов свободе слова, этой основе основ всех американских свобод, есть, по существу, причудливый продукт этой веры. Ибо происходящая сегодня у нас Великая чистка языка – чудовищное лингвистическое самооскопление – зиждется на убеждении, что все несправедливости и несовершенства жизни (кроме, пожалуй что, неизбежности смерти) безусловно устранимы. Достаточно вообще не называть неприятное явление, или ловко переименовать его, – и дело сделано, изъясн исправлен.

Крайне неприятен, к примеру, тот факт, что не все люди рождаются одинаково умными. Булат Окуджава, как известно, посчитал этот факт забавным и поучительным: в мире, мол, «на каждого умного – по дураку, всё поровну, всё справедливо». На самом же деле, полагают приверженцы левой идеологии, никаких таких «дураков» не существует, обидное словечко родилось в отсталом, грубом, эксплуататорском обществе прошлого. Не дураки это вовсе, а люди, которым для того, чтобы дотянуться до умных, нужны дополнительные интеллектуальные усилия. Посему и называть их следует так – *intellectually challenged*. И инвалидов у нас нет, вместо них есть *physically challenged*, «обладатели физических ограничений». А кто такие *mentally challenged* в американской версии новояза? Правильно, бывшие «душевно больные».

Левая риторика проникнута бодростью упругих мажорных маршей, ее простые, легко доступные формулы зовут вперед, к лучшему, более справедливому будущему, где все богаты, здоровы, красивы и счастливы. Риторика консерваторов более сложна и напоминает музыку, где есть и мажор, и минор, свет и тень, консонансы и диссонансы. В нее надо вслушиваться, думать, сопоставлять, делать выводы. Она рассчитана на людей, обладающих здравым смыслом и готовых нести на своих плечах бремя свободы и личной ответственности за свою судьбу. На людей, не склонных поддаваться беспочвенным иллюзиям и понимающих, что успеха в этой жизни можно добиться только ценой собственных усилий.

Сегодня левые переживают период бури и натиска, они более пассионарны, чем их идейные противники. В активе консерваторов – реальные факты, цифры, статистика, показывающая, что послеобамовская экономика, освобожденная от высоких налогов и множества ограничительных правил и предписаний, преуспевает значительно лучше прежней. Однако эти данные дружно замалчивает пресса, почти сплошь поддерживающая левых демократов и не скрывающая своего отвращения к республиканцам. Мощной питательной средой левизны служат также школы и университеты, в которых, за редкими исключениями, преподают сторонники левых идей, многие из которых симпатизируют марксизму.

Есть еще один фактор, работающий в пользу левых – демографический. Америка принимает ежегодно миллион легальных иммигран-

тов, которые медленнее усваивают американские ценности, чем это было в прошлом. Наша страна перестала быть плавильным котлом. «И слава богу! – радуются поборники «прогресса», навязывающие нам безумие политкорректности. – Приезжающие должны сохранять свою культуру, свои ценности, свой язык!» Попробуйте публично высказаться за то, чтобы дети иммигрантов успешнее и быстрее овладевали английским языком, как это недавно сделал ветеран американской тележурналистики Том Брокоу, – левые радикалы моментально навесят на вас ярлык расиста! Попробуйте выступить за быстрейшую культурную ассимиляцию новоприезжих – и вам объяснят, что вы неисправимый расист, белый супрематист и враг священного принципа под мудреным названием «мультикультурализм».

И дело здесь отнюдь не только в идеализме этих крикунов. Помимо склонности к иллюзиям и политическому романтизму, ими движет простой расчет: чем хуже новые граждане усвоят такие свойства американского характера как индивидуализм, свободолюбие, неприятие иждивенчества, предприимчивость, тем лучше они будут вести себя возле избирательных урн. То есть отдадут свои голоса демократической партии и помогут навсегда оттеснить от власти республиканцев. «А почему бы не привлечь к этому благому делу мигрантов, нелегально переходящих нашу южную границу?» Эта светлая мысль родилась недавно в головах некоторых демократов, считающих, что пора покончить с дискриминацией «недокументированных» мигрантов и разрешить им участвовать в выборах. Потому как эти люди живут среди нас, трудятся в поте лица и платят налоги. По той же причине и укрепление границы нам ни к чему. Особенно же – при помощи стен или барьеров. Так что, братцы, Welcome to the United States! Устраивайтесь кто как может. И – голосуйте!

Отчаянная борьба демократов против возведения стены, обещанной Трампом своим избирателям в 2016 году, имеет еще одну цель: лишив президента возможности выполнить едва ли не главное предвыборное обещание, подорвать его шансы на переизбрание в 2020 году.

Надо же: идеалисты, мечтатели, прожектеры, а в вопросах власти – только держись. Тут они – реалисты, прожженные прагматики, мастера. Опасная комбинация, ленинский коктейль. И может быть, поэтому так тревожно на душе...

.....

Вернемся теперь к книге Рышарда Легутко.

**ДЕМОН В ДЕМОКРАТИИ:
ТОТАЛИТАРНЫЕ СОБЛАЗНЫ В СВОБОДНЫХ ОБЩЕСТВАХ**

ПРЕДИСЛОВИЕ

Джона О'Салливана, редактора журнала *National Review*,
вице-президента радио Свободная Европа и Свобода
(сокращенная версия)

На первых страницах этой важнейшей книги Рышард Легутко описывает странное явление, происходившее в странах Центральной и Восточной Европы после падения Берлинской стены в 1989 году: бывшие коммунисты легче и успешнее, чем бывшие диссиденты, приспосабливались к возникшим там либерально-демократическим режимам. Этот феномен заметили и другие, но объясняли его либо тем, что у бывших коммунистов было больше административного опыта, либо правилами переходного периода, которые требовали временного сохранения власти номенклатуры, либо тем, что именно коммунисты завладели приватизированными государственными предприятиями, благодаря чему получили больше влияния на СМИ и правительство.

Эти практические факторы, несомненно, сыграли свою роль. Однако они не объясняют, почему продолжавшееся доминирование старой номенклатуры встречало столь малое *моральное* сопротивление в посткоммунистических демократиях. Совсем наоборот: слегка перекусившись в социал-демократов или либеральных демократов, коммунисты смогли возглавить происходившие в обществе дебаты и сформировать правительства! В Западной Европе бывшие коммунисты оказались более подходящими в качестве партнеров в области бизнеса или политики, нежели бывшие диссиденты. В Центральной и Восточной Европе дело выглядело так, будто демократы-антикоммунисты представляли большую опасность для новых демократических режимов, чем люди, еще вчера бывшие заклятыми врагами демократии...

Профессор Легутко известен как польский и европейский политический деятель и как талантливый философ, который одно время был редактором подпольного философского журнала движения «Солидарность», где проявил преданность правде и свободе. Выводы, к которым он приходит в этой книге, удивили его самого. Читая ее, мы узнаём, что за последние десятилетия либеральная демократия приобрела ряд тревожных черт, роднящих ее с коммунизмом. Одна из них – утопизм, вера в свою конечную повсеместную победу. Обе системы прибегают к «социальной инженерии», пытаются трансформировать общество в желательном направлении. Наталкиваясь на естественное сопротивление, они затевают бесконечную борьбу с всевозможными человеческими склонностями и пороками, в результате чего либеральная демократия, следуя за марксизмом, постепенно превращается в идеократию и, на словах проповедуя терпимость, всё менее терпимо относится к инакомыслию.

На первый взгляд всё это может показаться абсурдом. Однако, читая главу за главой, – об истории, политике, религии, образовании, идеологии, – мы получаем веские доказательства того, что трансформация свободного общества в несвободное происходит на самом деле. Именно *трансформация*. Ибо режим, описываемый в этой книге, уже не является либеральной демократией в том виде, как ее понимали, к примеру, Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди или Рональд Рейган. Их идеалом была мажоритарная демократия, опирающаяся на гарантированные конституцией свободы: свободу слова и ассоциаций, независимую прессу и другие свободы, необходимые для подлинных дебатов и честных выборов.

Одно из главных отличий новой модели демократии заключается в ее меньшей открытости. Она стремится подчинить общественные институты и политику своим идеологическим установкам, что проявляется, в частности, в наступлении на свободу слова – основу основ либеральной демократии. Другое отличие заключается в возросшей роли неизбираемых органов власти – судов, которые стремятся издавать законы вместо того, чтобы заниматься их интерпретацией, а также в усилившейся власти таких межнациональных институтов, как ООН и Европейский союз.

В результате избирателям становится всё труднее выбрать предпочитаемые ими политические решения, и это вызывает у них

растущее недовольство новыми структурами власти. В западных демократиях назревает необходимость в дебатах о том, насколько законны эти новые структуры. Выдающийся труд польского философа поможет участникам диспута лучше понять, где мы допустили ошибки и как их можно исправить.

АВТОРСКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ (сокращенная версия)

Моя книга – об общих чертах, присущих коммунизму и либеральной демократии. Мысль о сходстве между ними пришла мне в голову в 70-е годы прошлого века, когда я получил возможность выезжать из Польши в страны Запада. Встретив там моих друзей, считавших себя преданными сторонниками либеральной демократии, я был поражен, что многие из них проявляли невероятную мягкость и даже симпатию по отношению к коммунизму. До этого мне казалось, что естественной реакцией либерального демократа на коммунизм должно быть безоговорочное и решительное осуждение.

Вначале я подумал, что этот анти-антикоммунизм, выражавшийся в терпимом отношении к коммунизму и жестком неприятии антикоммунизма, порожден либо страхом перед мощью СССР, либо желанием избежать глобальной войны, которую могла вызвать конфронтация с коммунизмом. Позднее я пришел к мысли, что это предположение не может полностью объяснить то невероятное возмущение, которое вызывал антикоммунизм у этих моих друзей – возмущение, явно превосходившее по своему накалу негативные эмоции политического свойства. Наконец, я набрел на гипотезу, согласно которой коммунизм и либеральная демократия связаны какими-то более глубокими принципами и идеями.

Эта мысль, однако, показалась мне чересчур экстравагантной, и у меня не хватало ни решимости, ни знаний, чтобы заняться ее разработкой. Более того, я, житель страны советского блока, воспринимал Запад как наилучший из возможных миров. Сравнить его с коммунизмом казалось мне чем-то вроде богохульства.

Мысль о сходстве этих двух систем вернулась ко мне в 1989 году, когда в Польше возник новый, посткоммунистический режим, и – одновременно с зарождением либеральной демократии – в

политической жизни страны видную роль приобрели сторонники коммунизма. Они выдержали трудный «вступительный экзамен» и были приняты в новую политическую реальность, в то время как бывшие враги коммунизма были восприняты как угроза. Это было время, когда бывшие номенклатурщики уничтожали архивы, содержащие информацию об их деятельности, и занимали в руководстве политикой и экономикой лучшие позиции, чем мы, противники прежнего режима.

Гостеприимство, проявленное по отношению к коммунистам новой политической элитой Польши, носило, отчасти, тактический характер: она не хотела оставлять за бортом системы обширную часть польского общества. Но были и веские идеологические причины: уверенность, что коммунисты приспособятся к новым обстоятельствам и превратятся в лояльных и искренних игроков либерально-демократического действия. Так оно и оказалось: бывшие коммунисты великолепно адаптировались к новой системе и вскоре присоединились к ведущим адептам демократической веры. Те же самые газеты, которые годами призывали пролетариев всех стран соединиться для борьбы с капитализмом, начали с той же страстью звать народ на защиту либеральной демократии от сил тьмы, в частности – от антикоммунистов!

Вскоре в новой системе прорезались черты, которые большинство аналитиков проигнорировали, а некоторые, включая меня, посчитали весьма и весьма тревожными. Так, в начале 1990-х стало очевидно, что нарождающаяся либеральная демократия существенно сузила область дозволенного. Невероятно, но факт: в последний год существования коммунистического режима мы чувствовали себя более свободными, чем после воцарения нового порядка! Ощущение открытости всех дверей и доступности всех возможностей испарилось под напором новой риторики о необходимости определенных ограничений. Вслед за этим я пришел к еще более печальному выводу: эта ограничительная тенденция просматривается не только в посткоммунистическом мире, но и на протяжении всей истории западной цивилизации.

Эта моя догадка подтвердилась чуть позже, когда я стал работать в Европейском парламенте. Там, изнутри, мне открылось то, что ускользает от внимания многих сторонних наблюдателей. Если Ев-

ропейский парламент должен отражать дух сегодняшней либеральной демократии, то в этом духе нет ничего хорошего: он содержит в себе много отталкивающих черт, сближающих его с коммунизмом. Даже при поверхностном контакте с институтами Европейского союза нетрудно ощутить удушающую атмосферу, присущую политическим монополиям, заметить специфику употребляемого там языка, превращенного в новую форму оруэлловской новоречи, увидеть бескомпромиссную враждебность ко всем инакомыслящим плюс ряд других особенностей, хорошо знакомых тем, кто жил под властью коммунистической партии.

И тут возникает вопрос: можно ли, в принципе, сравнивать две системы, одна из которых была преступной, тогда как вторая, при всех ее недостатках, предоставляет своим гражданам множество свобод и прочную правовую защиту? В самом деле, разница между вчерашней и сегодняшней Польшей настолько велика, что отрицать это может только сумасшедший. В новой, некоммунистической Польше действует несколько партий, отсутствует цензура, ее экономика гораздо более свободна, чем была при коммунистах, ее граждане, как и другие жители Восточной Европы, могут ездить в любые страны мира. В прежней Польше автор этой книги не смог бы ни опубликовать свои труды, ни получить работу в государственном учреждении, куда его пригласили после падения коммунистического режима.

И всё же, несмотря на фундаментальные различия между двумя системами, нам необходимо разобраться в том, почему им свойственны сходные черты, и в силу каких причин они становятся всё заметнее и глубже. Левые демократы охотно говорят об опасностях, которые угрожают демократии: о ксенофобии, национализме, нетерпимости, фанатизме. В то же время они полностью игнорируют тенденции, которые были присущи коммунизму и которые становятся всё более заметными в демократических обществах.

Остается предположить, что между либеральной демократией и коммунизмом имеет место своего рода взаимодействие. Наиболее очевидная связь между ними заключается в свойственном обоим системам стремлении переделать реальность, изменив ее к лучшему. Перед нами, говоря современным языком, модернизационные проекты: в обоих режимах господствует культ технологии, что про-

является в использовании социальной инженерии как средства переделки общества, изменения человеческого поведения и решения социальных проблем. При этом считается, что общество и окружающий мир постоянно нуждаются в строительстве нового и реконструкции старого. Например, в том, чтобы повернуть вспять течение сибирских рек, как это планировалось в СССР. Или в создании альтернативной модели семьи, что происходит сегодня в западных демократиях.

Далее, оба режима противопоставляют себя прошлому и подчеркивают свое стремление к прогрессу. Все происходящие события оцениваются с точки зрения их связи со старым и новым. Новизна ценится выше, к старому относятся с подозрением. Осуждаемое явление неизменно называется словом, указывающим на его принадлежность к старине: «суеверие», «средневековый», «отсталый», «анахронизм». Самые подходящие слова для похвалы – «новый», «модерный», «современный», «передовой». Всё должно быть новым: мышление, понятие семьи, образование, литература, философия. То, что не ново, следует модернизировать или выбросить в «мусорный ящик истории». Именно поэтому коммунисты – вечные борцы за прогресс против отсталости – так быстро нашли союзников в либеральной демократии, где борьба за прогресс является ведущей идеей и где понимание противостоящего прогрессу устарелого прошлого – такое же, как у коммунистов.

Обе системы считают необходимым освободиться от тормозящих прогресс влияний религии и традиционной морали. Отказываясь от традиций, оба режима быстро теряют историческую память, отворачиваются от прошлого. Коммунисты, придя к власти и объявив, что они начинают историю заново, принялись за искоренение памяти. Между тем противники нового режима повели борьбу за сохранение памяти о прошлом: они отлично понимали, что потеря памяти укрепляет коммунистический режим, так как беспамятство делает людей беззащитными и податливыми. Как навязанная властями амнезия помогает формированию нового человека, блестяще показано в антиутопиях XX века — «1984» и «Прекрасный новый мир». К сожалению, уроки, преподанные нам Оруэллом и Хаксли, были быстро забыты. Когда в Польше пал коммунизм и возникла либеральная демократия, память вновь стала одним из главных вра-

гов. Новая власть объявила ее тормозом, затрудняющим модернизацию общества.

В этой книге рассматриваются эти и другие «переключки» между коммунизмом и либеральной демократией. В ней также ставятся два вопроса: 1. Лежит ли что-либо в основе этих, на первый взгляд, столь различных систем, что порождает совпадения между ними, и 2. Какие выводы могут сделать те из нас, кто живет в условиях западной демократии, но хорошо помнит годы, прожитые в коммунистических диктатурах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О сходстве между коммунизмом и либеральной демократией можно судить с двух точек зрения – узкой и широкой. Узкий подход может привести к грустному выводу: современный западный мир так никогда и не понял по-настоящему опыт коммунистических режимов, а если и понял, то не воспринял его со всей серьезностью. Более широкий взгляд на проблему может привести к еще более грустной мысли: сходство между этими двумя режимами произрастает из одного общего корня, а именно – из определенных, и притом не самых лучших, склонностей человека Нового времени, которые неизбежно проявляют себя в условиях различных политических систем. Обе системы, коммунизм и либеральная демократия, искренне считались величайшей надеждой человечества, и это многое говорит об устремлениях и мечтах современного человека.

Как показано в моей книге, человек, послуживший вдохновляющей силой для обоих режимов, был посредственностью, причем не по своей природе, а, так сказать, по замыслу: от него с самого начала ожидалось, что он будет безразличен к великим моральным вызовам и глух к опасностям морального падения. Это понимание человеческой природы, возникшее в противовес классической и христианской концепции человека, смогло за несколько столетий вытеснить все другие точки зрения. Как для коммунизма, так и для либеральной демократии человек – существо, наделенное обыкновенными, заурядными качествами, благодаря чему он воспринимает мир упрощенно и поэтому склонен низводить искусство, идеи и образование до своего понимания, более узкого по сравнению с человеком предыдущих эпох.

Позволю себе поделиться личными наблюдениями.

Поляки смогли увидеть коммунистического человека во всем его великолепии, когда он приехал на советских танках и начал внедрять новый режим в стране, разрушенной и терроризированной в годы немецкой оккупации. Этот **homo novus**, необразованный, грубый, примитивный, презиравший традиции, историю, культуру, всё, что отличалось тонкостью, благородством, элегантностью, красотой и духовностью, принялся за искоренение общественных классов: землевладельцев, среднего класса, крестьянства, аристократии и даже рабочего класса, чьи интересы этот новый человек якобы представлял. Он вручил коммунистической партии свою волю и свою душу и взамен получил от нее безграничную власть и такое понимание окружающего мира, которое казалось ему абсолютным. Он делал свою работу с ничем не смягчаемой беспощадностью. Польское общество прошло через глубокий и во многом необратимый процесс разрушения культуры. Общество огрубело, социальные нормы потеряли свою силу, красоту сменило уродство.

Казалось, что страной завладели варвары. Позднее коммунистический человек обрел некое подобие внешнего лоска, что, однако, ничуть не отразилось на его сущности. Принесенный им вред был необратим. Поразительные результаты советского варварства, запечатленные в польском языке во множестве красочных выражений, затронули все страны, оказавшиеся в руках коммунистов.

Когда коммунистический режим окреп и аппаратчики советского типа вышли на пенсию или были смещены, пришло новое поколение коммунистов, не менее вульгарное, чем их предшественники, но определенно не столь жестокое. Новые начальники стали насаждать коммунистическую новоречь, отвечающую уровню их воображения и их умственным способностям. Нехватка образования не мешала им ловко лавировать в сложной системе коммунистической бюрократии и бороться за свою долю привилегий, материальных благ и власти.

Вторая волна варварства нахлынула на нас сразу же после падения коммунистического режима. Многие из нас наивно надеялись, что вслед за исчезновением старого режима будет восстановлена значительная часть уничтоженных им социальных структур, и что это попытаются сделать свободно избранные правительства вме-

сте с избавившимся от пут обществом. По меньшей мере, думалось нам, появление свободного пространства поможет обществу – как это было в период Солидарности (1980-1981) – вновь устремиться к благородным целям, выброшенным на свалку коммунистическим режимом. Увы, тех, кто лелеял эту надежду, ждало разочарование. Вместо благих перемен мы увидели вторжение другого племени новых людей, неугомонных и беспощадных. Островки свободы, возникшие в результате краха старого порядка, были почти немедленно заняты людьми, которые, казалось, явились ниоткуда, к тому же в таком количестве, что их победа выглядела как блицкриг...

Они – и это поразило многих из нас – происходили из западной либеральной демократии и были как бы злой пародией на некоторые ее черты. Конечно, новый порядок отличался от старого, коммунистического, однако, при всех различиях, этот новый порядок выступил против тех же общественных структур, моральных норм и практики, против которых была направлена коммунистическая власть. Жизнь подверглась дальнейшей вульгаризации, а те немногие социальные нормы и практики, которые выжили при прежних варварах, стали объектом атак со стороны нового варварства. Уродство коммунистической Польши не исчезло, и красота оставалась такой же редкостью, как и прежде. В новых варварах не было прямого сходства с большевиками или советскими головорезами, хотя их некоторые взгляды порой напоминали взгляды их предшественников.

Их вульгарность была, так сказать, вульгарностью второго порядка, по сравнению с тем, что мы видели в коммунистической Польше: та вульгарность отдавала чем-то первобытным... То, что произошло в либеральной демократии, не было результатом отсутствия культуры и не пришло из сфер, лежащих за пределами западной цивилизации. В ней не было вульгарности коммунистов. Между тем, новое варварство либеральной демократии явилось продуктом Запада, который в определенный момент своей истории обратился против собственной культуры. Он потерял уважение к своим достижениям и проникся презрением к тому, что считалось приемлемым и приличным. Говоря упрощенно, коммунистическая вульгарность была докультурной, тогда как вульгарность либеральной демократии есть феномен посткультурный.

В обоих режимах заурядность человека компенсируется образом большой, хорошо налаженной системы, которая добивается общей цели – равенства для всех, мира, процветания и т.д., и тем самым освобождает людей от необходимости стремиться к идеалам, которые, с точки зрения данной системы, представляются излишними. Не удивительно поэтому то значение, которое придавал словам «коммунизм», «социализм», «марксизм» коммунистический человек и которое придает слову «демократия» человек либерально-демократический. Первый любил произносить такие фразы, как «но при коммунизме», «потому что при социализме» и т.п., а примененный им в споре «марксистский аргумент» считался окончательным и неопровержимым. Второй гордо произносит «но в демократии», «потому что в демократии», и «демократический аргумент» опровергает все другие аргументы. Слова «коммунизм» и «социализм», «коммунистический» и «социалистический» применялись первым так же часто, как второй применяет слова «демократия» и «демократический». При этом неумеренное использование этих терминов считается не признаком интеллектуальной и нравственной капитуляции, а проявлением независимости, мужества и решимости. Для заурядного человека полное отождествление себя с системой – простейший способ обретения веры в свою исключительность.

Вопреки широко распространенному мнению, мир сегодняшней либеральной демократии во многих важных аспектах не так уж сильно отличается от мира, о котором мечтал, но так и не смог построить коммунистический человек. Различия между ними несомненны, но не столь значительны, чтобы их мог с благодарностью и безоговорочно принять человек, живший в одной системе и затем оказавшийся в другой.

Мы вряд ли ошибемся, если скажем, что мечта современного человека осуществилась, или, по более скромному предположению, находится на пути к осуществлению. Он сумел избавиться от важных обязанностей, сильно затруднявших его жизнь, и, похоже, собирается разделаться с теми, которые еще остаются. Всё это, однако, нисколько его не печалит. Его не тревожит ни идеологическая вакханалия, которая парализует его сознание оупляющими стереотипами, ни политизация, ни стерильность культуры, ни триумф вульгарности. А если он и замечает всё это и испытывает

дискомфорт, если он вспомнит, что нечто подобное происходило в коммунистических странах, он все равно сохраняет спокойствие и убеждает себя, что заменить нежелательные явления чем-либо иным невозможно, а если всё же попытаться это сделать, результаты будут катастрофическими – по причинам, о которых он даже не хочет думать.

Так что либеральные демократы по-своему правы, говоря о конце истории и о том, что если мы хотим сохранить удовлетворяющий нас порядок вещей, нам следует оставаться в рамках той же системы. Не исключено, конечно, что будут изобретены какие-то новые права, чтобы добиться еще большего равенства; что идеология феминизма и подобные ей идеологии выступят с еще более абсурдными притязаниями; и что люди, гордящиеся независимостью своего интеллекта, смирятся и проглотят всё это. Нас не удивит, если в литературе будет нарастать бессодержательность, если призывы к разнообразию станут еще крикливее, силясь прикрыть усиливающееся единообразие. Всё сказанное будет еще одной сценой в финале длинной драмы, начавшейся на заре новейшей истории. В этом финале осуществится и то, о чем мечтали и коммунисты, но, к великому сожалению их сторонников, так и не добились: полная интеграция, слияние человека с режимом и режима с человеком.

Мы не знаем, обогатится ли история человечества какими-либо новыми главами. Здравый смысл подсказывает, что это вполне возможно. Но речь идет не о новых импульсах, модах, переменах настроений, крупных событиях и других непредсказуемых факторах, которые всегда влияли на ход истории и на ее восприятие людьми. Дело в том, **что истинный сдвиг произойдет только тогда, когда нынешний взгляд на человека исчерпает себя и обнаружит свою неадекватность. Это может случиться либо в результате нового опыта, либо благодаря возрождению импульсов, издавна дремавших в коллективном сознании, что позволит людям по-иному взглянуть на человеческую судьбу и мечты, при помощи которых они выражают свои устремления.**

Такой ход событий, в принципе, вполне возможен, несмотря на то, что многие сегодня реагируют на эту идею с раздражением и насмешками. И прежде всего – те, кто разучился размышлять о загадочных странствиях человеческого духа и панически страшится

покинуть безопасные пределы либерально-демократической ортодоксии.

Но существует и другая возможность. Не исключено, что развязка последней главы новейшей истории не имеет вариантов, а явится как воплощение подлинной, заурядной сути современного человека, который после множества приключений, провалов и подъемов, ликований и бедствий, после погони за различными химерами и потворства всяческому соблазнам, осознает, наконец, кто он есть на самом деле.

Если это произойдет, в человеческой истории не случится фундаментальных перемен. Останется единственный вариант – перемены к худшему. Такой финал станет для некоторых утешающим свидетельством того, что человек в конце концов научился жить в нерушимой гармонии со своей природой. Для других это будет конечным подтверждением того, что их заурядность непреодолима.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ РЫШАРДА ЛЕГУТКО

редактору журнала *The American Conservative* Роду Дрейеру

Р.Д. Культурные институты Америки – особенно университеты, СМИ и развлекательная индустрия – исповедуют левую идеологию. В своей книге вы пишете, что «свобода вряд ли возможна, если она не опирается на наследие античности, на христианство, схоластику и многие другие компоненты западной цивилизации». Можем ли мы рассчитывать на возвращение к корням нашей цивилизации, если формирующие культуру институты так враждебно настроены по отношению к ней?

Р.Л. Это правда, что мы живем в эпоху почти полного господства одной ортодоксии, которой свято следует большинство интеллектуалов и артистической элиты, и что эта ортодоксия – своего рода либеральный прогрессивизм – всё менее связана с основами западной цивилизации. Это, пожалуй, более очевидно в Европе, чем в Соединенных Штатах. В европейских странах само понятие «Европа» постоянно отождествляется с Европейским Союзом. Сегодня фраза «нам нужно больше Европы» не значит, что нам нужно больше классического образования, больше латыни и древнегреческого

языка, больше знаний о классической философии. Нет, это значит, что мы должны дать больше власти Европейской Комиссии... Неудивительно, что люди все чаще ассоциируют Европу с Европейским Союзом, а не с Платоном, Фомой Аквинским или Иоганном Себастьяном Бахом.

Мы видим, что те, кто хочет укрепить влияние классической культуры или вернуть его в современный мир там, где оно утрачено, не находят союзников в либеральных элитах. Либерал скорее отстранится от классической философии и христианства, чем будет отстаивать их незаменимость в процессе воспитания западного ума. В конце концов, скажет он, эти учения созданы давным-давно в недемократическом и нелиберальном мире мужчинами, которые презирали женщин, держали рабов и серьезно относились к религиозным суевериям. Но дело здесь не только в либеральных предвзвесах современных левых. Разрыв с классической традицией – отнюдь не недавний феномен: мы уже довольно давно находимся в мире, где этой традиции нет и в помине.

Вряд ли можно надеяться, что перемены к лучшему произойдут в условиях демократии. Если учесть, что во всех западных странах образование уже давно переживает кризис, сама мысль о возвращении классического образования в школы, где молодые люди едва умеют читать и писать на родном языке, покажется весьма сомнительной. И всё же я никак не могу согласиться с выводом, что мы обречены на жизнь в обществе, где новое варварство становится нормой.

Как же, в таком случае, мы можем повернуть вспять этот процесс? В странах, где образованием ведаёт государство, это могло бы сделать правительство, используя экономические и политические инструменты, стимулирующие желательные перемены. В Соединённых Штатах, я полагаю, роль государства в этой области значительно меньше, чем в Европе. Однако европейские правительства, включая консервативные, не добились пока заметного успеха в попытках остановить деградацию системы образования.

Р.Д. Вы пишете, что либералы более склонны сражаться со своими нелиберальными противниками, чем вести диалог с ними. Теперь даже некоторые левые признают, что их борьба

за политкорректность, мультикультурализм и так называемое «diversity», «разнообразии», способствовала победе Трампа на президентских выборах.

Р.Л. Либерализм, вопреки своим громким заявлениям, никогда не способствовал истинному разнообразию и плюрализму. На самом деле, он порождает единообразие и единодушие. Либерализм желает, чтобы либеральными были все и всё, и нетерпим ко всем и всему, что не является либеральным. Поэтому либералы видят повсюду врагов. Во всяком, кто не согласен с ними, они видят не оппонента, у которого могут быть другие взгляды, а потенциального или настоящего фашиста, гитлеровца, ксенофоба, националиста или, как часто говорят в Евросоюзе, популиста. И эта отпетая личность заслуживает осуждения, насмешек, унижения и оскорблений.

Либералы одобряют только такие выборы, в которых побеждает «правильная» партия.

Либералы ведут атаку на тех, кого, как они считают, не следовало избирать, и на тех, кто за них голосовал. Это будет продолжаться до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что перемены, происходящие в Европе и Соединенных Штатах, не являются временными и эфемерными, и что у нас есть жизнеспособная альтернатива, которая не улетучится тогда, когда демократический маятник качнется в следующий раз. Однако эта альтернатива всё еще находится в стадии формирования, и мы еще не знаем, каким будет конечный результат.

P.S.

Обнаружил в интернете новость из Вермонта: Заголовок статьи гласит: «Колледж Миддлбери отменил лекцию польского политического деятеля Рышарда Легутко. Провален еще один тест на соблюдение свободы слова». (<https://reason.com/2019/04/18/middlebury-college-ryszard-legutko-speech/>)

А мы добавим: «И получено еще одно подтверждение того, что диагноз, поставленный профессором Легутко в его книге, верен и неопровержим». Как ни печально это сознавать, демон, затесавшийся в либеральную демократию, продолжает делать свое грязное дело...

Владимир Фрумкин – известный музыковед, журналист, эссеист. Закончил теоретико-композиторский факультет и аспирантуру Ленинградской консерватории, в 1957 году был принят в Союз советских композиторов.

Среди опубликованных работ – «От Гайдна до Шостаковича» (очерк истории симфонии), «Особенности сонатной формы в симфониях Шостаковича», «Песня и стих» (о музыкально-поэтическом стиле Булата Окуджавы). В начале 60-х годов стал заниматься исследованием и распространением песен Булата Окуджавы, Александра Галича, Новеллы Матвеевой, Юлия Кима и других поэтов-певцов.

В 1974 году эмигрировал в США, где опубликовал два сборника песен Б. Окуджавы с нотной строчкой и буквенным обозначением гармонии (издательство «Ардис», 1980 и 1986). Преподавал в Оберлинском колледже (штат Огайо), в Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт), с 1988 до 2006 года – сотрудник Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне.

В 2005 году в издательстве «Деком» (Нижний Новгород) вышла книга «Певцы и вожди», в которой автор размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы и о возникшей после смерти Сталина альтернативной, свободной песенной культуре.

В. Фрумкин живет в Маклейне – вирджинском пригороде Вашингтона.

Яков ФРЕЙДИН

ТЕОРИЯ ГЛУПОСТИ

Вот опять тянет меня писать о дураках. Почему, спрашивается, хочу писать о глупых, а не об умных? Про умных-то ведь рассуждать приятнее, они интереснее, полезнее, умнее, наконец. Да и себя можно выставить в лучшем свете, если с умом про умных поговорить. Тогда почему меня так занимают дураки?

Сначала я не мог понять, но потом сообразил: привлекают они меня количеством. Среди более семи миллиардов, населяющих эту планету, их куда больше, чем умных или людей среднего ума. Если это действительно так, то на сколько больше? Сперва мне интуитивно казалось, что дураков примерно 80%. В том, что их огромное количество, легко убедиться: включите телевизор и посмотрите, что и кого там показывают. Просто дух захватывает! Те, кто делают передачи, знают свою аудиторию, а стало быть, каковы передачи, таковы и зрители. Закон рынка. Меня это даже радовало: если бы не



дураки, как без сравнения узнать, что мы умнее? Тем не менее, стал я выяснять, может есть на эту тему серьёзная статистика? Не выяснил, но постепенно до меня дошла удивительная истина: дураков не 80%, а 100%. Иными словами: все дураки. То есть, каждый человек – дурак. Все семь миллиардов с хвостиком. В том числе нобелевские лауреаты, великие мыслители и совсем не великие тоже, включая меня самого и вас, уважаемый читатель. Да, мы все дураки. Как же это может быть, с чего вдруг такое обидное заключение? – спросите вы и будете правы.

Итак, почему я решил, что все люди дураки? Есть две причины.

Первая: нет таких людей, которые всегда умны, или наоборот – таких, которые всегда дураки. Человек – существо динамичное: нам свойственны нелогичные поступки, противоречия, необдуманное и спонтанное поведение и вдохновение. Бывает так: некто считается очень умным, а потом вдруг бац – и сделает какую-то глупость; или, несмотря на свой ум, проморгает, когда некий жулик обводит его вокруг пальца. Такое случается часто, особенно если человек вдруг начинает думать не головой, а каким-то другим органом. Замечали? Я, например, наблюдаю сплошь и рядом. По себе тоже. Стало быть, в одно время ты умён, в другое – дурак, а в третье – простофиля.

Вторая причина: ум понятие не универсальное. Бывает, что человек в чём-то одном умён, а в другом – дурак-дураком. Скажем, некий научный работник в своей специальности – почти гений, но за её пределами – полный болван. Не верите? Зайдите в любой университет, там таких пруд-пруди. Вот пример: есть у меня знакомый профессор, член-корреспондент Академии, умнейший человек в науке, однако он еле-еле пользуется компьютером, а на телефоне даже не умеет СМС посылать. Сколько раз ему показывали – никак запомнить не может. Не странно ли? Другой пример: великое множество мужей и дам с учёными степенями исповедуют «прогрессивные» и либерально-социалистические идеи, не понимая и даже не желая понять, какой вред это принесёт обществу, а стало быть – им самим, их детям и внукам. Это как? От большого ума?

Вот поэтому я считаю, что все люди дураки: пусть не всегда – а хотя бы на какое-то время, пусть не во всём – а лишь в некоторых областях. Да, не всё так просто с дураками и умными. Размышляя я про эти казусы и чем больше о них думал, тем больше у меня на-

биралось вопросов. Впрочем, не у меня одного. Этими вопросами задавались многие писатели и философы: «Горе от ума» Грибоедова, «Ревизор» Гоголя, «Похвала глупости» Эразма Роттердамского – лишь несколько примеров. Литература любит дураков. Для писателя они кладёзь занятных ситуаций и характеров, над которыми так приятно посмеяться. А вот в научном плане, неужто никто их не исследовал?

Оказалось, да – глупость изучали и есть работы на эту тему. Наиболее серьёзное исследование сделал итальянский историк Карло Чиполла (Carlo M. Cipolla, 1922-2000), который одно время работал профессором в Университете Беркли (Калифорния). В 1976 году он написал интересную работу «*Le leggi fondamentali della stupidità umana*» («Основные законы человеческой глупости»), в которой разделил всех людей в зависимости их поведения на четыре группы: умные, дураки, простаки и бандиты. Главный вывод, который он сделал на основе своих многолетних исследований: принадлежность к какой-то одной из этих групп есть врождённое, а не приобретённое качество. Из-за политкорректности многие социологи, политики и особенно самоназначенная либеральная элита в отношении ума не признают генетику, а придерживаются идеей сродни учению тов. Лысенко: все люди появляются на свет равными, а что из каждого получится, зависит от среды, образования, материального положения, и т.д. Они считают, что новорожденный это *tabula rasa* (чистая доска), на которой можно написать всё что угодно. По их мнению люди равны не только перед законом (что справедливо), но и по своим умственным задаткам, а что из ребёнка вырастет – зависит от обстановки. Помести его в лучшую среду – и он станет умнее и добрее.

Карло Чиполла много лет исследовал человеческий ум и пришёл к выводу, что это совсем не так. И пусть тов. Лысенко и его либеральные последователи помалкивают в сторонке: умственные способности определяет генетика, или, если угодно, игра природы. Мало того, ум наследуется редко и часто на детях природа отдыхает, зато играет с ними в рулетку – не угадать, где выиграешь, а где проиграешь. По крайней мере, на сегодняшнем уровне этой науки предугадать не получается.

Мы все от рождения генетически неравны и согласно Чиполле:

один из нас – умный, другой – дурак, третий – простофиля, четвёртый – бандит. Разумеется, в разных степенях. Это разделение так же чётко предопределено, как группа крови или цвет глаз. То есть, каким тебя Природа сделала, таким тебе и быть, и никакое воспитание или образование тебя не изменит. Не сделать умного из дурака, а из жулика – честного человека. Хотя воспитание и хорошая среда могут сгладить, приглушить или даже замаскировать, скажем, тягу к жульничеству. Но коли ты таким родился, значит по тебе тюрьма плачет. А если появился на свет человек охламоном, то есть простаком, таким ему и быть до конца своих дней. Жаль его, конечно, но ничего тут не поделаешь. От судьбы не уйдёшь и против Природы не попрёшь.

Как я уже отметил, человек не всегда ведёт себя последовательно, то есть умный – он не всегда умный, а дурак – не всегда дурак. Когда мы помещаем человека в одну из четырёх групп (умные, дураки, простаки и бандиты), то речь идёт о его *усреднённом*, или говоря языком статистики – о средневзвешенном поведении. Это значит, что вклад поведения в какой-то конкретной ситуации зависит от важности такого вклада. К примеру, некто прошёл без билета в кино, а другой ограбил банк – разные уровни жульничества и потому вклад их разный.

Чиполла обнаружил, что соотношение дураков и умных не зависит от того, где эти люди родились, какой расы, богаты или бедны, образованы или неучи, в каких семьях и как воспитывались. Интересно, что среди людей ручного и умственного труда процент дураков один и тот же. Тот же самый процент среди дикарей Полинезии и нобелевских лауреатов. По непонятной причине это своего рода закон Природы. Мало того, в 1932 году психолог Уолтер Питкин сделал интересное наблюдение: во многих случаях большой талант достаётся дуракам. То есть, скажем, талантливая певица или гениальный художник оказываются сущими глупцами, а значит ум и талант друг с другом часто не связаны.

В результате изучения дураков, Чиполла вывел пять законов глупости. Первые три я уже описал. Он их сформулировал так:

Первый Закон: Мы всегда недооцениваем количество дураков.

Второй Закон: Вероятность того, что человек дурак, не зависит от прочих его качеств.

Третий Закон: Дурак приносит другим вред без какой-то выгоды для себя, причём часто вредит себе самому. Этот закон Чиполла назвал «золотым» и самым важным.

Прежде, чем продолжить, приведу определения четырёх групп:

Умный – это человек, действия которого приносят пользу ему лично и другим людям.

Дурак – это человек, действия которого бесполезны или вредны ему лично и другим людям.

Простак – это человек, действия которого вредят ему самому, но могут быть полезны кому-то другому.

Бандит – это человек, действия которого приносят пользу ему лично и вред кому-то другому.

На основе этих определений Чиполла построил логическую матрицу из четырёх квадратов (Рис. 1). Горизонтальная ось показывает вред и пользу себе, а вертикальная – вред и пользу другим. Вред имеет знак минус, а польза со знаком плюс. Квадраты, расположенные диагонально, показывают противоположные врождённые свойства человека: дурак-умный, простак-бандит. Смежные квадраты показывают более тесную связь между характеристиками. Например, простак порой ведёт себя как дурак, а иногда как умный; бандит может вести себя то умно, то глупо. Место каждого конкретного человека находится в одном из квадратов (серая точка).

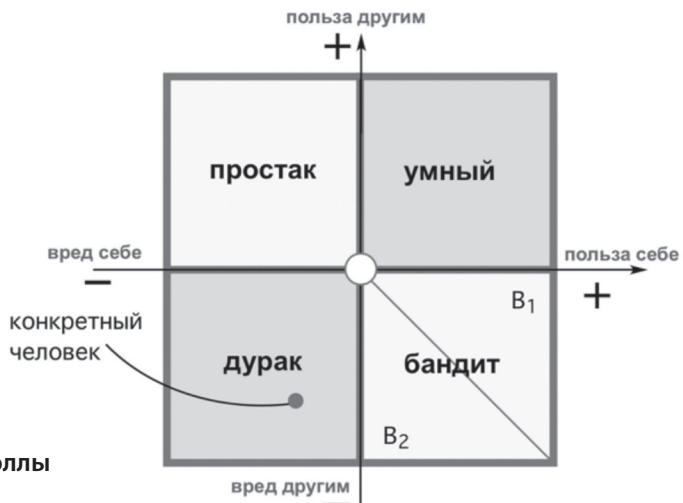


Рис. 1 Матрица Чиполлы

Положение точки внутри квадрата характеризует средневзвешенное поведение человека за долгое время. К примеру, рассмотрим некоего индивидуума с бандитским поведением (вор, убийца, жулик, и т.п.). Для него точка будет где-то в квадрате «бандит». Если это «идеальный» бандит, она расположена прямо на диагонали квадрата, и чем жёстче бандит, тем ближе точка к нижнему правому углу. «Идеальный» бандит здесь означает, что его прибыль точно равна потере другого, так как точка равно удалена от обеих осей. Скажем, если бандит ограбил кого-то на \$100 – это польза ему, а тот, кого он ограбил, потерял только \$100, то есть прибыль бандита точно равна убыли жертвы. Однако, если прибыль бандита больше, чем \$100 (например, использовал эти деньги на подкуп полицейского и тем избежал ареста), то он будет располагаться где-то в подсекторе B_1 , то есть ближе к квадрату «умный».

Жизнь показывает, что таких умных бандитов не так уж и много. Чаще бывает наоборот: если его прибыль меньше потерь жертвы (убил кого-то и ограбил, чтобы поиграть в казино), окажется в подсекторе B_2 , то есть ближе к квадрату «дурак». Пример такого глупого бандита – маршал Жуков, который без зазрения совести мог положить на войне сотни тысяч солдат лишь для того, чтобы угодить Сталину и заработать лишнюю побрякушку на китель. Как мы знаем, таких дураков-бандитов большинство.

Подобные рассуждения применимы и для других квадратов, хотя Чиполла про это не писал. Я решил для ясности ввести в его матрицу две диагональные линии для индикации «идеальных» персонажей (Рис. 2). Диагональ «глупость-ум» идёт от левого нижнего угла в правый верхний. Глупость самая сильная в левом нижнем углу (полный идиот) и уменьшается к центру, а потом превращается в ум, нарастающий к правому верхнему углу (мудрец).

Аналогичным образом построена диагональ «наивность-злодейство»: самая большая наивность в левом верхнем углу (полный недотёпа). Наивность снижается до нуля в центре и постепенно превращается в злодейство, которое увеличивается к правому нижнему углу (дьявольский бандит). Как и в матрице Чиполлы, на диагоналях расположены «идеальные» характеристики, а отклонения от «идеала» в сторону других квадратов характеризуют конкретных людей.

Напомню: точка на матрице означает средневзвешенное поведение человека, который ведёт себя то так, то эдак, но усреднение покажет, какая характеристика преобладает. Где расположить точку конкретного человека, зависит от его поведения за долгое время. К примеру, я бы поместил Эйнштейна в точку «Э» в верхней части квадрата «умный». Эта точка далека от трёх других квадратов, но всё же имеет небольшой сдвиг в сторону «простака». То, что я про него читал, заставляет меня думать, что это был исключительно мудрый и добрый человек, хотя изредка у него возникали элементы некоторой наивности. Например, одна из его любовниц (Маргарита Коненкова, жена известного скульптора) была агентом НКВД, о чём он наивно не догадывался.

Для другого примера возьмём двух знаменитых негодяев. Сталина я бы поместил в точку «С» выше диагонали квадрата «бандит» – со сдвигом к границе с квадратом «умный». Этот злодей сумел обвести вокруг пальца многих, значит был далеко не дурак. А вот Гит-

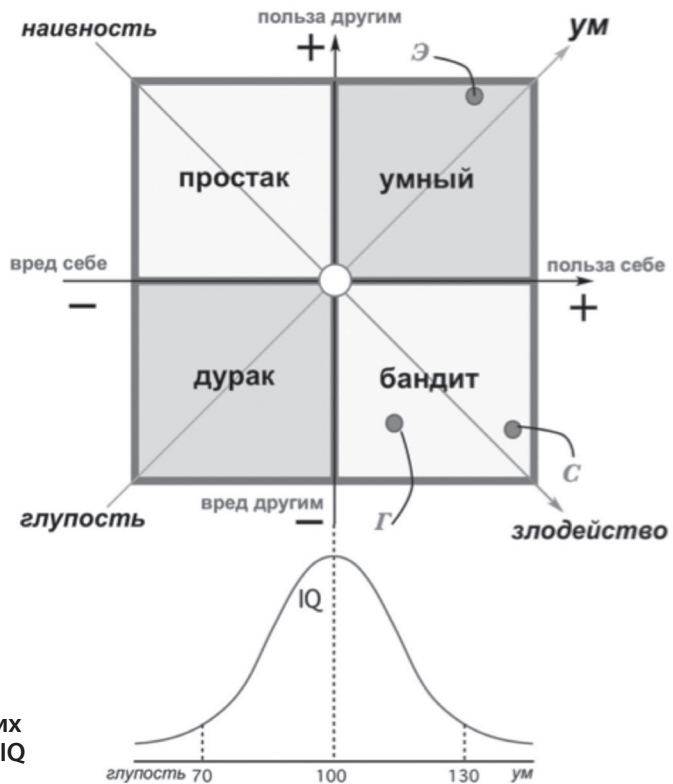


Рис. 2
Матрица человеческих
характеров и кривая IQ

лер будет в том же квадрате «бандит», но со смещением в сторону квадрата «дурак». Хотя по злодейству он сравним со Сталиным, но вот глупостей наделал несметное количество.

Если усреднить всё человечество, то теоретически средний житель нашей планеты окажется в самом центре (белый диск). У такого средне-серенького человека все четыре главные характеристики проявляются периодически: изредка он может поступать и умно и глупо, иногда наивно, а иногда и сжульничать, иными словами: это серая безликая личность с нулевым весом. Реальный индивидуум будет располагаться в одном из квадратов. Предлагаю подумать, куда вы определите себя? Я уже обозначил свою личную точку, но где – не скажу.

Факторы Ума и Злодейства

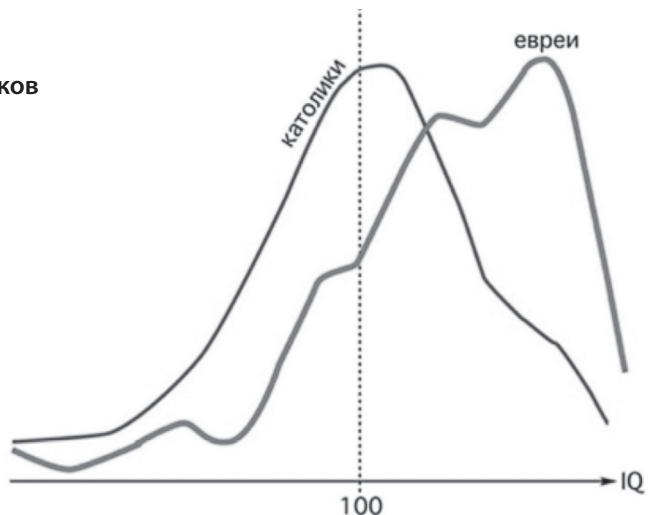
Давайте внимательнее рассмотрим диагонали на Рис. 2. Ум, как я уже сказал, возрастает от нижнего левого угла (глупость) и проходит через квадраты дурак-умный к мудрости. Диагональ эта вполне совпадает с осью популярной характеристики IQ (*Intelligence Quotient* – фактор ума), изображённой в нижней части рисунка. Это колоколообразная статистическая кривая, где в левой части оси показана вероятность появления дураков (низкий IQ), а в правой – умных (высокий IQ). Большинство человечества – где-то около центра (IQ=100). Следует помнить, что это усреднение по всем народам, расам и полам.

Если выделить отдельные группы, то для каждой группы кривая несколько сдвинется и даже изменит форму. Например, для азиатов сдвиг кривой будет вправо, так как они в массе поумнее среднестатистического индивидуума. Это значит, что для статистического баланса некоторые другие расы будут поглупее азиатов. Какие именно – знаю, но лучше промолчу. Тема эта скользкая, а мне не хочется, чтобы на меня нападали приверженцы политкорректности, да и не об этом моё эссе. Тем не менее, я бы хотел здесь упомянуть евреев. Интуитивно я знаю, что это очень неоднородный народ: среди них есть великие мудрецы, много людей умных и полно ошеломляющих дураков, а вот людей среднего ума, похоже, меньше. Поэтому для евреев распределение IQ не должно иметь колоколообразную форму.

Мне удалось найти работу Разиб Хана (Razib Khan), где приведены результаты тестов IQ для разных групп. Оказалось, что я был прав: у евреев кривая совсем не колоколообразная, очень неровная со сдвигом вправо и с несколькими всплесками – много «шибко умных», есть люди среднего ума и совсем нередки круглые дураки (Рис.3). Справедливости ради подчеркну, что эти данные были получены только в одной стране (США) и лишь вербальными тестами, а евреи, как известно, в массе грамотнее других этнических групп (всё же – народ Книги). Поэтому не следует эту кривую рассматривать слишком широко, но всё же она показывает тенденцию.

Если взять другую диагональ (наивность-злодейство), то аналогичным образом можно и для неё вывести некий фактор, который я бы назвал VQ (*Villainy Quotient* – фактор злодейства). Насколько я знаю, никто пока не разработал такие тесты. Однако могу предположить, что если наивность и злодейство удастся измерить и графически изобразить, то обобщённая для всего человечества кривая тоже будет иметь колоколообразную форму, как для IQ, где слева от центра будут простаки и недотёпы, а справа – хитрые, аморальные и злобные. Как и для IQ, в зависимости от генетического предрасположения отдельного народа, его кривая VQ будет сдвигаться то вправо, то влево от усреднённой по всему человечеству. К примеру, для японцев она будет правее, так как из истории известно, что этот народ часто бывал коварным и весьма жестоким (вспомним хотя

Рис. 3
Факторы IQ для католиков
и евреев



бы их поведение в Китае во Второй мировой войне), а вот для итальянцев получится наоборот – кривая сдвинется левее, так как они в массе более доброжелательны.

Теперь вернёмся к дуракам, ибо влияние их на нашу жизнь несоизмеримо больше всех остальных групп. Я бы даже сказал так: дураки правят миром. Если бы дураков не было, прогресс человечества стал бы прямым, быстрым, без войн и насилия. Уверен, что умные со злодеями управились бы, если бы дураки не мешали. Об этом мечтали многие идеалисты-утописты, но такого нигде не получилось и получиться не могло, так как дураки неистребимы и безграничны. Напомню известное высказывание Эйнштейна: *«Есть только две бесконечности: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен»*.

Глупцы отличаются от умных, простаков и бандитов своей иррациональностью. Умного человека можно понять: его действия логичны и предсказуемы. Простака тоже можно понять: у него есть свои рациональность и даже логика, хотя часто ограниченная, недальновидная, но тем не менее она есть. Можно понять и бандита, действия которого тоже логичны с точки зрения его морали и принципов. Но что совершенно невозможно понять – это действия дурака: в них отсутствует смысл и какая-либо логика. Дурака ведёт по жизни не ум, а эмоция. Поэтому глупость стоит в стороне от всех прочих человеческих качеств — она начисто лишена рациональности. Реакцию дурака и его шаги невозможно логически предсказать, и в этом заключена главная проблема. Именно поэтому дураки опасны, а особенно вредны дураки с инициативой. Они представляют собой самую большую опасность для выживания человека как вида. Опасность дурака основана на его самоуверенности и неспособности критически оценить собственное поведение и последствия своих разрушительных действий. Бертран Рассел справедливо заметил: *«Главная проблема человечества в том, что дураки полны самоуверенности, а умные всегда сомневаются»*.

Это подводит нас к четвёртому и пятому законам глупости:

Четвёртый Закон: Не-дураки всегда недооценивают вред дурака и забывают, что иметь дело с дураком чревато опасностью.

Важнейший вывод из четвёртого закона Чиполлы – *никогда не имейте никаких дел с дураками. Себе дороже.*

Пятый Закон: Дурак – самый опасный тип человека.

Другой итальянский исследователь человеческой глупости Джанкарло Ливраги (*Giancarlo Livraghi*) вывел из пятого закона три следствия:

В каждом из нас есть элемент глупости, и мы его всегда недооцениваем.

Если объединить глупости нескольких дураков, то вред будет равен не сумме, а произведению индивидуальных эффектов, то есть результатом будет геометрическая прогрессия глупостей.

Если объединить ум нескольких не-дураков, то положительный эффект будет меньше, чем вред от объединённой глупости дураков.

К этому можно добавить ещё одно очевидное следствие: *дурак опаснее бандита.*

Простаки

В заключение поговорим о «простаках».

После дураков наиболее опасной группой являются вовсе не «бандиты», как на первый взгляд может показаться, а «простаки». «Бандит» много лучше «простака», ибо простаки – наивные люди. В реальной жизни быть наивным рискованно, так как такие люди склонны доверять дуракам и бандитам. Впрочем, элементы наивности присущи также умным и бандитам, которые часто не в состоянии распознать дурака, а если даже и понимают с кем имеют дело, то не избегают его, а продолжают общение. Это приводит к неприятностям, а нередко и к беде. Если не-дурак всё же распознал дурака, то наивно полагает, что может это использовать себе на пользу: как-то его перехитрить или с выгодой обойти. Однако иррациональность дурака обычно приводит к противоположному результату, вовсе не к тому, что ожидал не-дурак. Отсюда вывод:

По отношению к дуракам все прочие зачастую ведут себя как «простаки».

Поскольку «простаки» склонны всем доверять, подпускать их к политике и к руководству бизнесом опасно – результаты будут весьма плачевные. Недаром есть русская поговорка: «простота хуже воровства». Вот вам яркий пример опасного простака: британский премьер Чемберлен. Его недалёковидность и наивность привели к

тому, что он поверил бандиту Гитлеру, в 1938 году заключил с ним Мюнхенское соглашение, что открыло дорогу ко Второй мировой войне.

Я мог бы привести массу подобных примеров из наших дней, но думаю, что читатель без труда сможет это сделать самостоятельно – к сожалению, жизнь поставляет их нам в огромном количестве.

Яков Фрейдин до эмиграции жил в Свердловске. Он – кандидат технических наук, работал в НИИ и одновременно кинокорреспондентом на ТВ.

В США с 1977 года. Был исследователем в CWRU (университет в Кливленде) и ряде американских фирм, основал 4 компании и преподавал в Калифорнийском Университете. Автор более 90 научных статей, 60 изобретений и популярного учебника по датчикам. Автор книги (по-английски) «Приключения изобретателя – Adventures of an Inventor».

Публикует рассказы в русскоязычных изданиях и на интернет-порталах в Америке, Европе и России. Постоянный автор журнала «Времена».

В 2017 году в издательстве Hurricane Books выпустил на русском языке книгу «Степени приближения» (Невыдуманные истории). В том же году журнал «Чайка», выходящий в США в электронном варианте, назвал Якова Фрейдина лауреатом как самого читаемого автора.

Недавно увидел свет его новый сборник рассказов «Взгляд со стороны».

Живёт в Южной Калифорнии.

Рассказы Якова Фрейдина можно прочитать на его веб-сайте: www.fraden.com/рассказы

Книги можно приобрести через: <http://www.fraden.com/books>

Андрей ОСТАЛЬСКИЙ

ЛОВЕЦ ЧЕЛОВЕКОВ

Из книги «Судьба нерезидента. Новейшая история в зеркале биографии»

Только устроился я в своем гостиничном номере в Мадриде, как зазвонил телефон. «Андрей Всеволодович, – сказал вкрадчивый голос. – Меня зовут Сергей Иванов, я член советской делегации на конференции. Мог ли бы я вас попросить любезно находиться в своем номере ровно в семь часов сегодня вечером?». «Да, не вижу проблем, – отвечал я несколько обескураженно. – Но, будьте добры, объясните, в чем дело?» «Я не хотел бы сейчас вдаваться в подробности... но надеюсь, мы не причиним вам особых неудобств, если попросим вас о такой любезности?». «Да нет, – сказал я, всё еще недоумевая. – Мне нетрудно». «Вот и отлично, мы вам очень признательны». И повесил трубку. «Интересно, – думал я. – Кто это «мы»? Советская делегация?». Вообще-то какие-то подозрения относительно того, какая конкретно часть делегации имеется в виду, уже появились в моей голове. Но было любопытно. «Знают мой характер, что ли? – думал. – Догадались как заинтриговать».

Ровно в семь ноль-ноль, секунда в секунду, в номере снова зазвонил телефон. И всё тот же голос сказал: «Андрей Всеволодович, не могли бы вы спуститься в ресепшн?». «О'кей, – согласился я. – нет проблем».

Спустился вниз. В ресепшн ко мне подошел, улыбаясь, незнакомый человек. Пожал руку и сказал: «Вячеслав Иванович хотел бы пригласить вас поужинать с ним в хорошем ресторане. Вы не против?». Я поперхнулся. О, я сразу понял, о каком Вячеславе Ивановиче идет речь, и это был совсем неожиданный поворот. Тут же super-его заняло в моей голове: «Откажись, откажись под любым благовидным предлогом... это ни к чему, это опасно!». Но черто-

во мое любопытство. Чертов авантюризм... А потом – если бы мне объяснили, с кем предстоит встреча по телефону, я мог бы хладнокровно всё обдумать, и, пожалуй, отказался. Теперь же отказ выглядел бы чрезвычайно невежливо, воспитание этого не позволяло. Так что велел я super-ego заткнуться и, не давая себе больше ни секунды на размышление, улыбнулся в ответ. Сказал: «Ну конечно, с удовольствием».

Иванов повел меня на улицу, где ждал роскошный лимузин с дипломатическим номером, на таких обычно послы ездят. Но внутри



Вячеслав Гургенов

меня ждал, приветливо помахивая рукой с заднего сидения, вовсе не посол. О нет, не посол. Это был генерал-лейтенант госбезопасности Вячеслав Гургенов собственной персоной, практически начальник всей разведки КГБ – так называемого Первого главного управления (ПГУ).

Правда, несколько недель тому назад руководить этим управлением официально назначили Евгения Примакова, но в то время никто этого назначения всерьез не воспринял, считалось, что это так, временное политическое решение на переходный период, судороги теряющего власть режима, временная мера. Тогда ведь много таких временных фигур возникало и быстро исчезало. Думали, что набравший силу Ельцин ни за что не оставит горбачевского ставленника, «коммуняка» Примакова руководить такой важной организацией, уж скорее даже того же уважаемого профессионала Гургенова, исполнявшего до того обязанности начальника ПГУ, предпочтет.

кало и быстро исчезало. Думали, что набравший силу Ельцин ни за что не оставит горбачевского ставленника, «коммуняка» Примакова руководить такой важной организацией, уж скорее даже того же уважаемого профессионала Гургенова, исполнявшего до того обязанности начальника ПГУ, предпочтет.

Как я слышал, первая реакция Ельцина на кандидатуру Примакова была более чем скептической. Это потом он почему-то резко

поменяет мнение – бывал Борис Николаевич иногда совсем непредсказуем. И надолго оставит чуждого ему Примакова, политического «пасынка», горбачевское наследие, командовать Службой внешней разведки. Чем-то Примаков всё же Ельцина очаровал. В начале 96-го он сделает его министром иностранных дел вместо Андрея Козырева, и западные партнеры насторожатся: не смена ли это внешнеполитического курса на более националистический? В общем-то эти опасения были небезосновательны. Началась медленная ползучая контрреволюция, которая завершится в середине нулевых окончательным возвращением к идеологическому, а затем и военно-политическому противостоянию с Западом. И большим шагом на этом пути станет пресловутое разворачивание самолета над Атлантикой, когда Примаков, будучи уже премьер-министром, в крайне грубой форме выкажет американцам свое «фэ» по поводу югославских событий. Так будет создан прецедент: с тех пор демонстрировать Западу большой шиш по поводу и без повода станет считаться в России хорошим тоном. Но это всё произойдет позже, а пока, как считалось, именно Гургунов продолжал практически руководить разведывательной деятельностью.

Это было странное, уникальное, сумасшедшее время, подобно-го которому никогда не было и никогда уже не будет. Время, когда главный шпион Советского Союза чуть ли не «подлизывался» к международному редактору «Известий» (или вернее будет сказать: охмурил его?). Ну хорошо, допустим, к тому моменту это уже точно была главная газета страны, «Правда» утратила свои позиции вместе со своей партией, но все равно – ситуация казалась невероятной. Наверно, приглашение на ужин должно было мне льстить, но я был просто поражен: неужели генералу в испанской командировке больше делать нечего, кроме как с Остальским ужинать? Никак не ожидал такого.

Я ехал в машине Гургунова, вел с ним светскую беседу, виду не подавал, но на самом деле нервничал. А как же было не нервничать, как же не трепетать? Ведь этот статный, подтянутый господин с резкими, но не лишними приятности чертами восточного, кавказского лица, был не просто человеком, он был функцией. И какой... Этот царь горы управлял сверхмощной гигантской машиной, тысячеголовым спрутом, чьи щупальца протянулись по всему земному

шару. Невидимая сеть, концы которой он держал в своих руках, покрывала все страны и континенты, разве что в Антарктиде не было резидентуры КГБ, и то, может быть, я наивен и заблуждаюсь на этот счет. Тысячи и тысячи специально отобранных и тренированных офицеров-разведчиков, десятки тысяч завербованных ими агентов денно и ночью трудились, словно пылесосом засасывая невообразимые объемы информации, проводили тайные операции, ловили в силки слабых, чтобы использовать эту слабость для добывания секретов. Кто-то из них придумал так, по-библейски, и называть свою профессию: «ловец человеков».

На протяжении стольких лет я вынужден был жить и работать среди таких «ловцов», рядом с ними, должен был уметь уворачиваться от них, перепрыгивать через капканы, любезно, вежливо, чтобы не разозлить, отбредиваться. Я смотрел на них со страхом, содроганием, но и с болезненным любопытством. Но они-то занимали всего лишь скромные места в шпионской иерархии, где-то в нижней части гигантской пирамиды – а теперь я болтал о всякой чепухе с тем, кто стоял на ее вершине. Как эти оперуполномоченные всякие, да и резиденты тоже – как они, наверно, должны были бы мне завидовать, как много дали бы, чтобы оказаться сейчас на моем месте.

А меня не оставляло беспокойство – бабочки порхали в животе, как говорят англичане. Я острил и делал вид, что мне сам черт не брат, а внутренне содрогался, представляя себе, как щелкают вокруг затворы скрытых камер самых разных разведок и контрразведок. И как потом аналитики многих стран склонятся над фотоизображением моей скромной персоны, гадая, что за суперагента такого ублажает сам генерал Гургенов. «Эх, навредил ты себе, – думал я с досадой, – теперь будут подозревать тебя бог знает в чем». И в качестве слабого утешения возражал сам себе: ну должны же они понимать, что раз встреча происходит совершенно открыто, на глазах у всех, без малейшей попытки конспирации, то это значит, что это не имеет отношения ни к каким операциям... Но черт его знает, какой они там логикой руководствуются.

Не помню совсем, что я там ел, в том хорошем, дорогом ресторане в центре Мадрида. За столом с нами вместе оказался дипломат из советского посольства в одной из арабских стран, кажется, в

ранге первого секретаря, понятно было, что он из числа подчиненных Гургенова, но надо думать, непростой, а пользовавшийся почему-то его особым доверием. Леонид Млечин, самый блестящий знаток всего, что связано с историей советской разведки, пишет, что какой-нибудь среднего звена начальник, даже доросший до звания полковника, скорее всего ни разу не бывал в кабинете начальника всей службы. Но тем более полковники те не могли и мечтать о том, чтобы оказаться с ним за одним столом в зарубежном ресторане, так что это был какой-то особый случай.

Разговор был нормальный, ни разу не шпионский, якобы Гургенов хотел знать мое мнение о перспективах Мадридской мирной конференции по Ближнему Востоку*. Мне было что по этому поводу сказать, вспомнил я и о том, как Арафат впервые заговорил о готовности согласиться на автономию – в том злополучном ночном интервью в Багдаде, за которое я огреб массу неприятностей – и от иракцев и от родной советской власти. И о том, как эта идея трансформировалась. Было похоже, что палестинская позиция меняется, становится более конструктивной. Правильно предсказал я и то, что попыток фактического торпедирования переговоров, превращения конференции в очередную говорильню и арену пропагандистской войны стоит ожидать скорее не от ООП, а от арабских государств, прежде всего Сирии. Но и израильская делегация будет хорохориться, боясь показаться собственному общественному мнению слабой, готовой идти на односторонние опасные уступки. И всё же мы, без сомнения, наблюдаем, как на наших глазах творится история: конференция важнейший прецедент, после нее будет легче двигаться вперед, особенно если на самом деле Вашингтон и Москва объединят усилия. И, слава богу, что у нас теперь будет посольство в Израиле, можно и вправду начать наконец играть важную роль в

* **Мадридская мирная конференция** проходила с 30 октября по 1 ноября 1991 года. Целью конференции было достижение в течение года соглашений о временном урегулировании арабо-израильского конфликта. Конференция не достигла желаемых результатов, но вскоре после неё были начаты тайные двусторонние израильско-палестинские переговоры, приведшие к подписанию соглашения в Осло.

ближневосточном урегулировании. Гургенов внимательно слушал, но я никак не мог избавиться от ощущения, что это всё – предлог. Что не так уж нужны ему мои не слишком оригинальные суждения. Что, разве у него своих собственных сильных аналитиков-арабистов нет? Да вагон и маленькая тележка! Но зачем я тогда ему нужен?

Пора уже рассказать о том, как мы с ним познакомились – история любопытная.

Когда я неожиданно оказался руководителем международного отдела «Известий», то получил в свое распоряжение замечательный, светлый и просторный, угловой кабинет с потрясающим видом на Пушкинскую площадь. И, что было очень важно – на столе у меня стоял бледно-жёлтый телефон с государственным гербом СССР – аппарат правительственной связи АТС Кремля-2. Раньше предназначение этого аппарата было – оперативно диктовать известинским редакторам волю ЦК и прочих важных ведомств. Но теперь всё перевернулось, и телефон этот, по старой традиции именовавшийся «вертушкой», стал потрясающим инструментом в руках журналиста, помогающим организовывать интервью с великими мира сего, выуживать из них информацию. Пройдет некоторое время, и бюрократия приспособится, отгородится от прилипчивых щелкоперов помощниками, которые будут брать трубку и решать соединять с боссом звонящего или нет. Но в те революционные времена большая часть номенклатуры соответствующего уровня бодро хватала трубку сама – согласно прежнему, советскому порядку. Правда, у чиновников высшего уровня – министров и выше – была и другая связь – АТС Кремля-1. У нас такой аппарат был у главного редактора.

В тот день по западным агентствам пришло сообщение, что корреспондент газеты «Труд» в Норвегии Михаил Бутков, таинственным образом пропавший из своего корпункта несколько месяцев тому назад, объявился в Англии, и что он оказался офицером КГБ, перебежчиком. В прошлые времена мы не могли и думать о том, чтобы в своей газете рассказать о подобном событии. Но, подумал я, чем черт не шутит, вдруг теперь можно? Правда, просто перепечатать сообщение Рейтер – неинтересно, надо выяснить хоть какие-то детали, получить комментарии... Но где же их взять? Как где, а «вертушка» на что?

К телефону правительственной связи прилагалась маленькая

красная книжечка – секретный телефонный справочник АТС Кремля. Причем система была такая: все абоненты перечислялись там строго в алфавитном порядке (по первым буквам фамилии). Должности и ведомственная принадлежность не указывались, только имя и отчество. То есть предполагалось, что члены номенклатуры должны были знать, кто и чем руководит. Я думал, как же мне позвонить в разведку КГБ? Пришло в голову: недавно в коридорах «Известий» мелькал человек, который до недавнего времени руководил этим самым Первым главным управлением. Потом, после провала путча он какое-то, совсем недолгое время даже возглавлял весь КГБ, но затем появились подозрения, что он хоть и не напрямую, но как-то оказался причастен к заговору. Вроде бы знал, что переворот готовится, но не помешал. (Сам он это категорически опровергал). И тогда его сняли с должности и вообще выгнали из комитета. Он ходил в «Известия» к своим знакомцам, к Владимиру Скосыреву, с которым он вместе учился в институте Востоковедения, рассчитывал, возможно, на какую-то поддержку, может быть, напечатать что-то в газете подумывал. Репутацию свою защитить. Меня с ним на ходу познакомили, мне было любопытно на него взглянуть. Лицо вроде неглупое, и даже по внешнему впечатлению не злое, удивлялся я, человеческое вполне лицо, а глаза грустные, как у умной собаки (поверьте, в моих устах это абсолютный комплимент). Должен же он был, по моим представлениям, быть людоедом со страшными глазами, как у Саддама Хусейна. Но нет, ничего такого. Запомнил я и его фамилию: Шебаршин.

Красную книжку спецсвязи периодически обновляли, но это происходило не слишком оперативно. Тем более в момент массовой смены элит, неизбежно последовавший за провалом ГКЧП. Не успевало соответствующее управление. Значит, можно рассчитывать, что номер спецтелефона не изменился, и на другом конце окажется тот, кто Шебаршина заменил. Хотя кто их знает, ведь ведомство самое что ни на есть секретное, могли уже сменить все номера. Ничего не теряю, если позвоню, решил я. Открыл справочник на букве «Ш». Ага, вот он – Шебаршин Леонид Владимирович – другого нет. Я набрал указанный там номер, и трубку тут же сняли, низкий мужской голос произнес: «Гургенов». Так я впервые услышал эту фамилию. Но как бы выяснить, кто он такой? Взять и спросить – скажите, а

вы случайно не новый шеф разведки? Или я не туда попал? Звучит глупо... Вместо этого я вот что сделал: я представился, назвал свою фамилию, имя, отчество и должность. «Очень приятно, – вполне светски отвечал человек на другом конце секретной связи, – а я исполняющий обязанности начальника Первого главного управления КГБ СССР Гургенов Вячеслав Иванович».

Я изложил ему свою невероятную просьбу: не можете ли подтвердить или опровергнуть информацию агентства Рейтер про Михаила Буткова или как-то прокомментировать ее?

Мой собеседник был поражен. После секундного замешательства сказал: «Я должен посоветоваться... можно я вам перезвоню? Ваш номер есть в справочнике?». «Нет, – отвечал я, – нет пока, так же, как и вашего». И продиктовал номер своего предшественника.

Минут двадцать спустя он перезвонил. Извинился, сказал, увы, не получится. Не сможем мы вам с этим помочь. Потом помолчал и стал говорить, что тем не менее времена теперь новые, и можно искать, соответственно, формы сотрудничества в духе гласности. И тут меня пронзила неожиданная идея. «Вячеслав Иванович, – сказал я, – раз уж речь пошла о гласности – нельзя ли нам с вами встретиться где-нибудь? Интервью хотелось бы у вас взять, поговорить о том, какие у вас там перемены происходят. Лучше всего было бы, если бы я мог приехать прямо к вам, в штаб-квартиру. «В лесу» это у вас, по-моему, называется? В Подмоскowie вы располагаетесь, на юго-западе, я правильно понимаю? Но если это невозможно, то и где-нибудь в нейтральном месте можно было бы повстречаться». «Я вам перезвоню», сказал Гургенов. На этот раз перерыв был гораздо дольше – часа два. И я уже решил забыть о своей наглой попытке, когда «вертушка» затренькала и сказала уже знакомым гургеновским голосом: «Андрей Всеволодович, я вас приглашаю нанести нам визит. Я пришлю за вами машину».

В назначенный день и час к «Известиям» подкатила черная «Волга». Кроме водителя, на переднем сиденье обнаружился подтянутый, строгий, но очень вежливый молодой человек, адъютант или помощник Гургенова. И мы поехали.

Это теперь каждая собака знает, что СВР – наследник Первого главного управления КГБ – находится в Ясенево, за кольцевой дорогой, и один из корпусов, весьма заурядного вида здание из стекла

и бетона, прекрасно виден с московской кольцевой дороги – как ни странно. А в то время даже я, начитавшейся к тому моменту всякой западной литературы, толком ничего не ведал. Думал, что они запрятаны гораздо дальше от города, на самом деле где-то в густом лесу. Я даже заприметил километре на 20-м по Киевскому шоссе некий таинственный поворот налево с большущим, запрещающим въезд «кирпичом». «Вот они где, наверно, голубчики, скрываются», предполагал я и попал пальцем в небо.

Перед главными воротами, слева, оказался большой гастроном, в котором шпионы отовариваются по завершении рабочей смены. Мне потом рассказывали, что выбор продуктов лучше, чем в обычном магазине, но не намного, и когда «выбрасывают» настоящий дефицит, очереди выстраиваются неслабые. Рядом с воротами я успел заметить идиотскую табличку: «Научный центр исследований». Уж совсем на каких-то малограмотных крестьян расчет, что ли? Окончившие хотя бы среднюю школу, наверно, сразу насторожатся, увидев такую несуразную надпись. Тут же, рядом – огромная парковка для автотранспорта сотрудников, на личной машине на территорию въехать нельзя. Но нашу «Волгу» пропустили мгновенно. Грозного вида охрана с автоматами осматривала машину, как мне показалось, легкомысленно, небрежно. Никаких документов никто у меня не спросил. Но, скорее всего, всё было продумано, машина, водитель и адъютант начальника были прекрасно известны охране, и про пассажира на заднем сиденье она тоже, видимо, была предупреждена.

Но вот что касается главного здания, этажей в пять или шесть, вытянутого загибающейся кишкой, то оно было похоже скорее на гостиницу, но никак не на шпионскую штаб-квартиру. Сразу чувствовалось, что оно задумывалось и строилось не для кагебешников, какое-то оно было несолидное, легковесное. Не страшное совсем. Строили его, кстати, по финскому гостиничному проекту, так что ничего удивительного. Кабинет самого генерала тоже показался мне недостаточно внушительным – может, и не меньше моего, но явно не такой уютный.

Конечно, нелепо было рассчитывать на откровенность. Успешные разведчики, а тем более сделавшие такую колоссальную карьеру, в простоте слова не скажут. Они профессиональные лицедеи, это уже их вторая натура. Весь вопрос, насколько это правдоподобно

выглядит и звучит. Насколько они обаятельны. По этим показателям я бы поставил Гургенову твердые четверки. Это не значит, что был он всего лишь «хорошистом» в своем шпионском ремесле или как менеджер шпионов. Об этом я ничего не знаю и судить никак не могу, и оценивал лишь внешнюю, пиаровскую составляющую его талантов. Но особого напряжения в его обществе я в итоге не испытал. Что тоже входило в его задачу – ему нужно было, чтобы я расслабился и чувствовал себя достаточно комфортно. Поэтому он создавал образ этакого добродушного дядюшки. Нормального начальника какой-то нестрашной конторы. Но в целом он говорил то, что я хотел от него услышать. То, что я сформулировал в заголовке серии из двух статей, которые по итогам той поездки опубликовал в «Известиях»: «Разведка разводится с КППБ». Что, конечно, отсылало начитанных к книге Владимира Войновича «Москва 2042». Это он придумал такую аббревиатуру, обозначающую высшую власть в его сатирической антиутопии: соединение КПСС и КГБ в единый правящий орган – Коммунистическую партию Государственной безопасности. Ну а я, обыгрывая эту остроту писателя, всё же допускал, что после провала путча и демократизации разведка тоже сможет начать с чистого листа, освободившись как от пут искусственной идеологии и власти КПСС, так и от вредной для репутации исторической связи с чекистами и нквдэшниками.

Как известно, в итоге этого освобождения так и не случилось, и руководство СВР и сегодня настаивает на этой нездоровой, пугающей преемственности. Но в тот момент в возможность глубокой реформы разведки верил и я, и даже, мне кажется, генерал Гургенов. Ну или он убедительно притворился.

Сравнивая два случая своего тесного общения с ним, должен признать, что в Мадриде, на чужой территории, всё было гораздо напряженнее. И понятно почему: в Ясенево это была почти нормальная ситуация интервью газетчика с руководителем некоей важной, необычной, но вполне респектабельной и легальной конторы; в Испании, несмотря на полную невинность наших разговоров, в нашей встрече был всё же элемент чего-то не совсем законного, некий привкус запретного, если не преступного.

Только в самолете, по дороге домой из Мадрида, я узнал, зачем обрабатывал меня генерал Гургенов. Помимо того, что, наверно, хо-

тел и на самом деле поддерживать позитивный контакт с главной газетой новой России. Но был и еще один, конкретный вопрос, который он хотел задать мне без свидетелей и на который, как он решил, я мог знать ответ. Что, кстати, было с его стороны серьезным комплиментом.

Садясь в аэрофлотовский «ИЛ-62», я мельком заметил Вячеслава Ивановича, он сидел в первом классе, а я, естественно, в экономическом. Он мне помахал рукой.

Но когда самолет набрал высоту, ко мне подошла стюардесса и сказала: «Вас приглашают в первый класс». «Вот ведь как за меня взялся, – думал я. – Не слишком ли?». Но отказаться было неприлично. Решил: не убудет меня. Гургенов принялся угощать меня коньяком и какими-то закусками. И в какой-то момент, небрежно, как бы невзначай, негромко задал свой главный вопрос, впервые назвав меня по имени, без отчества: «Андрей, сугубо между нами, дайте совет, скажите: Горбачев или Ельцин? Мне сейчас уже придется делать выбор...»

Я был поражен, но ответил, не задумываясь: «Ельцин, только Ельцин. Поверьте, всё, что я знаю, говорит о том, что власть перейдет к нему. И скоро». «Вы уверены?». «Насколько можно быть в чем-то уверенным в этом мире...».

Видимо, думал я, действительно разведка оказалась между двумя огнями, и вот пришло время жесткого выбора: надо было решиться, на кого делать ставку, меж двух стульев усидеть уже становилось невозможным. Генерал благодарил, говорил, как важен ему мой совет. Но, кажется мне, почему-то не решился ему полностью последовать. Иначе у него был шанс, пусть и небольшой, остаться главой разведки. А так вышло, как вышло. Горбачев прислал Примакова, Гургенов сделал на него ставку. Уже после развала Союза, на одном критически важном совещании, первым и очень энергично выступил в его поддержку. Происходило это в присутствии Ельцина, который как раз выражал некоторые сомнения относительно примаковской кандидатуры. Но Гургенов и выступавшие вслед за ним его, вроде бы, переубедили.

Но в том перелете из Мадрида в Москву произошел еще один фантазмагорический эпизод – и теперь уже я вынужден был обратиться к генералу за помощью.

«Известия» командировали в Испанию не меня одного – со мной летал и туда, и обратно знаменитый, легендарный фотограф Сергей Иванович Смирнов. Ему было тогда под семьдесят, он снимал для газеты много десятилетий – и Гагарина, и Хрущева, и Брежнев, талантливо находил неожиданные углы, заставлял великих мира сего врасплох, показывал в них человеческое. Но и дежурные, необходимые для иллюстрации фотоматериалы изготавливал мастерски и очень оперативно. В общем, крепчайший профессионал, который никогда не подведет. И это было тем более поразительно, что, как мне уже было известно, Смирнов крепко закладывал за воротник. Принимал на грудь. Поддавал. Не случайно, конечно, в русском языке так много синонимов для обозначения этого явления. В общем, Сергей Иванович был алкоголиком – но особенного, достаточно редкого типа. С утра до вечера он не так уж часто просыхал, но при этом каким-то мистическим образом исхитрялся четко делать свою работу. Иногда на ногах уже стоял с видимым трудом, но руки твердо держали фотоаппарат и на правильные кнопки вовремя всегда нажимали.

Я знал еще пару подобных загадочных случаев. Самый выдающийся и невероятный – Сергей Владимирович Иванов, главный редактор Главной редакции оперативной служебной информации ТАСС, а в просторечии – «Сводки». В третьей главе я уже рассказывал о ее существенном значении в системе информирования ЦК и советского правительства о международных событиях. Работа там, казалось бы, сухая и не такая уж творческая, на самом деле требовала определенных навыков, даже своего рода мастерства. Максимально кратко, точно, ясно, просто и очень быстро надо было пересказывать для кремлевских старцев главные события в мире. Ничего существенного нельзя было упустить, ничего второстепенного нельзя было добавить. Вопрос о том, какая новость достойна включения в сводку, а какая – нет, был ключевым. Вот где требовались и опыт, и чутьё.

Для многих в правительстве, в том числе и членов политбюро, регулярное чтение сводки стало одним из важнейших пунктов их рабочего дня. Она во многом определяла их политические решения. Они привыкли к определенному стилю, который выработал за долгие годы Сергей Иванов.

Но у Иванова, фронтовика, инвалида войны, была одна проблема – он был алкоголик, но алкоголик работоспособный. Я много раз наблюдал, как это происходит. Отработав утреннюю сводку, он отправлялся в магазин и распивал там бутылку с окрестными алкашами. После чего возвращался на работу весь красный, не способный вменяемо говорить. Садился за свой рабочий стол и там засыпал. Чтобы проснуться потом к моменту, когда его сотрудники уже вчерне подготовили текст второй сводки, тут он решительно вмешивался, какие-то новости оттуда выкидывал, какие-то наоборот, добавлял, чистил, редактировал, подправлял стиль. И всегда принимал безошибочные решения. И даже в своем алкоголическом сне он порой слышал, как обсуждаются проблемы. Если они были действительно трудны, и подчиненные терялись или были на грани того, чтобы допустить ошибку, тут он вдруг пробуждался, поднимал голову, изрекал неоспоримую истину, а потом падал лицом на стол и засыпал снова. Это была привычная, ежедневная картина. Я иногда смотрел на это и думал: «Этот алкаш управляет советской внешней политикой». Конечно, это было художественное преувеличение, но действительно ведь Иванов многое определял, рисуя картину мира для Кремля и Старой площади.

Это продолжалось долгое время, и начальство мирилось с таким положением вещей. Но потом в ТАСС пришел новый генеральный директор – грозный и беспощадный Леонид Замятин. Обнаружив в агентстве пьяного сотрудника, он немедленно его уволил. И тут началось.

Несколько дней спустя Замятину по «вертушке» позвонил всемогущий секретарь ЦК по идеологии и кадрам Михаил Суслов. «Что-то вы как-то неудачно начинаете, Леонид Митрофанович, – сказал он, – товарищи жалуются на качество сводки, много лишнего, читать неудобно...». «Виноват, исправлюсь», – отрапортовал генеральный директор, бросился в отдел наводить шороху: в чем дело, почему не справляетесь? Кого-то из опытных журналистов, о специфике сводочного дела, впрочем, понятия не имевшего, кинул на укрепление. Но снова звонил Суслов и теперь уже в более резких выражениях критиковал качество самого важного для правительства тассовского продукта. Дело пахло жареным, Замятин позвонил в отдел и бросил: «Черт с ним, скажите Иванову – пусть возвращается».

Но фронтовик Иванов был гордым человеком. Он отказался выходить на прежнее место работы. Сказал: пусть Замятин придет ко мне домой и лично извинится. «А иначе не приду, мне наплевать, мне уже пенсия приличная полагается как инвалиду войны, пора и отдохнуть».

Услышав о таком условии, гендир пришел в ярость, гаркнул: «Ну уж нет, такого не будет, пусть не рассчитывает».

Потребовался еще один, совсем уже неприятный звонок из верхов, чтобы Замятин сменил гнев на милость, наступил на горло своей гордыне и поехал к Иванову извиняться.

Но, кстати, как человек, поруливший в своей жизни достаточно большими журналистскими коллективами, должен сказать: я в этом случае Замятина хорошо понимаю. Если разрешить кому-то одному выходить на работу пьяным, то как потом запрещать это остальным?

Так или иначе Сергей Иванов еще долго работал на своем рабочем месте, а потом пришли новые времена, стальная хватка цензуры ослабла, значение «сводки» упало, потом ее и вовсе отменили.

Может быть, история про увольнение и возвращение Иванова обросла красочными, додуманными деталями, но в эту легенду почему-то свято хотели верить все мои знакомые тассовцы.

Легенды ходили и про известинского «паркетного» (то есть допущенного до Кремля и главных официальных мероприятий) фотографа Сергея Смирнова. И о том, сколько он может выпить (нет предела) и с кем он дружит, и с кем поддает (со всемирно знаменитым балетмейстером Юрием Григоровичем, например). Мой друг и коллега Василий Захарько, и сам известинский ветеран, которому суждено было побыть, хоть, к сожалению, и недолго, главным редактором газеты в 90-х, объяснял мне: «Пойми, это же был способ существования в той профессии. Мы ним как-то приехали в Эстонию, так он первым делом пошел к главе тамошней фотослужбы, выпил с ним, и всё пошло как по маслу. Он поддавал с ребятами из «девятки», из кремлевской охраны, и его всюду пропускали без проблем. Щедро угощал коллег, возил с собой не только водку, но и банки икры – десятками».

Уже по дороге в Мадрид, не успел самолет набрать высоту, как Смирнов стал раскидывать котомку. Стюардесса пыталась ему

помешать, но куда там. Уболтал ее, рассмешил – был, чувствуется профессионалом и в этом деле тоже. Если уж «девятку» и кремлевских небожителей убалтывал, то куда уж какой-то там стюардессе было с ним справиться. Извлек он заветную бутылку (первую из нескольких) и массу всякой симпатичной снеди, в том числе копченую рыбку какую-то, невероятно аппетитную. При этом он непрерывно что-то скороговоркой говорил своим хриплым, уютно-скрипучим голосом, рассказывал байки, мгновенно перескакивал с темы на тему, называл меня фамильярно «Андрюша» – а ведь мы с ним до этого едва знакомы были, даже, кажется, не здоровались, не узнавали друг друга в коридорах. Ну и главное, он то и дело подливал мне водочку в припасенный заранее стакан.

Если бы я не сопротивлялся и выпил всё, что мне было предназначено, то меня из самолета в Мадриде пришлось бы выносить.

Я лишний раз вспоминал свой алкогольный опыт. Еще в институте замечательный доцент-философ Рудольф Додельцев, которого я уже упоминал в предыдущих главах, тот самый, что помог мне защититься от нападков злого декана, говорил мне задумчиво: «Эх, Андрей, Андрей, всё у тебя есть, чтобы сделать фантастическую карьеру, но, увы, есть и роковой недостаток: ты не пьешь». Имелось в виду, что я не могу употребить большого количества алкоголя, что мне одной-двух рюмок обычно за глаза хватает. А если я, насилуя организм, превышал свою «дозу», то мне становилось дурно, а я этого терпеть не мог.

Между тем, Додельцев был прав. Алкоголь был главным смазочным материалом советской системы.

Я в этом убеждался неоднократно, но самое яркое впечатление из этого ряда приобрел в конце 1976 года, когда ТАСС направил меня на стажировку в Уральское отделение в городе Свердловске (вернувшем себе теперь свое исконное имя Екатеринбург). Заведующий послал меня «освещать» открытие какой-то очередной домны в Нижний Тагил. Само мероприятие было скучно дежурным, в репортаже тоже было не до выпендрежа, я оттарабанил по телефону необходимый набор трескучих фраз в искусственно восторженном тоне – всё как полагается. И тут нас всех собрали, посадили в автобус и повезли отмечать грандиозное событие на дачу первого секретаря горкома партии. Дача была замечательная, большая, вполне себе на

уровне миллионерской виллы где-нибудь на «загнивающем Западе», вокруг был чудесный лес с соснами и кедрами. Но нам подышать и погулять не дали, сразу стали загонять за стол. По дороге я заглянул в некое складское помещение и ахнул: оно всё, до самого потолка, было забито ящиками с водкой. За столом нас посадили так, чтобы по обе руки сидели партработники, которые внимательно следили за тем, чтобы никто не отлынивал от выпивки, чтобы опрокидывали рюмки, кричали: «до дна». Закуска тоже была обильной и богатой, но это мало помогало. Один за другим провозглашались тосты: за домну, за родную КПСС, за Леонида Ильича, лично за первого секретаря горкома. А потом по очереди за те газеты, агентства и радио- и телестанции, которые мы представляли, за ТАСС тоже, разумеется. Мое счастье было всё в том же здоровом сопротивлении организма, иначе тот вечер я мог бы и не пережить. Содержимое пары рюмок мне таки удалось отправить под стол. Потом сумел добраться до туалета, где меня вырвало. Когда бледный, в холодном поту вернулся за стол, мои партработники то ли сами уже сильно наклюкались, то ли пожалели меня, в общем, давление ослабло, удалось начать увиливать. Пиршество завершилось около двух ночи. Далеко не все из гостей оказались способны передвигаться самостоятельно. Для кого-то пришлось вызвать скорую, не знаю, остался он потом в живых или нет. Других, кто не мог идти, тащили в автобус. Третьи шли сами, но качались так, что страшно было смотреть. Зрелище было сюрреалистическое и страшное. Но как-то загнали всех в автобус. Повезли на вокзал. Первый секретарь поехал нас провожать на своей черной «Волге». Спецвагон, в котором нас привезли, был в наличии, но прицепить его было не к чему: выяснилось, что поездов до Свердловска не будет до утра. Но выход нашелся. «Где там у нас резервный тепловоз – на случай атомной войны который?», спросил главный коммунист Нижнего Тагила. Ему сообщили, что таковой в наличии, но правилами его использование в мирное время категорически запрещено. «Под мою ответственность!», рявкнул Первый, и мы поехали. Но всю дорогу пассажиры наши то песни орали, то плакали, то блевали. Несколько счастливых отрубилось и тут же заснуло глубоким, нездоровым сном.

С тех пор я понял, на чем зиждется в СССР партийное руководство. Придя к власти, Горбачев совершил чудовищную ошибку, объ-

явив некое подобие частичного сухого закона. Возможно, эта мера была необходима спивающейся стране, но нельзя было начинать с этого перестройку. Он сразу истратил на нее весь свой кредит доверия, его возненавидели миллионы людей, включая партаппарат. Из-за этого и все реформы потом принимались заведомо в штыки.

Так что да, правы были и Додельцев, и Вася Захарько, страну и систему склеивал материал, который крайне сложно было у людей забрать.

Еще одна наглядная иллюстрация этого тезиса сидела рядом со мной на рейсе Москва-Мадрид. По прибытии Сергей Иванович словно в шторм попал, так его швыряло из стороны в сторону. Я подхватил его под руку, помог сойти с борта самолета, перед паспортным контролем он собрался, всё прошло гладко. А в зале прибытия нас встретил корреспондент «Известий» Владимир Верников, проявивший верх гостеприимства.

Но вот на обратном пути... на обратном пути всё оказалось гораздо сложнее. У Смирнова было много друзей – журналистов, фотографов, сотрудников «девятки». Помимо официальных протокольных моментов на конференции, я его мало видел, он делал свое дело и куда-то исчезал. На полях конференции в Мадриде проходила также встреча на высшем уровне Горбачев-Буш. Потом они давали совместную пресс-конференцию. Жаль, Смирнов не запечатлел довольно острый момент. Я получил возможность задать вопрос Горбачеву и умудрился его сильно расстроить, даже разозлить. Я опешил слегка, не ожидал, что он так остро будет реагировать. Должен же он был все-таки держать удар, да я и не ударял специально, мне просто хотелось выяснить, как они с Ельциным в этот странный момент делили власть и участвовал ли в этом кто-то еще. Его ответ показал, что там, наверху, творился хаос.

А спросил я следующее: «Михаил Сергеевич, а кто остался у руля на время вашего отсутствия в Москве?». Горбачев покраснел, стал говорить резко и немного сбивчиво, смысл сводился к тому, что никто вместо него не остался, да и не нужно это, всё и так под контролем.

Ответ тот подтвердил то, что я и так подозревал: что власть постепенно переходит к Ельцину.

Наверно, Горби обиделся и потому, что усмотрел в моем вопросе

ехидный намек на августовские события: тогда у него был заместитель, вице-президент Геннадий Янаев, который оставался «у руля», пока президент отдыхал в Форосе. Роль Янаева не до конца ясна, но заговорщикам он был абсолютно необходим для легитимизации переворота, исполняющий обязанности президента – почти президент... И он с готовностью присоединился к путчу, вошел в ГКЧП, только вот руки дрожали перед телекамерой. Теперь заместителя у Горби не было. Но он действительно не был больше нужен. Равно как и министры, и начальник протокола и другие атрибуты высшей государственной власти. Эта была последняя его встреча на высшем уровне и последняя пресс-конференция в качестве главы великой державы, которой оставалось существовать всего несколько недель.

Когда мы расходились после пресс-конференции, где-то вдалеке мелькнул Гургенов, он мне кивнул и, кажется, даже подмигнул: я понял это так, что он хотел сказать: «классный задали вопрос». Но, может быть, мне это показалось.

А вот то, что Сергей Смирнов в тот момент в зале отсутствовал, меня слегка разочаровало, всё же и вопрос мой, и ответ Горбачева – принадлежало истории.

Но Сергей Иванович где-то загуливал. Появился только в аэропорту, в последний момент, я уже нервничал: что делать, если не появится? Слава богу, явился, не запылится. Но в состоянии уже изрядного подпития. Не просто подшофе, а серьезнее. Более всего меня поразило, что он тащил с собой огромное количество каких-то свертков, пакетов и сумок, больше десятка. Быстренько мобилизовав всех попавшихся под руку знакомых и незнакомых, он с их помощью протащил всю эту поклажу на борт самолета, и мы с ним как-то исхитрились разместить ее – на верхних полках, под сиденьями и так далее. «Что это, Сережа, подарки семье и друзьям?», – не удержался я. «Надо людям помогать», – загадочно проскрипел он. Видимо, решил я, передач каких-то набрал от друзей. Вскоре после взлета, к моему ужасу, он извлек из одного из пакетов очередную бутылку. Но тут меня позвали в первый класс к Гургенову, и я оставил Смирнова один на один с зеленым змием, впрочем, как потом выяснилось, он мгновенно нашел себе других партнеров, как это всегда с ним бывало. Когда я перед посадкой вернулся на свое место, то коллега мой пребывал в серьезной задумчивости и молчал. «Плохо

дело!», подумал я. Но не догадывался, насколько плохо.

Когда самолет остановился, то выяснилось, что Сергей Иванович не может встать из кресла. Потом, правда, с моей помощью как-то поднялся. Но собрать свои десять или двенадцать сумок и пакетов был явно не в состоянии. И на этот раз никто не собирался нам с ним помогать. Я запаниковал. Вот-вот измаявшиеся люди потоком хлынут мимо нас, устремляясь на выход, а мне предстоит поддерживать Смирнова, может быть, даже тащить его, следить, чтобы он не попал под горячую руку какого-нибудь милиционера, при этом и паспортный контроль, и таможеню как-то с ним надо пройти, а что в этой ситуации будет с его чертовым ручным багажом, я даже представить себе не мог. И тут, от полного отчаяния, меня осенило. Пассажиры первого класса уже собирались покинуть самолет, когда я догнал Гургенова с криком: «Вячеслав Иванович, выручайте!». В двух словах объяснил ему, в чем дело. «Ноу проблем», – сказал он, – подождите на борту несколько минут». Я вернулся к Смирнову, который довольно смешно ковырялся со своей бесконечной поклажей, безуспешно пытаясь как-то собрать ее вместе. Минут через пять, а может, и того меньше в самолет вошли несколько подтянутых молодых людей в штатском. За секунду они подхватили и весь груз, и самого Сергея Ивановича под микитки и в очень высоком темпе устремились через телетрап в здание аэропорта. Я еле поспевал за ними. А потом и вовсе потерял их из виду. Встретились мы уже только за погранконтролем и таможеней, где присмирившего и вроде почти трезвого Сергея Ивановича мне передали из рук в руки. И весь багаж тоже был при нем. Это была, наверно, единственная в своем роде кагебешная операция, безусловно достойная восхищения.

Но вот что самое поразительное: Смирнов продолжал работать, снимать и пить водку еще долгие годы, и каким-то невероятным образом всё время благополучно выходить из всех передраг. А то, что он в них регулярно продолжал попадать, я нисколько не сомневаюсь. Беспокоился я о его печени: как она-то выдерживает? Но, видимо, запас здоровья в этом удивительном человеке был невероятный. Он дожил до 92 лет и почти до конца работал, выставки персональные проводил и так далее. Да, были люди в наше время...

Гургенова я больше никогда не видел. Но недавно мы его вспомнили с моим другом, человеком, поверившим в меня в свое время

и взявшим на работу в лучшую газету в мире, Владимиром Скосыревым. Володя знал его, хоть и не близко, по институту Востоковедения, а затем по Дакке, где они оба, вместе с другими журналистами, дипломатами и шпионами оказались после окончания войны за независимость Бангладеш в одном отеле. Он вспоминал его как на редкость общительного, веселого человека, хохмача, любителя розыгрышей. Это описание совсем не подходило к тому Гургенову, с которым общался я. То ли быстрый карьерный взлет в той организации выбивает юмор и радость жизни из человека, то ли он не мог или не хотел раскрываться передо мной. Пришло вдруг в голову: а ведь он в те безумные дни после поражения путча и ареста председателя КГБ Крючкова и некоторых его заместителей, увольнения непосредственного начальника – Шебаршина, ждал любого развития событий. Тоже и увольнения, а то и ареста. Всё в те дни было возможно. Я думал, что это я напрягаюсь в его присутствии, а он, возможно, ничуть не меньше напрягался в моем. На безрыбье и рак рыба, в такие моменты и новый международный редактор «Известий» может показаться соломинкой, за которую надо ухватиться. Мы вот (я, по крайней мере) не верим, что шпионы, настоящие, успешные, для которых их профессия стала второй или первой натурой, могут видеть в нас, простых смертных, человеческое. Мы для них – лишь объекты для манипулирования, инструменты добычи секретов или влияния. Но и мы не видим в них людей. А вдруг это не всегда правильно? И вот, задним числом, вспоминая наши странные встречи, мне начинает казаться, что в Гургенове я что-то такое разглядел... Или это он так успешно мной проманипулировал, «охмурил» меня? Я не знаю. Парадокс: при всём моем, мягко говоря, сложном отношении к Примакову, мне уже и решение генерала не рваться к власти самому, а лояльно поддержать академика, тоже кажется поступком скорее достойным.

Кто бы мог подумать тогда, осенью 1991 года, что Вячеславу Гургенову, такому молодому, крепкому и спортивному на вид, оставалось жить меньше трех лет. Он умер, не дожив до шестидесяти.

Вскоре после моего возвращения из Испании в моем кабинете появился бывший глава разведки КГБ, а затем – недолго – и председатель всего комитета Леонид Шебаршин. Он пришел просить – но

не за себя. А за другого человека. Не буду ли я так любезен, не соглашусь ли встретиться и пообщаться с Юрием Ивановичем Дроздовым, еще одним бывшим генералом КГБ?

Дроздов долгие годы возглавлял самое секретное и окутанное туманом легенд подразделение разведки – Управление «С». И вот теперь его уволили, вывели на пенсию, а он хотел бы что-то объяснить, может быть, дать интервью или написать статью. «Ну, пошли косяком, – думал я, – к добру ли это?». Но отказаться от встречи с Дроздовым я уж точно не мог. Думал: хоть режьте меня, но такого персонажа я должен увидеть! Ведь он считался чуть ли не прообразом «Карлы» – придуманного английским писателем Джоном Ле Карре гениального злодея, руководившего советскими гнусностями по всему миру, плетущего невероятно сложные, многоходовые интриги, обманывающего все контрразведки мира. Такой паук, опутавший мир своей паутиной, могучий мозг советской шпионской системы. Начальник и бог всех так называемых «нелегалов» – всех штирлицей, русских людей, сумевших перевоплотиться в американцев, англичан, французов и так далее. Понятно было, что это художественное преувеличение, но всё равно это должен был быть особенный какой-то человек.

Представлял я его себе так: стальной взгляд серых, пронизывающих тебя насквозь немигающих глаз, благородная седина, изобретенное морщинами эффектное лицо прошедшего сквозь огонь, воду и медные трубы, всё на свете повидавшего человека, красивого зловещей красотой. В общем, голливудский злодей.

В кабинет ко мне вошел худой старикан с удивительно узким, вытянутым лысым черепом, большим носом и ушами, и маленькими глазками. Никакого магнетизма он не излучал. В Гургенове и Шебаршине, при всей их внешней интеллигентности, всё же ощущалось присутствие какой-то мрачной, темной силы. Здесь я ничего подобного не почувствовал, впрочем, особой интеллигентности не ощутил тоже. По первому впечатлению: то ли заместитель командира дивизии по хозяйственной части, то ли директор провинциального завода, опять же военного назначения. Вполне возможно, я был неправ, и вообще внешность, как известно, бывает обманчива. В любом случае я скрыл свое разочарование, любезно ему улыбнулся, предложил присесть. Подумал: в конце концов это основатель

Управления Павел Судоплатов, давший ему название по первой букве своей фамилии, должен был непременно что-то такое страшное излучать, ведь он и его подчиненные в сталинские времена в основном занимались убийствами и диверсиями. Теперь, насколько я понимал, деятельность этих людей сводилась к вербовкам и добыче информации, в подавляющем большинстве случаев они даже не прикасались к оружию.

«Нелегалы» – это прошедшие особую, крайне изоциренную подготовку и внедренные по фальшивым документам в чужое общество шпионы. В то время как другие, обычные разведчики работают под прикрытием (на жаргоне «под крышей») посольств и других загранпредставительств, эти выдают себя за граждан других стран и живут прямо среди местного населения. В США много сезонов идет с большим успехом сериал про семью таких фальшивых американцев, а на самом деле русских людей, они известны всем вокруг как Элизабет и Филипп, а на самом деле они офицеры КГБ Надя и Миша (сериал так и называется – «The Americans»). Как развлечение замечательно сделано, актерская игра тоже более чем убедительна, но герои очень много стреляют и убивают. Это, конечно, имеет мало отношения к реальности, но у телесериалов свои жанровые законы, достоверное отображение жизни разведчиков-нелегалов никому не нужно, никто такого смотреть не станет: скучно.

Хотя, конечно, если задуматься, сам по себе институт «нелегалов» – это нечто поразительное. И я именно что задумался. После знакомства с Дроздовым, сенсационного журналистского расследования, которое мы провели в «Известиях» (о нем чуть позже в этой главе), я занимался этой темой и в Лондоне, писал и делал радиоочерки и по-русски, и по-английски. Не стану утверждать, что стал настоящим экспертом в этой области, нет, не стал. Но кое-что для себя и читателей выяснил. И даже роман написал на эту тему.

Первый вопрос, которым я задался: а есть ли нелегальные разведчики у западных государств? Ответ: нет. Но почему же? А равным счетом потому же, почему в городах Запада не существует подземных метростанций-дворцов, которыми так гордится Москва. Это слишком дорого. Только сталинская экономика, использовавшая рабский и полурабский труд, могла позволить себе сооружать на невероятной глубине эти архитектурные и инженерные шедевры.

Только «социалистические» страны, практически не считавшие денег, могли вбухивать сумасшедшие средства в подготовку и внедрение в чужие общества своих граждан, убедительно изображавших местных жителей.

Некий бывший сотрудник управления «С» хвастался, что один разведчик-нелегал обходился советскому бюджету как реактивный самолет. Может быть, это и преувеличение, но нет сомнений, что «удовольствие» это крайне дорогое. С прагматической, западной точки зрения такая игра не стоит свеч.

Как и всё в СССР, нелегальная разведка постепенно выродилась, «дошла до мышей». До «плэйгёрл» Чэпмэн и каких-то людей, так плохо, с таким сильным акцентом говорящих по-английски, что уже и американские соседи подозревали их в том, что они шпионы, причем именно русские. Но тот факт, что и сегодня нелегальную разведку или то, что от нее осталось, пытаются сохранить, сам по себе – симптом, признак аномалии: в нормальных странах ее быть не должно. Гораздо эффективнее опираться на средства электронной разведки и мониторинга, дополняемые возможностями резидентур под крышами посольств и других официальных представительств. Хакеры гораздо эффективнее любых «нелегалов». А искусственно поддерживать дорогостоящие и малоэффективные инструменты сбора информации – анахронизм, удел таких государств, как Северная Корея.

Но когда-то это была мощная, крайне таинственная и зловещая система, которая не могла не внушать некоторого невольного уважения даже у противников.

Самыми знаменитыми нелегалами СССР XX века были Рудольф Абель (он же на самом деле Вильям Фишер) и Гордон Лонсдейл (в действительности Конон Молодой). Первый из них весьма эффективно добывал для советского военно-промышленного комплекса секреты атомные (в США), а второй – военно-морские (в Великобритании). Обоих приговорили к длительным срокам тюремного заключения и обоих затем амнистировали, чтобы обменять. Абеля – на летчика Гэри Пауэрса, чей самолет был сбит над Уралом. Молодого – на схваченного и осужденного в СССР британца Гренвилла Винна.

Забавно, что я от них обоих – Фишера и Молодого – на расстоянии всего двух рукопожатий, то есть близко общался с людьми, неоднократно жавшими им руки. (Есть теория, что мы все, живущие

на Земле, отстоим не более чем на шесть рукопожатий от любого другого жителя планеты).

С Абелем-Фишером в молодости служил вместе в радиотехнических войсках, и затем поддерживал отношения актер и директор Малого театра Михаил Царев, с которым в свою очередь тесно и часто общался мой отец (ну и я иногда заодно). А с Молодым дружил в студенческие годы мой любимый преподаватель арабского в МГИМО, мой ментор, а потом и чрезвычайно дорогой мне старший друг



Председатель КГБ В. Е. Семичастный (1-й слева) принимает советских разведчиков Рудольфа Абея (2-й слева) и Конона Молодого (2-й справа). Москва, сентябрь 1964 года

Владимир Сегаль. После возвращения Молодого из Англии в 1964 году они возобновили общение.

Тем не менее оба гениальных шпиона для меня остаются большой загадкой.

И главная – осознавали ли эти два блестящих, исключительно одаренных человека, какому режиму служили не за страх, а за совесть? И если да, то в какой степени? И не мучили ли их иногда сомнения?

Про Лонсдейла-Молодого снят знаменитый фильм «Мертвый сезон», а Абель-Фишер выступает там в качестве главного консультанта и даже в начале появляется перед камерой собственной персоной. Донатас Банионис потрясающе играет главного героя, говорят, что видно какое-то внутреннее сходство, разведчик был так же обаятелен. Но что касается фактуры, то, судя по всему, правда там есть – разбросана отдельными крупными, но не более того. А в основном – туфта.

Стивен Спилберг снял про Фишера уже в наше время изумительный и куда более правдивый фильм – «Шпионский мост». Игра Марка Рэйлэнса, изображающего советского шпиона – выше всяких похвал, актерский высший пилотаж. Но в картине практически не показаны рабочие будни «нелегалов», они остаются за кадром.

В обоих фильмах нет и намека на то, как оба великих разведчика осваивались на родине после возвращения. Не посещали ли их сомнения относительно праведности дела, которому они служили и ради которого принесли немыслимые жертвы. Ведь жизнь «нелегала» – это постоянное, иссушающее душу и тело нечеловеческое напряжение, необходимость шизофренически делить свою жизнь на две, разные, несовместимые... Надо, конечно, обладать очень специфическим складом характера, чтобы на такое противоестественное многолетнее существование согласиться, но даже авантюристы от природы, получающие вроде бы от такой жизни удовольствие, часто заканчивают состоянием нервного срыва, если не полностью надорванной психики.

Про Фишера с этой точки зрения почти ничего не известно. Он был предельно осторожен и сдержан. Держал язык за зубами. Поддерживал официальные версии, которые ему предлагалось озвучивать во имя воспитания нового поколения разведчиков. Что понятно: ведь он, в отличие от Молодого, прошел сквозь сталинские жернова. Его то увольняли из органов, то брали назад, над ним постоянно висела угроза ареста, а то и уничтожения, ведь многие его коллеги и бывшие начальники гибли один за другим в застенках их собственной организации – НКВД.

Но Молодой оказался куда более своенравным и непокорным человеком, не желающим отказываться от собственного мнения или хотя бы скрывать его.

Сегаль рассказывал про него поразительные вещи. То, что он как родным, владел английским, понятно: в детстве успел пожить у тетки в Калифорнии. Но, став в 1946 году студентом института внешней торговли, он с нуля начал учить китайский и к концу обучения овладел им настолько, что написал учебник по этому языку. А ведь это один из труднейших языков для европейца, если не самый трудный – об этом еще пойдет речь в этой книге. Молодой явно обладал чрезвычайными талантами во многих областях, в том чис-

ле как экономист и бизнесмен. Шпионя в Британии, он должен был прикрываться статусом предпринимателя. Как бы между делом, занимаясь поставками торговых и музыкальных автоматов и еще какими-то проектами, он очень быстро разбогател, стал миллионером, купил яхту, целый парк автомобилей и так далее.

Сегаль, у которого тот бывал в гостях дома, рассказывал, что супершпион вернулся из Англии антисоветчиком. Вернее, быстро стал им, осмотревшись вокруг и сравнив реальность жизни в СССР с тем, что он видел на Западе. Особенно его угнетали низкая эффективность советской экономики, бессмысленно затратные способы ведения хозяйства, бюрократический и идеологический идиотизм – словом, всё то, что Кейнс называл «грязью, которую большевики предпочитают рыбе». Однажды, рассказывал Сегаль, Молодой, выходя из их квартиры, обратил внимание на прискорбное состояние лифта, запавшие кнопки, сломанную ручку. «В чем дело, что это такое? Что это за страна, где в центре Москвы, в доме, считающемся одним из приличных, такое происходит... и здесь всё так: убожество захлестывает», говорил он горько.

Он стал для КГБ раздражающим фактором, поскольку не скрывал своих взглядов, в том числе и в своих выступлениях перед сотрудниками. За ним была установлена слежка. Молодого это бесило, он говорил: считаюсь героем, но мне не доверяют. Думают, что меня в английской тюрьме перевербовали, что ли? В ведомственной поликлинике врачи в погонах навязали ему какие-то инъекции, хотя на здоровье он не жаловался. Уколы провоцировали сильные головные боли. Когда он жаловался на них, ему говорили: так и должно быть, сначала станет хуже, чтобы потом было лучше. И вскоре он умер от инфаркта, собирая грибы в подмосковном лесу в возрасте 48 лет. Убили? «Ликвидировали»? Всё может быть, хотя правду мы уже не узнаем никогда. Перебежчик, майор госбезопасности Виктор Шеймов в своих мемуарах писал, что решил порвать с КГБ и бежать в США после того, как его ближайший друг, тоже комитетский офицер, был убит за то, что открыто критиковал советскую действительность.

В каком-то смысле противоположность Молодому – другой, гораздо менее известный на Западе человек, но тоже – легенда в разведывательных кругах, по имени Александр Коротков.

Молодой – вундеркинд, отпрыск профессорской семьи. Коротков – пролетарий, пришедший в «органы» даже средней школы не окончив. Но это был странный самородок, действительно будто созданный для этой страшной профессии.

В ОГПУ он служил лифтером, но в сталинские времена непрерывных чисток и катастрофической нехватки мало-мальски грамотных кадров работать оказывалось буквально некому. И вот дошли до того, что лифтера без всякого образования взяли на оперативную работу с условием, что он «как-нибудь подучится». Наверно, в большинстве случаев это не очень хорошая идея – заполнять оперативные вакансии первыми попавшимися под руку пролетариями. Но это был случай исключительный.

Коротков не просто «подучился», но и овладел среди прочего французским и немецким языками. Одно время, выдавая себя за австрийца, учился в Сорбонне – парижском университете. Обладал феноменальной памятью. Поражал воображение своим полным, почти патологическим бесстрашием. Например, нелегально пробирался сквозь блокаду советского посольства в Берлине после начала войны в конце июня 1941 года и, используя свою агентуру, передавал в Москву информацию о сложившейся ситуации, получал инструкции. Это позволило добиться полного обмена советской колонии на сотрудников посольства Германии в Москве несмотря на то, что последних было в несколько раз меньше. Можете себе представить, как он рисковал, что сделали бы с ним гестаповцы, если бы поймали.

С другой стороны, он же организовывал убийства «предателей» и троцкистов за рубежом и сам, лично убивал. Руководил расправами с восставшими венграми в 1956 году. То есть был совершенно



Александр Коротков

беспощадный, действительно страшный человек, убийца и боевик с массой крови на руках. И вот он-то в 50-х и командовал всемирной сетью «нелегалов», это он стоял за миссиями и Фишера, и Молодого. И бог его знает, за какими еще, ведь мы знаем только о провалившихся, об успешных нам узнать неоткуда. А ведь их наверняка было немало. Руководил он «нелегалами» много лет и, судя по всему, весьма эффективно. Умер, правда, чрезвычайно рано, до 52 лет не дотянул, всё же такая жизнь даром не дается. Или его тоже на всякий случай «ликвидировали»? И кстати, об этом до сих пор широко применяемом термине, перекочевавшем в язык советской и российской прессы из чекистского жаргона. Мне он кажется отвратительным, зловещим, он подразумевает, что «ликвидируемые» как будто и не люди вовсе. Не достойные глагола «убить». Характерно, что в английском аналога нет.

Но подводя итог: если кто-то и мог бы служить действительным прообразом жуткого и зловещего «Карлы», так это он, Александр Коротков.

На Западе и до сих пор широкая публика имеет самое смутное представление о масштабах советского шпионажа, а тем более о таких тонкостях, как различия между «легальной» и «нелегальной» разведывательной деятельностью. Кое-что пытался объяснить публике Георгий Агабеков, бежавший на Запад в 1937 году. Но всё тот же Александр Коротков его «ликвидировал», заманил в ловушку и убил на испано-французской границе. Потом были разоблачения Александра Орлова, спрятавшегося от Сталина в США. Но они носили более общий характер. В 1954 году офицер КГБ Евгений Брик отчаянно хотел поведать всему миру правду именно о нелегальной разведке. Позвонил однажды в редакцию монреальской газеты «Газетт» и торжественно заявил: «Я – русский шпион. Хотите, расскажу вам свою историю?»

Но голос Брика звучал не слишком трезво, журналисты ему не поверили, решили, что их разыгрывают и бросили трубку. А зря. Он мог бы поведать газетчикам, а, следовательно, и всей Канаде, такие подробности, которые не снилась голливудским продюсерам. В том числе и о том, почему годы подготовки и немалые деньги, потраченные на внедрение Брика в чужое общество, пошли насмарку из-за «человеческого фактора» – любви к женщине и невыносимого на-

пряжения тайной, двойной жизни. Он долго пытался смягчить его алкоголем, но, видно, не помогло.

Монреальские журналисты ошиблись, потому что им не хватило воображения, они ничего подобного даже представить себе не могли. А потому тайны Брика достались канадской контрразведке, он стал работать на нее, превратился в так называемого «двойного агента». Термин, кстати, тоже не совсем точный, в данном случае – калька с английского. Ведь в подавляющем большинстве случаев он означает, что шпион перевербован и работает на одну, конкретную спецслужбу, а агентом другой лишь притворяется. Евгений Брик много вреда успел причинить ведомству Короткова, прежде чем его самого выдал Москве – за 5000 долларов – другой «двойник», сотрудник канадских спецслужб, которому надо было покрыть растрату.

Коротков надеялся, что эта анекдотическая история останется изолированным эпизодом. Но при схожих обстоятельствах сгорели еще несколько нелегальных резидентур. Вот и Фишера-Абеля подвел под монастырь помощник – тоже офицер госбезопасности Рейно Хейханен, явно не выдерживавший испытания постоянным напряжением тайной жизни, искавший спасения в алкоголе, а нашедший в нем погибель. Его, судя по всему, также «ликвидировали» как предателя, в 1961 году. Правда и сам великий разведчик Фишер хорош – забыл в кармане костюма среди других, нормальных монет пятицентовую, в которой был спрятан микрофильм с зашифрованным шпионским текстом. Монета через химчистку попала к каким-то совершенно посторонним женщинам, которые расплатились ею с мальчишкой-газетчиком. Тот уронил монету на землю, и она распалась на две половины. Пару дней спустя невиданный в нумизматике экземпляр изучали в ФБР.

Так началась охота на Фишера-Абеля, длившаяся четыре года, но установить его личность не удалось бы без показаний Хейханена, который сдался американским властям.

Нелегальные резиденты испытания не выдерживали всё чаще. При всей тщательности их отбора и подготовки им явно не хватало чего-то, что позволяло их довоенным предшественникам – высокообразованным старым большевикам – выносить любой стресс, безошибочно импровизировать под давлением, очаровывать окружающих. Но теперь почти никого из старой гвардии не осталось – одни

были репрессированы Сталиным, другие погибли во время войны. Им на смену приходили совсем другие люди. Еще хуже обстояло дело с качеством новой агентуры. Правда, старые, завербованные до войны «звезды» вроде Кима Филби и его кембриджских товарищей, по-прежнему снабжали Москву первоклассной информацией (которой Сталин, впрочем, часто не верил, что и привело к грубым внешнеполитическим ошибкам). Среди создателей атомной бомбы нашлись убежденные люди, считавшие делом принципа поделиться ядерными секретами с СССР. Но теперь всё чаще приходилось полагаться на наемников, движимых алчностью и личными обидами, а не идеями. Причем даже те, кто еще не разочаровался в коммунистических идеалах, зачастую стали шпионской работой брезговать. Сталин заявил, что «таких коммунистов в колодец надо бросать». Центр пытался компенсировать эту слабость постоянным наращиванием вкладываемых в разведку средств и жестокостью наказаний, но ни страх, ни деньги не могли заполнить образовавшуюся пустоту. Оставалось только делать вид, что речь идет о временных трудностях, очень уж не хотелось признать, что «золотой век» советской разведки на Западе кончился.

Между тем, происходившее в мутном мире международного шпионажа было лишь симптомом. Немногочисленные официальные представители сталинского СССР совсем не были похожи на своих убежденных и обаятельных предшественников довоенного времени. Это были застегнутые на все пуговицы, всегда мрачно сосредоточенные в ожидании подвоха люди – результат жизни в обстановке массовых репрессий. На смену марксизму и интернационализму пришли государственный национализм, антизападничество и антисемитизм. Собственно, марксизма эти «новые русские» даже не знали: глубокое изучение классиков не поощрялось, многие их статьи к публикации на русском языке не допускались. Требовалось лишь зазубрить набор вырванных из контекста цитат и лозунгов, многие из которых потеряли всякий смысл. Если лозунг не соответствовал действительности, следовало отрицать действительность – или быть готовым к встрече с карающим мечом партии. Кого и в какую веру могли обратиться эти люди?

«Нелегалы» должны были отличаться от этого среднего уровня – но выше головы не прыгнешь. Гении сталинского шпионажа – те

же Коротков и Фишер-Абель были осколками прежнего величия. Молодой – одним из редких исключений, подтверждавших правило: его антиконформизм, трагически для него закончившийся, показал, что он был сделан из иного, не совсем советского материала – жизнь в детстве в Калифорнии, возможно, что-то предопределила, а потом военное время не дало испытать всех прелестей сталинизма.

Вторая мировая война, казалось бы, завершилась триумфом Советского Союза, который, пусть и ценой невероятных потерь, но одолел могучего врага. СССР существенно расширил свои границы и зоны влияния, создав государства-сателлиты в Восточной Европе. Победа в войне, а затем и обретение ядерного оружия сделали его супердержавой. И только много лет спустя, оглядываясь назад, можно было понять, что после этой вершины дорога вела только в одном направлении – вниз.

Но эта потеря величия и жестокой эффективности поворачивалась для предельно измученного, измотанного народа положительной стороной. Государство оставалось тоталитарным и по своей сути лживым, но в разы стало меньше насилия и крови. Наступали так называемые «вегетарианские времена». Какое общество, такая и разведка. В том числе и нелегальная. Сравнить хотя бы внешние впечатления. У Александра Короткова глаза на фотографиях были прищуренные, а губы злые и удивительно узкие, почти сливающиеся в черточку. То ли дело душака Юрий Иванович Дроздов. В сравнении со своим жутким предшественником, он казался какой-то безобидной, чуть ли не домашней, совсем не зловещей версией шпионского начальника. Но, может быть, внешность всё же обманчива, думал я, ведя с ним душевноразрешительные беседы в моем известинском кабинете.

В защиту Дроздова должен сразу сказать следующее: из разговоров с его бывшими подчиненными мне известно, что он гениально владел немецким языком. Свободно выдавал себя за немца. А значит, видимо, был наделен и актерскими способностями. И отвагой тоже. Блестяще сам проводил сложные операции за рубежом. В том числе отличился в самом начале своей шпионской карьеры, успешно изображал «немецкого» кузена Фишера-Абеля, устанавливал с ним контакт, а затем участвовал в его обмене на Пауэрса на Глиникском мосту. Кроме того, был то, что называется, «отец солдатам» – требователен, но справедлив и заботлив, защищал своих под-

чиненных от нападков со стороны. То есть, используя модное ныне выражение, «своих не сдавал».

Но есть что про него сказать и с позиций обвинения: он был одним из организаторов штурма дворца президента Афганистана Амина в декабре 1979 года. Там были убиты и сам президент, и его охрана, и прислуга, и большая часть семьи. По свидетельству очевидцев ковры во дворце буквально «хлюпали от крови». Ни юридического, ни морального права на это массовое бессудное убийство Дроздов и его команда не имели, это было настоящее военное преступление, как, впрочем, и вся советская авантюра в Афганистане. Так что всё-таки внешность обманчива, не такой уж добрый дедушка был этот лысый генерал...

Поздней осенью 1991 года он страстно хотел напечатать в «Известиях» статью, сказать в ней «всю правду-матку» – про то, что демократическая революция, только что случившаяся в стране, разгром ГКЧП, расформирование КГБ, провозглашение свободы слова и печати – есть лишь реализация заговора ЦРУ, последствия действий предателей – Горбачева, Ельцина и прочих. Но когда он принес текст этой статьи, я был поражен до глубины души. Не ее антидемократической направленностью, нет, я же был заранее предупрежден, что именно так и будет. Но я ожидал чего-то по-иезуитски изощренного, перемешивающего ложь с полуправдой, ловко передергивающего факты – в общем, этакое кагебешного «активного мероприятия» (так назывались на жаргоне дезинформационные публикации, продвигавшиеся в иностранную прессу). Думал, что это будет написано талантливо, и что мне придется сильно подумать, можно ли печатать такую коварную «дезу» и если да, то в каком виде, в каком обрамлении, кто из известинских публицистов сможет на той же странице дать бой ловкой демагогии. Главное, что меня шокировало – это даже не отсутствие сколь либо интересной и новой фактуры, а примитивность формы. Такого дубового, заскорузлого суконного стиля я давно не видел. Это был уровень самых тупых передовиц – даже, пожалуй, не «Правды», нет – а провинциальной партийной печати брежневских времен. Я сидел, читал *это* уже во второй раз, тщетно пытаюсь найти в нем хоть какие-то крупинки если не свежих мыслей, то по крайней мере чего-то удобоваримого. Но здесь не было ни грана таланта, ловкости, ума, даже

демагогией это было назвать нельзя – так, нечто почти пародийное в своей прямолинейности. Я смотрел на Юрия Ивановича в недоумении, пытался понять: может, это розыгрыш? Да нет, не похоже. Но не может же быть, что передо мной – идиот?

Человек, 11 лет подряд руководивший Управлением «С», а до этого – резидентурами КГБ в Пекине и Нью-Йорке? Ну да, понятно, что это – иная профессия, нельзя от мастера разведки непременно требовать литературной или даже элементарной журналистской одаренности. А тут просто создавалось впечатление, что этот человек ничего, кроме тех пресловутых передовиц и не читал, и даже не представляет, что бывают какие-то другие тексты...

И тут коварство решил проявить я. Сказал: «Юрий Иванович, я предлагаю вам сделку. Я напечатаю эту статью такой, как она есть, не изменив в ней ни запятой. Но не просто так. У нас будет обмен – дашь на дашь. Вы напишете мне за это еще и другую статью. Про невероятные приключения ваших подопечных в разных странах мира. Если того требует секретность, можете скрыть или изменить имена и страны. Но суть, сюжет оставить. Дело в том, что мне не хватает сейчас в газете такого рода острой «клубнички». А вы, можно сказать, прославите советских нелегалов, покажете, какие это блестящие и бесстрашные люди. Сделаете им рекламу. Идет?».

Замысел мой был таков: во-первых, напечатать его «идеологическую» статью даже полезно: это ведь полнейшее саморазоблачение. Пусть читатель убедится в интеллектуальном убожестве врагов демократии. Но если я еще получу при этом «бонус», развлекательный материал, чтобы читателям было не оторваться, да который к тому же приподнимет завесу тайны над нелегальной разведкой, то это тоже будет большим достижением. Да все западные газеты перепечатают, где они еще такое найдут!

Дроздов с энтузиазмом согласился на мое предложение. Но когда он принес свой второй опус, то он оказался удивительно похожим на первый. К суконным языком изложенным «разоблачениям» были добавлены пара невнятных, лишенных всякой конкретики абзацев про героизм советских разведчиков и, в частности, «нелегалов». Это было невообразимо скучно.

Я в максимально тактичной форме объяснил генералу, почему это вовсе не то, что я имел в виду. Тогда меня осенило: я попросил

двух журналистов: очень опытного, великолепно образованного, с блестящим пером – Владимира Скосырева и хлестко пишущего, хваткого репортера Геннадия Чародеева посидеть с Дроздовым несколько часов и постараться что-то из него вытянуть. Потом организовать эту фактуру в максимально эффектный материал в надежде, что генерал это потом завизирует, и это можно будет напечатать от его имени. Эксперимент вроде бы удался. Результат был не блестящим, не идеальным, но всё же в меру занимательным. Но Дроздов, подумавши, внес в очерк сильно его ухудшившую правку, опять пытаясь его «идеологически заострить», вычеркнул неизвестно почему несколько увлекательных мест.

Я уже, честно говоря, сильно от этой ситуации устал. Точку, в конце концов, поставил заместитель главного редактора Владимир Надеин, который публикацию «зарубил». Решил: нет, вторая статья всё же недостаточно увлекательна, чтобы оправдать публикацию первой. Вполне возможно, что он был прав, но не печатать спорный материал – это всегда более простое решение. И не всегда верное. Таким образом из всего нашего «романа» с генералом Дроздовым ничего не вышло. Но совершенно неожиданно он нам помог раскрыть совсем другую историю, касающуюся нелегальной разведки.

На моем столе приземлилось письмо из Мексики с подколотым переводом на русский язык. Женщина по имени Анхелика Торраго умоляла помочь ей найти мужа – или хотя бы его могилу. Муж ее, швейцарский фотограф, оказался на самом деле никаким не швейцарцем, а русским шпионом, агентом КГБ. Когда она узнала об этом, то предъявила ему ультиматум: семья или шпионаж. Он, после мучительных раздумий, выбрал семью. Подал в отставку. Они были счастливы, он так любил двух своих дочерей. Но потом КГБ его похитил и вывез в СССР. Где с ним неизвестно что случилось. Все ее обращения – сначала к Брежневу, потом к Горбачеву, а теперь и к Ельцину остаются без ответа. Может, свободная пресса поможет?

Свободная пресса была бы рада разобраться в этой истории. Правда, меня мучили сомнения. Владимир Сегаль рассказывал мне про то ли своего дальнего родственника, то ли знакомого, который убедил жену, что выполняет задания КГБ в Иране, а на самом деле бежал к любовнице. Вдруг, думал я, и тут что-нибудь на самом деле амурное? Но ведь совпадение, подумал я, какое – у меня же очеред-

ные переговоры с генералом Дроздовым. Конечно, если история подлинная, то он не обязательно захочет сказать правду. Но почему же не попытаться?

Я показал ему перевод письма. Прочитав, генерал сказал: «Что-то не помню ничего похожего. Но могу позвонить в управление, попросить проверить. Можно воспользоваться вашей «вертушкой»?

Да, да, опять «вертушка», великий инструмент новой русской журналистики. Дроздов набрал какой-то номер и попросил человека на другом конце провода, к которому он обращался тоже как к «Юре», посмотреть по картотеке, не было ли такого случая?

Я сидел и думал: не снится ли мне всё это? Бывший главный начальник нелегальной разведки звонит нынешнему из моего кабинета, по моему телефону (хоть и особого рода) и по моей просьбе что-то выясняет... Второй Юра перезвонил первому минут через десять. И категорически заверил его, что ничего подобного с кадрами Управления «С» в Мексике никогда не случилось.

Почему-то я двум Юриям поверил, хотя, конечно, могли они меня и за нос водить. Я взял письмо и приготовился выбросить его в корзину для бумаг. Но Дроздов меня остановил. «Погодите, – сказал он. – А у «дальних соседей» вы не спрашивали? Может, это их история?».

«Да разве у них есть нелегалы?», удивился я. «Еще как есть», сказал Дроздов.

«Дальние соседи» – это сотрудники Главного разведывательно-управления (ГРУ) Генштаба. Еще я слышал от кагебешников куда более пренебрежительное прозвание – «сапоги». Этаким шпионский профессиональный снобизм. И проявление недоброжелательности – ведь две «конторы» между собой конкурировали, иногда жестко.

Кто-то когда-то убедил меня, что после войны Сталин отобрал у «дальних» дорогостоящую и рискованную игрушку, сделав нелегальные резидентуры монополией КГБ. И я почему-то этому безоговорочно поверил, поскольку мне это показалось логичным. Но теперь Дроздов категорически заверил меня, что это не так. И ГРУ продолжает активно такими формами разведки заниматься.

Я подозреваю теперь, что генерал с самого начала знал правду, но не хотел, чтобы дело выглядело так, будто он «заложил» конкурентов, подталкивал меня к тому, чтобы я сам вышел на след «воен-

ных». Может, и звонок в управление «С» был постановкой, может быть, Юра на том конце провода «вертушки» лишь подтвердил то, что Дроздов и так знал: похищенный советский «нелегал» в Мексике был офицером ГРУ. И только увидев, что я, по тупости своей, собираюсь письмо выбросить, вынужден был вмешаться и выговорить это вслух. Так что из нас двоих был идиотом, это еще неизвестно. Может быть, каждый по-своему.

Но спасибо и на том, подумал я. И бросился разыскивать нашего военного корреспондента Николая Бурбыгу, у которого были мощные связи в генштабе, да и в самом ГРУ.

Не буду описывать все перипетии этого расследования, сколько виски и других напитков Николаю пришлось выпить в банях с осведомленными людьми, но несколько недель спустя ему удалось выяснить и имя этого разведчика и то, куда его сослали после похищения из Мексики.

Звали его Олег Скорый, он работал против американцев под именем швейцарца Мориса Бронилье, был в этом настолько успешен, что его наградили орденом, присвоили воинское звание подполковника. Когда он попытался «подать в отставку», его заманили в столицу Перу Лиму и там похитили. Затем через Гавану вывезли в Москву. Конечно, грушникам надо было как-то эту странную историю объяснить ЦК, лучше всего представить случившееся со Скорым как результат психического заболевания, болезненный срыв, а не предательство. Тем более, что он и на самом деле находился в крайне тяжелом состоянии. Еще бы, если любого подвергнуть такому сильному и длительному стрессу, то это неизбежно отразится на нервной системе, а то и психике. Он оказался перед невозможным выбором, буквально разрываясь между любимой семьей и своим жутким пожизненным обетом шпионского долга.

В реальной жизни всё оказалось несколько сложнее, чем в письме. Судя по всему, мексиканская супруга Скорого была дочерью высокопоставленного чиновника Эрнесто Торраго, уже давно завербованного ГРУ. Так что брак разведчика с Анхеликой был подстроен шпионским ведомством, но вот ведь что бывает с людьми – они и на самом деле влюбились в друг друга не на шутку, настолько, что ситуация вышла из-под контроля. А потом еще родились обожаемые отцом дочки...

Согласно полуофициальной версии, распространяемой связанными с ГРУ журналистами (что не обязательно значит, что она – полное вранье), на каком-то этапе с разрешения Центра Скорый открылся жене, и та якобы согласилась ему помогать шпионить, используя свои журналистские контакты. Она даже дважды побывала в Москве. Однако в своем письме к нам она излагала иную версию, согласно которой открытие тайны мужа стало для нее полнейшим шоком и она с самого начала пыталась заставить его порвать со шпионажем, и ни на какую разведку сама не работала. Она даже не разобралась, к какой именно спецслужбе принадлежал Олег, была уверена, что это КГБ. В любом случае она была полна решимости во что бы то ни стало положить двойной жизни конец. Не понимая, что подобная «отставка» действующего офицера – дело немыслимое. Такого ГРУ не могло допустить ни при каких обстоятельствах. Почему сам офицер Скорый проявил такую наивность, предположив, что это может сойти ему с рук, понять сложнее. Видимо, он слишком хорошо вошел в роль швейцарского фотографа. Ну и очевидно: очень любил жену и дочерей. И психика была на пределе. Человеческое перевесило профессиональное, доказав, что «нелегалы» не роботы, а всего лишь люди.

Подводя итог: хорошо, что всего лишь похитили, а не убили. Уверен, что такой вариант тоже рассматривался. Но решили в конце концов проявить «гуманизм», хотя знающие люди говорят: если бы похищение почему-либо не удалось, то Скорый наверняка был бы уничтожен. На родине его объявили психически больным (так было удобнее для всех), уволили из вооруженных сил по болезни и даже орден и медали сохранили. Но вот чего «дальние» никак не могли предвидеть, решая, куда его спрятать после увольнения, так это развала Союза. Разрешили ему поселиться в родном Киеве. А Украина неожиданно оказалась независимой страной, власть ГРУ на нее больше не распространялась, оно не могло нам помешать довести расследование до конца, а знакомые украинские военные даже помогли Николаю Бурбыге нашего героя разыскать.

С помощью «Известий» было организовано невероятное свидание: мексиканка прилетела в Киев с двумя дочерьми. Можете себе представить, какие эмоции испытали все участники. И какой потрясающий журналистский очерк из этого получился. В любое

нормальное время такая публикация стала бы суперсенсацией, о которой долго бы потом говорили, по мотивам которой снимали бы телефильмы и так далее. Но начало 1992 года нормальным временем было назвать невозможно. В магазинах «взорвались» цены, десятилетиями создававшиеся экономические связи между республиками бывшего Союза разрывались, лопались. Огромные массы людей оказались взбудоражены и смертельно напуганы резкими переменами в своей жизни. Освобождение оборачивалось, как всегда это бывает, и своей опасной стороной. Временами казалось, что страна находится на грани гражданской войны, что Ельцин не удержит власть, и уже вызревал его смертельный конфликт с Верховным Советом.

В этой ситуации поразительная история роковой любви и шпионажа осталась почти незамеченной. А жаль, мы так старались...

У истории этой, к тому же, оказалась печальная, но логичная концовка. Уверенный, что никогда и ни за что уже не увидит семью, Скорый создал в Киеве новую. У него была теперь другая жена, его бывшая однокурсница по киевскому университету. Кстати, юридический казус: как всё же быть с нелегалами, считать их двоеженцами или нет? Они из всех норм международного права выпадают...

У меня по итогам всей этой печальной эпопеи осталось ощущение некоторой незавершенности, незаконченности. Наверно поэтому много лет спустя я написал по ее мотивам роман «Жена нелегала», вышедший в питерском издательстве «Амфора», в котором домыслил то, в чем мы тогда так и не смогли до конца разобраться. Интересовали меня вовсе не шпионские технологии, а психологическая коллизия, невозможный выбор, ставший перед главными героями, роль женщины, любви, семьи – всего естественного, идущего от сущности человеческой, в столкновении с искусственным, придуманным, лживым миром, эти ценности отрицающим. И чего ради, по большому счету? Сиюминутных политических интересов каких-нибудь кремлевских марзматики?

А еще позднее я написал антиутопию «Синдром Л», изданную в Москве ЭКСМО, в котором одна из центральных тем – любовь двух людей, подстроенная спецслужбой ради весьма неблагоприятной цели, но обернувшаяся совершенно непредвиденными и неприятными для шпионского начальства последствиями...

Книга «Судьба нерезидента» недавно вышла в свет в издательстве «Пальмира» (Санкт-Петербург)

Андрей Остальский на протяжении многих лет работал Главным редактором Русской службы Би-би-си. Много печатался в российской, британской, турецкой прессе. В постсоветское время возглавлял международный отдел «Известий», а до этого объездил почти весь Ближний Восток, Основатель газеты «Финансовые известия».

Автор научно-популярных книг на экономические темы «Краткая история денег» и «Нефть: сокровище и чудовище», «Спаситель капитализма. Джон Мейнард Кейнс и его крест», а также страноведческих – «Англия: Иностранец Ее Величества» и «Иностранец на Мадейре».

Издавал романы, главная тема которых – столкновение культур и национальных менталитетов: «Боги Багдада», «Жена нелегала», «Английская тайна». Есть среди опубликованных книг и жесткая антиутопия («Синдром Л») и сатирическая альтернативная история («Контрэволюция») и даже современная детская сказка «Приключения мистера Крокера».

Член редсовета журнала «Времена». Живет в Великобритании.

Раиса СИЛЬВЕР

МОИ ВСТРЕЧИ С АНДРЕЕМ СЕДЫХ

Андрей Седых (настоящее имя Яков Моисеевич Цвибак (1902–1994) – русский литератор, деятель эмиграции, журналист, критик, один из признанных летописцев истории русского Рассеянья, личный секретарь Ивана Бунина. Главный редактор газеты «Новое русское слово».



Фото Нины Аловерт

У многих из нас, прибывших в Америку взрослыми людьми, пути становления не были усыпаны розами. И я не была исключением. Получив американское гражданство, я была очень взволнована. Слишком много перемен произошло в моей жизни за эти годы. Очень грустных и очень радостных – всяких. С кем поделиться, кому обо всем этом поведать? Неожиданно для самой себя я решила написать письмо в газету «Новое Русское Слово». Было это весной 1982 года.

В жизни не писала писем в газеты, а тут вдруг – будто кто-то взял меня за руку, сказал: «Сядь и пиши!» Я взяла у мамы пишу-

щую машинку, дождалась, когда в доме все уснут и утром по пути на работу опустила в почтовый ящик тоненький конверт с двумя аккуратно напечатанными страничками, абсолютно не думая, какая судьба ожидает этот ни на что не претендующий безыскусный рассказ, исповедь о том, что мне пришлось пережить прежде чем стать гражданкой Америки. Просто мне совершенно необходимо было высказаться.

Через несколько дней мне позвонили. «Здравствуйте, с вами говорят из редакции газеты «Новое русское Слово». Мы хотим опубликовать ваше письмо. Нужны некоторые уточнения.» Через неделю я послала в газету рассказ, потом другой, третий. Мне так хотелось высказать то, что годами я носила в себе.

...Почти восемнадцать лет мои рассказы, стихи, очерки, интервью появлялись на страницах газеты. Когда чаще, когда реже.

С хозяином газеты и ее главным редактором, Андреем Седых, я познакомилась вскоре после моей первой публикации.

Я была по делам в Нью-Йорке и зашла к Борису Боцштейну, редактору газеты. В кабинете у него я увидела невысокого пожилого человека с очень выразительным лицом, внимательными цепкими глазами, элегантно одетого – солидный костюм, белоснежная рубашка, модный галстук.

– Яков Моисеевич, познакомьтесь, это наш новый автор, – представил меня Борис.

– Очень приятно, – живо отзвался Седых, пожимая мне руку. – А мне сказали, что приходила молоденькая жена раввина, не дождалась и ушла... Я решил, что она передумала и вернулась.

– Вы ошиблись. Приятно, что я в ваших глазах так молодо выгляжу. Думаю, однако, мне не светит когда-нибудь быть женой раввина. Просто уверена, что другое у меня предназначение.

– Очень интересно! Обожаю слушать о предназначениях. У вас есть несколько минут? Отлично. Давайте зайдём ко мне в кабинет.

Когда я сообщила моей подруге-журналистке в Москву, что познакомилась с Андреем Седых (разумеется иносказательно, ведь это было в доперестроечные годы), она написала: «У этого человека доброе имя» и добавила: «Константин Григорьевич Барсуков со мной приятно беседовал по этому поводу». В нашей с ней переписке мы так обозначали КГБ, по первым буквам имени человека.

А мне казалось, что ничего антисоветского в моих рассказах и встречах с А. Седых не было. Сам он, конечно, был убежденный антисоветчик.

С тех пор я время от времени звонила ему, рассказывала, что у меня в жизни нового, а если приезжала в Нью-Йорк, забегала в газету, заносила новый рассказ, очерк, порой он при мне его смотрел и тут же высказывался – то разбивал в пух и прах, то хвалил или просто говорил, : «Пойдет!» и материал появлялся в газете.

Иногда, когда позволяло время, мы ходили на ланч в ресторан неподалеку. Однажды Седых сказал:

– Приехал из Вашингтона Юрий Мейер. Познакомьтесь с интересным человеком. – Я с громадным интересом читала политические обзоры Юрия Мейера. Чувствовалось, что он человек глубоко эрудированный, образованный.

Кто-то сказал мне, что он жил в Германии, преподавал в американской разведшколе.

...У меня было ощущение нереальности происходящего – в шумном ресторане, в самом центре Манхэттена два очень немолодых человека вспоминали события, которые происходили в России в начале века и людей, с этими событиями связанных. Они говорили об общих знакомых, выпускниках царскосельского лицея, нескольких назвали поименно. А еще Мейер вспоминал, как подростком, придя домой из гимназии, он непременно читал «Русское Слово», которое издавал Вл. Дорошевич, не пропускал ни одного номера. Он вскоре откланялся и уехал – у него болела жена, он не мог ее надолго оставлять.

На меня Юрий Мейер произвел сильное впечатление. Высокий, представительный, учтивый. А какая у него прекрасная речь! Он выражался совсем не так, как люди, с которыми мне приходилось общаться там, в Москве. Человек другой эпохи. Мне очень хотелось узнать у Андрея Седых, какое впечатление производим на него мы, новые эмигранты из Советского Союза, мы ведь отличаемся от тех, кто когда-то эмигрировал из России, мы, разумеется, другие. Это так?

– Разумеется. И знаете, что я заметил? Какие-то все торопливые, что ли. Все очень спешат. Это, видно, дань времени, в которое вы там жили. Помните, у Грибоедова: «На всех московских есть

особый отпечаток»? Печать страны, печать времени. Да, другие. Вы привезли с собой «ту» страну – ее речь, обычаи, ментальность. И это понятно. Люди, живущие там, столького лишены. Ни хорошей квартиры, ни хорошей зарплаты, ни красивой одежды, ни машины, ни элементарного достатка. А бытие определяет сознание. Теперь надо наверстывать. Вот и спешат. А я тоже хочу вас спросить о чем-то. Видите, через дорогу от здания, где находится наша газета, большой ресторан. Вся стена стеклянная. Там что-то типа фастфуд – все забегают, хватают, жуют на ходу. Недавно были у меня трое. Одеситы. Очень колоритные люди. Разумеется, не просто так зашли, не с улицы. По рекомендации. Они мне предложили вступить в долю. Так, кажется, у вас говорят?

– Я никогда еще не вступала в долю, Яков Моисеевич. Со мной пока не говорили. Ни там, ни здесь. Вот если предложат, поделюсь впечатлениями.

– Короче говоря, они мне сказали, что если я внесу 300 тысяч наличными (они уверены, что я имею такую сумму), то мы все вместе сможем купить эту, как они говорят, «стекляшку» и что это будет чрезвычайно выгодная для меня сделка.

– Ох как интересно! Чем же все закончилось?

– Не было у меня таких денег. Триста тысяч, наличными... отказаться пришлось. Но скажите, откуда у эмигрантов такие деньги? Они же с собой не могут деньги перевозить. А там, в Союзе, откуда у людей могут быть такие деньги?

Он искренне удивлялся, а глаза так хитро смотрели – всё-то он понимал. Надо же, какой материал для газетного волка!

Общаться с ним было – всё равно что открывать толстенную книгу, состоящую из увлекательных историй, воспоминаний, анекдотических случаев. И все они были не похожи один на другой, как не похожи друг на друга мы, люди.

Это было удивительное общение, я – скромный московский инженер, он – известный журналист, хозяин и редактор популярной газеты. Человек он был легкий в общении, любознательный, остроумный.

– Так вы коренная москвичка?

– Да, выросла рядом с памятником Пушкину, на Тверском бульваре. Куличики там в песочнице лепила...

– А я в Феодосии рос. Хороший город. Отец был корреспондентом петербургской газеты «Биржевые ведомости», я ребенком, помню, обожал сидеть под столом, где стоял телеграфный аппарат, и играть в перфорированные ленты, которые из-под него выходили. Представляете, сколько новостей проходило тогда, в начале века, через мои руки и каких новостей! Я тогда ни о чем не догадывался по малолетству, а потом только до меня дошло... судьбы мира через руки проходили, проскальзывали.

– А когда вы оттуда уехали?

– В двадцатом году. Я учился в гимназии, мне было восемнадцать. Время было очень непростое. Гражданская война. Юношей моего возраста забирали в армию – неизвестно в какую – красную, белую, к Махно – город переходил из рук в руки. Отцу удалось устроить меня матросом на корабль, направлявшийся в Константинополь. Маму я больше не увидел. Она умерла от болезни сердца. А отец оттуда вырвался. Я его выкупил. Договорился с советским атташе в Париже и выкупил. Денег содрали уйму. Но это уже было в конце двадцатых, когда я мог как-то расплатиться. Я тогда уже журналистом у Милюкова работал в «Последних Новостях».

– У того самого Милюкова?

– А другого и не было, у того самого! Я закончил Высшую Школу Политических Наук, и буквально на следующий день Милюков меня зачислил на должность парламентского корреспондента. Я, разумеется, и до этого у него подрабатывал. Я был аккредитован при Елисейском Дворце. Двадцать два года проработал, до последнего дня, пока газета не закрылась в связи с войной.

– Так вы, наверно, Керенского знали..

– Что значит «наверно»? Ах, я на минуточку забыл, что говорю с человеком, родившимся в Союзе. Не только знал, общался! У меня с ним были хорошие отношения. Мы с ним много вместе гуляли, разговаривали... А человек он был очень непростой, эмоциональный, взрывчатый. Я понимал – и тогда, и потом, когда встречал его в Нью Йорке – он часть русской истории. С его характером, с его поступками. Такой, какой есть. Каким я его знал. У них с Милюковым были плохие отношения, они друг друга не любили. Так что при Милюкове о Керенском говорить не стоило. А Милюков по сути сделал из меня журналиста. Он научил меня работать в газете. Я же

был мальчишкой, учился в Университете, подрабатывал где мог, ну и в газете тоже в первую очередь. Нелегко приходилось. Жил впроголодь, замерзал зимой в своей холодной комнате. Когда просил хозяйку сделать хоть немножко теплее, она отшучивалась: – Месье Жак, есть очень простое средство, заведите жаркую подружку!.. – Но так могие мои ровесники жили, пока не становились на ноги.

– А каков был в те годы тираж газеты «Последние Новости»?

– 35000 экземпляров. Эту газету во Франции в те годы читали все русские, которые там жили – шоферы такси, модистки, студенты, бизнесмены, медики, артисты, музыканты – все! Она была очень популярна! Для сравнения – тираж «Нового Русского Слова» – 42000. Если вы едете утром в поезде метро из Бруклина в Манхэттен, обратите внимание: половина вагона сидит и читает газету «Новое Русское Слово»! Но это я так, не мог не сказать.

– Работая в газете, вы общались с такими интересными людьми...

– Разумеется. Это было интересное, незабываемое время. Такое не повторяется. Я хорошо знал французских политических деятелей, всех французских президентов, бывал на приемах, освещал все важнейшие политические события. Что вы хотите – я был парламентским корреспондентом. И разумеется, с нашей газетой сотрудничал, у нас бывал весь цвет русской эмиграции, без преувеличения, живые классики – Бунин, Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Куприн, Зайцев, Тэффи, Шмелев, Цветаева, Алданов, Ремизов. Я кого-то мог не упомянуть, назвал первые имена, пришедшие в голову.

– Такое созвездие имен. Мне даже дышать от волнения трудно. Вы их всех знали, разговаривали с ними...

– Ну да.

– Цветаева у вас сотрудничала?

– Да. У нее была нелегкая жизнь. Она жаловалась, что ее неохотно печатают. И это было правдой. Я тогда понимал, что она – человек особой судьбы, что ее время как бы не пришло еще. Но жила-то она в одно со мной время...

– Скажите хоть немного о Буине. У нас он очень популярен. Мой свекор, помню, когда-то три часа в очереди простоял, чтобы подписаться на собрание его сочинений. Если бы он только знал тогда, с кем я буду разговаривать несколько лет спустя! И кстати, мои друзья из Москвы просили передать вам большой привет. Там

про вас знают, каким-то образом ваши книги до публики порой доходят. Они написали, что у вас «доброе имя».

– Спасибо! Вы мне сообщили приятную новость. Что касается Бунина... Он был очень непростой человек. Мог быть милым, любезным, обворожительным (если ему это нужно было или же человек ему нравился), а мог быть и жестким, требовательным,

подчас просто невыносимым. Особенно в последние годы жизни. О моей поездке с ним в Стокгольм в качестве его секретаря для получения Нобелевской премии столько уже написано.

– Но ведь это было где-то полвека назад, можно и повторить что-то. У нас в Союзе невозможно было нигде об этом прочитать. Я читала, что когда вы были с ним в Стокгольме, Бунин закрывался в гостинице, боялся лишний раз из номера выйти, так его одолевали и пресса, и просители. Да и провокаций вы с ним, видимо, боялись. Это так?

– Да, это так. Однажды я вышел ненадолго, а ему наказал никому без меня не открывать. Прихожу, а к нему в мое отсутствие стучались люди, которые настойчиво просили открыть им дверь, ибо страстно желали продать за 500 франков «национальную святыню», личный топор Петра Великого с сертификатом о его подлинности. Он выдержал, не открыл. Разумеется, Нобелевская премия – чрезвычайно почетное событие, праздник, но будни Бунина были очень трудные. Блистательный писатель, он очень тяжело издавался. Я с громадным трудом издал «Темные Аллеи» тиражом в 1000 экзмпляров. Помню, он шутя говорил, что завидует моему тиражу. Моя книжка «Старый Париж» вышла тиражом в 2000 экзмпляров. Бунин очень нуждался. Он вошел в моду после смерти. У вас, в Союзе, его издали тиражом в полмиллиона. И распродали за три дня. И вашему свекру «повезло», он стоял в очереди и «достал» – советское словечко я употребил! – Бунина.

У меня с Буниным сложились хорошие отношения. Я горжусь тем, что Бунин написал прекрасное предисловие к моей книге «Звездочеты с Босфора». Я бы никогда его об этом не попросил. Он мне сам предложил.

Он, никогда не писавший предисловий к книгам современных писателей... А мне сказал: – Из вас получится прекрасный писатель, если его не убьет журналист.

Я читала это предисловие. Это развернутый, серьезный очерк, посвященный вашему творчеству. Бунин высоко отзывается о том, как вы пишете. Более того, он считает, что там, где вы пишете о цирке, цирк вам удался не только не хуже Куприна, а даже, пожалуй, лучше...

– Это пожалуй слишком. Не так уж потрясающе я писал..

– Бунину виднее... А как Куприн к вам относился?

– Очень нежно! У нас с ним были теплые отношения. Куприн был добрейшим человеком. Правда, был он весьма неуравновешенным, а во гневе так просто страшен. К старости он стал гораздо мягче. Увы, часто и много пил. На улице, где он жил, его знали, сочувствовали. Порой, когда я не заставал его дома я заходил в кабачок по соседству, чтобы привести его домой. Сам он идти не мог. Он в последние годы слабел и больше одного стакана вина не мог выпить. Ему очень нравились мои очерки о Париже, я назвал эту серию очерков «Париж ночью». Я их считал слабыми. А Куприн настоял на том, чтобы я книгу очерков издал и сам написал к ней предисловие. Он мне очень помог в молодости.

Была у него одна особенность – как писатель, он совершенно не мог жить и творить без России. Он отчаянно тосковал по родине. Ему надо было видеть, осязать то, о чем он писал. Без этого он не мог создавать свои вещи. А вот Бунин мог! За окном была лютая зима, а он так описывал жаркий летний день, что вы просто физически ощущали и теплый воздух, и зеленую листву. Вы это видели его глазами. У него потрясающая проза.

– Вы сказали, что Бунин очень нуждался. А была какая-то возможность помочь ему?

– Помогали как могли. Мы публиковали в Новом Русском Слове его вещи. Есть у нас срочный фонд помощи нуждающимся литераторам. Мы ему оттуда помогали. Помню однажды – это было в 1948 г. – я ехал по делам в Париж и привез ему 800 долларов. Эту сумму мы собрали на всякого рода благотворительных акциях. (От автора: мне помнится, А. Седых назвал сумму в 800 долларов, если я и ошибаюсь, то ненамного – Р.С.). Вы не представляете, как Бунин был счастлив! Он мне говорил тогда: – Яшенька, вы настоящий друг! – Я искренне пытался помочь ему, и люди действительно давали деньги, зная, что они идут в помощь Бунину. Тогда же я привез

немалую по тем временам сумму (я помню, он упоминал 350 долларов – Р.С.), собранную для Тэффи.

– Я читала, что в России она была в начале века невероятно популярна. А как во Франции?

– Я же говорю, с публикацией даже самых именитых авторов было очень тяжело. Ее публиковали, но жить на доходы от публикаций было абсолютно невозможно. Она отчаянно нуждалась. Особенно в послевоенные годы. Когда-то она была очень интересная, женственная, любила хорошо одеваться. Но это в прошлом. Была она добрым, дружелюбным человеком, обладала громадным чувством юмора. Мы с ней были приятелями. Она расчувствовалась, обняла меня: – Яшенька, я так вам благодарна! Такой неожиданный, такой щедрый подарок. В былые времена я бы не так отблагодарила... – И мы оба рассмеялись.

– Яков Моисеевич, вы как-то упомянули, что хорошо знали Рахманинова.

– Да, хорошо знал. Мы с ним интересно познакомились. Я тогда уже работал в «Последних Новостях», встречался со многими знаменитостями, а вот Рахманинов мне казался каким-то недостижимым. Серьезным. Живой классик. Я робел. Мне надо было взять у него интервью. – Приходите ко мне в отель к двум часам дня. Я буду ждать, –

сказал он по телефону, когда мы договаривались с ним о встрече. К назначенному времени я пришел в отель, где он остановился, поднялся на второй этаж. Стою перед дверью его номера. Слышу – играют на рояле. Значит, занимается. А как же мне быть? Я же ему помешаю. У него завтра концерт. И «Весь Париж» на этом концерте будет. Стою, нервничаю. Проходит пять минут. Он играет. Он, наверно, забыл. Проходит десять минут. Сверху по лестнице спускается мужчина, его слуга. – Да вы заходите, открывайте дверь. Он играет каждую свободную минуту, он знает, что вы придете. – И правда. Мы вошли,

Рахманинов прекратил играть, встал из-за рояля, подошел, пожал мне руку. Интервью получилось хорошим. Мы подружились и виделись довольно часто, когда он бывал в Париже. Я старался его концертов не пропускать. Каждый был событием.

– С ним легко было общаться?

– Представьте, да. Он ведь в жизни был не таким, как выглядит на портретах. Приятным, общительным. И очень добрым, сердечным человеком. По крайней мере, я его таким помню. Он помогал многим, но не хотел этого афишировать. Помню, в начале тридцатых обратилась ко мне одна молодая русская женщина. Жила она постоянно в Германии, оказалась по делам в Париже. Трагедия произошла в семье, она одна, без денег, в чужой стране. Куда пойти, кого просить о помощи? Я попытался как-то ей помочь. Речь шла о тысяче франков. От этого зависела жизнь человека. Рахманинов в это время был во Франции. Я встретился с ним, рассказал о ситуации, в которой эта женщина оказалась, спросил, не может ли он как-то ей помочь. Он немного подумал и сказал: – Пусть она зайдет ко мне в отель (он назвал время и час). Я постараюсь ей помочь. Но единственное условие – вы мне должны обещать, что об этом никто ни от вас, ни от нее не узнает.

– Он помог ей?

– Разумеется. Он вручил ей при встрече конверт, где лежала 1000 франков, фактически он спас ей жизнь. Пока он был жив, я никому об этом не рассказывал. И это ведь был далеко не единственный случай. Да, Рахманинов был выдающейся личностью.

И не только в музыке. Там ему равных не было. И в человеческих отношениях. А сейчас...

– Вы хотите сказать, сейчас всё другое, что меняются времена, меняются и люди?

– Не то что меняются, мельчают. Такого созвездия знаменитостей как тогда, в промежуток между двумя войнами в Париже, разумеется, нигде больше нельзя было встретить. Так уж сложились обстоятельства. Писали, общались, дружили, ненавидели, ссорились навсегда и снова сходились.

– А разве здесь не так?

– В чем-то так, в чем-то нет. Я же говорю, мельчают люди. Пишут гадости друг о друге. Конкуренты, что поделать. Так хоть поливайте «с достоинством», если так можно сказать. Вон обо мне недавно в «Новом Американце» написали, что я приглашаю в свой кабинет девушек и угощаю их печеньем «Пети Фур». Какой ужас! Вы только подумайте!

– А вы должны гордиться, Яков Моисеевич, что девушкам с вами интересно. Пусть пишут!

– Раечка, вы самого главного не поняли. Меня возмущает то, что пишут абсолютную чушь! Я никогда не стану угощать молодых дам таким дешевым печеньем!

– Как вы провели воскресенье? – спросил меня однажды А.С. – Вы хоть по музеям ходите? Или у плиты стоите, обед готовите... Да и рассказов я ваших давно не видел... Мне тут сказали по секрету, что у вас есть еще одно имя, на которое вы охотно откликаетесь – ВПЗ!. Мне нравится. Что-то в этом есть!.

Друзья и в самом деле шутливо называли меня ВПЗ – заглавные буквы от выражения Великий Писатель Зарубежья.

– ВПЗ вчера посетила Метрополитен Музей. Там в отделе импрессионистов выставили новые картины. Моне... Из музеев Бельгии.

– Наверно очередные кувшинки?

– Вы угадали. «Кувшинки» там тоже были. А вы пойдете? Выставка еще две недели будет открыта.

– Нет уж, увольте. Моне, Раечка, я сыт по горло!

– То есть как это – «сыт» Моне... Не понимаю.

Он вдруг посерьезнел, вздохнул. Потом на лице его появилась лукавая улыбка, он заговорщически подмигнул и, чуть приглушив голос, сказал.

– Это было, разумеется, не вчера. Женни, моя жена, уезжала на несколько дней в Париж... Она человек активный, благотворительными делами занимается... Я посадил ее в такси, вернулся домой, поднял телефонную трубку и позвонил нашей общей приятельнице, назовем ее Татьяна. Я пригласил Татьяну в Метрополитен Музей на открытие выставки импрессионистов.

– Итак, вы поехали на выставку. А друг дома Татьяна?

– Тоже, разумеется. Словом, посмотрели на импрессионистов, постояли на прелестном мостике, он был специально сооружен рядом с «Кувшинками» Моне. Очень уютный уголок получился. Поглядели на кувшинки... Зашли поужинать в ресторан и так далее. Чудесно провели время... А через несколько дней вернулась из Парижа Женни и первым делом спросила с обидой: Яша, ну неужели нельзя было подождать до моего возвращения? Я бы с удовольствием составила компанию и тебе, и Татьяне.

– Я буквально онемел. – А как ты узнала, что мы были на выставке?

– Из печати! Я, когда прилетела, купила в аэропорту Кеннеди журнал «Нью-Йоркер». А там на обложке красочная фотография – ты и Татьяна на мостике возле картины Моне «Кувшинки».

Каждая наша встреча оставляла в памяти глубокий след. Всё в жизни как-то было взаимосвязано. В Москве я ехала в автобусе на работу, держа в руках темно-голубой томик Бунина, заложенный проездным билетом – дочитывала «Темные аллеи». В Америке я гуляла по Нью-Йорку с человеком, который дружил с Буниным, сидел рядом, когда тот получал Нобелевскую премию, помогал ему выжить в тяжелое время. Помню, в командировке в Вологде у меня исчезла со столика в гостинице книга воспоминаний Шаляпина... Я была очень расстроена. Когда я рассказала об этом А. Седых, он смеялся.

– Подумать только! Украли в книгу в самой Вологде. Если бы только Шаляпин знал, как бы это его порадовало!

Седых прятельствовал с Шаляпиным, тот с глубокой симпатией к нему относился, любил читать его рассказы. Иначе как Яшенька, не называл. Несколько раз они вместе были на отдыхе. Однажды у него заболело горло, и Шаляпин дал ему свой особый рецепт для полоскания.

В газете был опубликован мой рассказ «Вокализ Рахманинова». Ну могло ли мне прийти в голову там, в Москве, когда я как угорелая неслась на поезд, отходящий в Череповец (уезжала в срочную командировку, а перед этим была в Консерватории на праздновании 90-летия С. Рахманинова), что мне так несказанно повезет, что буду общаться, дружить с человеком, который встречался с Рахманиновым, пожимал его руку, слушал его игру.

Говорят, что нельзя жалеть о прошлом, ведь его невозможно вернуть. Но наверно можно и нужно извлекать уроки из сделанных ошибок. Может быть это и правда. Скажите, какой урок можно извлечь, прочитав письмо, датированное 29 июня 1983 года, содержащее следующий текст:

Настоящим обязуюсь прочесть рукопись моей любимой писательницы Раечки Сильвер не позже 15 июля с.г. и вернуть оную в сохранности, одобрив ее для печати.

Автор книги мне ужасно нравится (как писательница).

Андрей Седых

Я тоже стеснялась просить его, чтобы он написал предисловие к моей первой книге. Он сам предложил просмотреть книгу и сделать соответствующие поправки. Книга называлась «Правдивые истории с вымышленными именами». Все рассказы, а их в книге тридцать пять) были опубликованы в газете «Новое Русское Слово». Книга эта – библиографическая редкость. У меня дома есть всего два экземпляра.

И в истории, которую я сейчас вам поведала, тоже нет ничего вымышленного. Все имена, разумеется, правдивые.

Раиса Сильвер – мосвичка, по специальности инженер-экономист. В США (Нью-Джерси) руководила центром для пожилых людей. Работала журналистом, радиоведущим, экскурсоводом, преподавателем. Она – автор пяти книг прозы. Недавно вышел первый сборник ее стихов.

Раиса Сильвер общалась и дружила со многими известными людьми, прежде всего, литераторами-иммигрантами. Она вместе с ученым и писателем Юрием Окуневым и другими коллегами приложила немало усилий, чтобы имя замечательного писателя Феликса Розинера, автора романа «Некто Финкельмайер», не было забыто.

Андрей ФРОЛОВ

ГЕНЕРАЛ СМЕРШ

Продолжение. Начало в № 3 (7) 2018

Время шло. Став подполковником, я уже занимал должность начальника одного из отделов управления контрразведки «СМЕРШ» Белорусского фронта. Прибавились награды.

Начальник управления, генерал Вадис, вызвал меня к себе и объявил, что мне нужно выехать в Главное управление на утверждение в должности его заместителя. Я даже и не подозревал, что мой начальник, а он уже был четвёртым с начала войны, выдвинет меня своим замом, так как мне от него не раз и не два попадало. Последний раз произошёл такой эпизод. Я находился в разъезде по подразделениям вблизи фронтовой полосы. Телефонистка меня разыскала и язвительно говорит:

– Знаете, я уже вас целый час разыскиваю, генерал мне приказал найти вас, чтобы вы немедленно к нему явились, или он повесит вас на первом попавшемся суку.

К этому времени войны я хорошо усвоил: вошло в моду, когда многие начальники при обращении с подчинёнными намеренно уродуют свои чувства, напуская на себя чрезмерную грубость и устрашающую гримасу, тогда как на самом деле совсем не такие. Так было и на этот раз. Прибыв к генералу в комнату к концу совещания, которое он проводил с начальниками отделов «СМЕРШ» армий, я намеренно чётко доложил:

– Прибыл в ваше распоряжение для того, чтобы вы повесили меня на первом попавшемся суку.

Присутствующие недоумённо посмотрели, а генерал, от неожиданности такого к нему обращения и точного пересказа его слов, как-то смутился и тихо сказал:

– Садитесь.

А затем, оставшись со мной наедине, спросил:

– Как это вы додумались размножить директиву о задачах в связи с предстоящим наступлением наших войск и через своих помощников доставить в отделы армий, когда категорически запрещалось эту директиву, хранящуюся в единственном экземпляре, размножать?

И немного походив из угла в угол по комнате, продолжил:

– А если бы одна из копий попала в руки противника, вы понимаете, что вас бы расстреляли?

Я ему объяснил:

– Другого выхода у меня не было, чтобы своевременно, до начала наступления, довести до всех командиров директиву и успеть разъяснить на местах. И через кого, как не через своих опытных, надёжных помощников, офицеров-направленцев. Директива была размножена на папиросной бумаге небольшого формата без указания даты наступления. В случае опасности эту бумагу можно было легко проглотить. К тому же, это был уже не 41-й и не 42-й годы. Теперь мы наступаем, и до штабов армий добираться, в основном, безопасно. Помощники возвратились, экземпляры были все мною собраны и уничтожены на глазах у каждого помощника, а их у меня шестнадцать, по числу армий.

На этом мы мирно разошлись.

Шестого июня 1944 года, в день открытия второго фронта союзниками против фашистской Германии, я вылетел в столицу.

Прибыв в Москву, я, как водится, несколько дней потолкался без дела по коридорам управления кадров, в офицерском общежитии и по улицам города. Не сказал бы, что это вынужденное безделье меня убивало (немецкие снаряды и пули всё-таки поопасней). Наконец я был принят генерал-полковником Абакумовым.

Захожу в его продолговатый, просто обставленный кабинет. Из-за письменного стола поднимается он. За приставным столиком сидят два его зама – генералы Селивановский и Врадий. Абакумов подходит ко мне, вглядывается и спрашивает:

– Где я вас видел? И откуда я вас знаю?

– Как же, – говорю, – встречались с вами в Сталинграде, где вы меня ругали, даже седым дураком назвали.

На его красивом лице мелькнула усмешка, и он добродушно изрёк:

– Ну, знаете, кто старое помянет – тому глаз вон! – И тут же продолжил: – Вот что, вас хвалят мои заместители и мы решили вас назначить начальником самостоятельного отдела главного управления. Понимаете – самостоятельного отдела! Принимайте дела и учите работников отдела работать по-фронтовому.

От неожиданности такого поворота, когда вместо возвращения на фронт, в обстановку, с которой ты уже сроднился, и вдруг на тебе – предлагают работать в центральном аппарате – я замаялся, смутился и ляпнул:

– Да меня, собственно говоря, Москва не прельщает.

Абакумов подошёл ко мне вплотную и, энергично жестикуюля рукой для придания большей выразительности своим словам, начал разъяснять:

– Да вы понимаете, что вы говорите, ведь Москва – это столица трудящихся всего Мира, и тут же внезапно спросил – вы какого года будете?

– Девятьсот восьмого – отвечаю.

– Значит, ровесники. Я живу в Москве и неплохо себя чувствую, так что давайте, принимайте дела, и будем вместе работать.

Но уговорить меня было не так просто. Я ему заявил:

– Видите ли, у меня жена и двое детей находятся в эвакуации в Уфе и буквально голодают. Я по ходатайству Военного Совета фронта получаю квартиру в Киеве, куда собираюсь перевезти семью, а вы мне тут предлагаете Москву.

– А у вас теща есть? – спрашивает меня Абакумов. – Так вы отдайте ей квартиру в Киеве, а я распоряжусь поместить вас с семьёй в гостинице ЦДКА. Срочно перевозите свою семью. А там найдём вам и квартиру. Тут же он протянул мне руку, я пожал его огромную ладонь и этим дал понять, что его предложение принято. Он тут же вызвал начальника АХО и приказал устроить меня с семьёй в двухкомнатном люксе гостиницы «за счёт министерства». А мне сказал, чтобы я зашёл к его заму, генерал-лейтенанту Бабичу, который введёт меня в курс работы и, затем, как приму дела, опять вернулся к нему для получения личных указаний.

Я быстро принял дела и вызвал в Москву семью. Жене, кроме детей, везти было нечего. Эвакуировалась она в Уфу из-под Житомира с двумя детьми и одним чемоданом вещей. Трудно описать радость нашей встречи, ведь за эти годы я только один раз был в отпуске с ними две недели и ещё два раза Маня приезжала ко мне на фронт – в Воронеж и Сталинград. Я подготовил для них двухкомнатный люкс с шикарной невиданной обстановкой, ванной и душем, красивым видом из окна на улицы столицы. Никто из нас до этого и не догадывался, что существуют такие роскошные номера.

Особенно я радовался за детей, ведь на них жалко было смотреть – исхудалых и истощённых войной. Я был счастлив за свою семилетнюю дочь Ларисоньку, что она теперь избавится от ревматизма, что больше не будет жить зимой в неотапливаемой квартире со слоем наледи на стенах. Я был счастлив, что мой пятилетний сынишка Юрочка перестал тягуче-жалостно просить «хочу хлеба, хочу хлеба», а мама вместо хлеба могла ему всунуть в руку только карандаш и ослабевшим от недоедания голосом сказать:

– На, рисуй, сыночек.

А сыночек по-прежнему продолжал ныть:

– Не хочу карандаш, хочу хлеба.

Я счастлив был, что моя жена избавилась от непомерных забот, хотя ей долго еще слышался детский стон от голодной боли.

Как-то вскоре пошли мы в знаменитые Сандуновские бани. Взял номер за 50 рублей, там был даже маленький бассейн, стены с разноцветными инкрустациями. Я и сам впервые в жизни такое увидел, а сын был просто изумлён.

Через пару недель я выехал в Киев устраивать тещу и сестру жены Розу в выделенную мне квартиру. Пришёл я к начальнику АХО с моим ордером и попросил переписать на тещу Рахиль Моисеевну Лишневскую. Тот сказал:

– Я не могу – есть решение ЦК – евреев в Киеве не прописывать.

Меня это взорвало – ещё этого не хватало, я ему говорю:

– У вас в Киеве, что, ещё фашистская оккупация продолжается? Расовые законы не прекратили действия? Оккупационные приказы продолжаете исполнять?!

Тот смутился, тем более видя перед собой офицера СМЕРШ.

– Я человек маленький, мне дали указание, я не могу нарушать.

– Кто вам дал указание?

– Это указание Хрущёва.

– Где письменное указание? – спросил я, прекрасно понимая, что такого быть не может. Он растерялся:

– Я ничего не знаю, мне сказал секретарь райкома партии, Ветренко.

– А ну давай телефон, я ему сейчас позвоню и узнаю, но если он от этого откажется, пойдёшь под трибунал по статье 58.10 часть вторая – антисоветская агитация и пропаганда – слышал о такой? Ну давай телефон!

Майор сразу сдрейфил, и было от чего – выжил в войну, а теперь из-за одного неверного шага мог легко превратиться в лагерную пыль:

– Да не надо звонить, я на свой страх и риск выпишу, я сам этого не одобряю.

Майор безропотно переписал мой ордер на тещу и шлёпнул печать. Я посмотрел на него строго и вышел, не прощаясь, чтобы не создать впечатление неуверенности. На самом деле я взял его на арапа, ничего бы я ему не смог сделать, если бы он упёрся. Он, может, и сам это понимал, но всё же, выписывая ордер в нарушение устной инструкции, он вообще ничем не рисковал, тем более всегда мог бы сослаться на мой нажим. На этом и строился мой расчёт. Блеф даёт у нас нередко хорошие результаты, особенно когда ты предъявляешь удостоверение «СМЕРШ». Ну просто очень удачное и звучное название, от которого запросто бледнеют бывалые ветераны.

И всё-таки теще всю квартиру не отдали, а только две комнаты, ей и Маниной сестре Розе, а в третьей оставили семью профессора, хозяина этой квартиры, якобы сотрудничавшего с немцами. Тот же начальник АХО, который не хотел прописывать евреев в Киеве, сказал мне – да выгоните его к чёрту на улицу или посадите за сотрудничество с оккупантами, в чём проблема-то? Но я отказался, так как ничего серьёзного у нас на него не было, к тому же у этого профессора было трое детей – он просто преподавал в школе при немцах и иногда подрабатывал на переводах, а что ему делать было – жить как-то надо, а с эвакуацией ему никто не помог. И так мы его порядком уплотнили, а на детей у меня рука вообще не поднималась.

Со мной этот оставшийся при немцах профессор был весьма учтив и почтителен, но впоследствии оказался-таки порядочной сволочью и антисемитом и портил кровь при возможности моим родственникам. Но показал себя только когда при Сталине антисемитизм подняли на государственный уровень, и бороться с ним было куда сложнее.

В новой должности я подчинялся непосредственно генерал-лейтенанту Исаю Яковлевичу Бабичу и, после получения его визы, нередко докладывал лично генерал-полковнику Абакумову или заносил в наиболее важные документы ему на подпись.

Порядок был прост, – звонишь ему непосредственно:

– Докладывает подполковник Фролов, прошу принять меня по такому-то вопросу.

Он обычно отвечал – позвоню. Иногда быстро звонил его адъютант – заходите, иногда проходили сутки или более, а вызова не следовало.

Я вспоминал, как он на одном из совещаний давал установку:

– Надо всем нам работать так, как работает товарищ Сталин. А работает он так: работает, работает, долго работает, затем немного отдохнёт и снова работает и работает.

Надо сказать, что не только в войну мы работали, не считаясь со временем. Так было и до войны, начиная, наверное, с революции. Придя в органы ОГПУ в мае 1933-го года, я был крайне удивлён установленным распорядком рабочего дня для всех сотрудников. Начинаешь работу в девять часов утра. Перерыв с 4-х до 8 вечера. И с восьми вечера опять работа до полуночи. Начальство задерживалось и позднее, но утром все являлись к девяти часам.

В Москве ещё долго и после войны, а вернее, до смерти Сталина, министры задерживались на работе до тех пор, пока Сталин не уходил домой из своего рабочего кабинета. А он не уходил раньше двух-трёх часов ночи. А поскольку задерживались министры, то и мы, начальники управлений и отделов тоже задерживались. Отпустились домой в полночь только рядовые сотрудники.

Единственный раз я решил уйти домой в полночь. Только уснул, слышу телефонный звонок. Снимаю трубку: голос Абакумова:

– Ты где?

Я понял, что его адъютант соединил с моей квартирой и он не знает, где я нахожусь.

– Дома, в постели.

Он немного посопел в трубку, затем продолжил:

– Срочно ко мне. За тобой выезжает машина.

Оказывается, потребовалось отработать справку по одному важному вопросу, напечатать её для доклада ЦК партии, и это он должен сделать к утру.

..Как-то поздно ночью, закончив работу, выхожу из министерства и вижу: у подъезда стоит закреплённая за мной машина – красный Шевроле и возле неё стоит зам. нач. Главного управления контрразведки, мой бывший начальник, генерал-лейтенант Селивановский. Он говорит мне:

– Давайте завезу вас домой, теперь ваша машина перешла ко мне.

Я вежливо отказался. Стояла хорошая, свежая, предутренняя погода, и я с удовольствием настроился пройтись пешком домой, так как жил недалеко, в Подколокольном переулке. Всё же меня задело, что у меня отобрали машину и даже не предупредили об этом.

Утром звоню генерал-полковнику и прошу принять по личному вопросу. Я знал, что по личному вопросу он принимал немедленно. Захожу в кабинет, спрашиваю:

– Товарищ министр, почему у меня отобрали машину?

Думал, огорошу его вопросом, а он, оказывается, уже знал.

– А зачем тебе машина? Ты молодой – пешком больше надо ходить, а то мозоли вырастут – и тут же рукой показывает на живот и подбородок. – Я тоже часто хожу на работу и с работы пешком.

– Видите ли, мне-то как раз машина и не нужна, она нужна жене.

Он делает круглые глаза и зло переспрашивает:

– Кому, кому нужна машина? Жене, говоришь?

– Да, жене, для того, чтобы на ней ездить в магазины отоваривать продуктовые и промтоварные карточки. Давайте поедem к нашему военторгу, и вы увидите, что десятки машин, на которых приезжают жёны, стоят у подъезда. К тому же моя жена находится в положении, и ей ездить за продуктами в трамваях тяжело.

Абакумов, хмурый, помолчал, а затем словно нехотя прмолвил:

– Ты мне первым говоришь правду в глаза...

Тут же позвонил начальнику АХУ и распорядился вернуть мне машину, а Селивановскому выделить другую из особого резерва.

Жить и работать в Москве было очень интересно, но в первую очередь я радовался за детей и жену. Теперь они нормально питались, о голоде и холоде вовсе забыли, а, главное, мы с Маней ожидали ещё одного ребёночка. Иметь много детей всегда было моей мечтой, общаться с ними, воспитать, вырастить, а потом гордиться – что может быть лучше? Я ведь и на фронт в первый же день войны заявление написал только из-за того, чтобы потом не ёжиться, когда дети будут спрашивать: «А ты, папка, на войне был?». Кругом почти у всех было по одному-два ребёнка, но разве это семьи? Нас самих было пятеро, я был старшим и очень любил возиться с малышняй. Вот и сейчас я водил Лару и Юру в театр, цирк, а недавно мы с Юрой были на футболе Динамо – ЦДКА. Футбол был большой радостью, он только возобновился, и было ясно, что до победы уже недолго.

Мы часто виделись в Москве с нашим старым приятелем Яшкой Броверманом, который к этому времени стал начальником секретариата Абакумова и, возможно, рекомендовал меня на работу в Москву, и Федей Шубняковым, работающим в отделе внутренних спецопераций. Яшка был уже полковником, а мы с Шубняковым подполковниками, Яша был холостой и жил с мамой, а с женой Шубнякова моя Маня подружилась. С Судоплатовыми наши отношения несколько охладели, так как у него явно были какие-то трения с Абакумовым, и он не хотел меня в это впутывать, так как риск в таких ситуациях всегда имеется, особенно после ужасов 37-го года. Мы оба не афишировали наше и без того дальней родство, что было очень верно в той обстановке. Безусловно, это не он мне протезировал в приглашении на работу в Москву, так как ему пусть и дальний, но родственник под боком был нужен как пятое колесо в телеге, тем более, он знал, что биография моя не без пятнышек и рано или поздно это могло и мнеб и ему аукнуться. А вот Яшка Броверман точно помог, хотя и не признавался в этом, он очень нам симпатизировал. Это он, когда мы ещё вместе служили в Киеве, научил меня есть селёдку с хлебом и маслом. Мы и понятия о таком не имели, с дореволюционных времён ели её просто с хлебом; я был

поражён, когда в вагоне по дороге в Харьков Яшка стал намазывать масло на кусок белой булки, а потом положил на него кусок селёдки и начал откусывать. Я даже от смеха не мог удержаться – как это селёдка с маслом, да ещё с белой булкой? Говорю ему: «Ты что, Яшка, с ума сошёл? Как это можно есть селёдку с маслом?» А он: «А ты попробуй – не оторвёшься!» Я попробовал – действительно вкусно.

У себя дома Федя Шубняков впервые познакомил нас с песнями Петра Лещенко, и я был просто пленён его фантастическим голосом и мелодичностью. Мы увлечённо танцевали под него танго и фокстрот, несмотря на Манину беременность.

Помню, Яшка, Федя с женой и наши друзья Блиновы собрались у нас по поводу получения мной звания полковника. Судоплатов поздравил меня в лубянской столовой, но в гости не пришёл. Яшка развлекал всех весёлыми историями про Абакумова, как тот якобы уходит на совещание в ЦК партии, а сам спит на кушетке в своем запертом кабинете. Случайно зашла речь о работе нашей комиссии по расследованию убийства в Катynie немцами тысяч польских офицеров и интеллигенции, сдавшихся в 39-м нам в плен и живших в специальном лагере в районе Смоленска. Мне это было интересно, так как многих из них именно я и фильтровал, находясь до войны в Польше. Я потом не раз проезжал мимо лагерей на Украине, где их содержали до войны. По какой-то причине их не сумели вовремя эвакуировать, и немцы, захватив эту территорию, их расстреляли, а потом свалили на нас.

Шубняков к этому времени уже порядком выпил за мои успехи и нашу дружбу. Он наклонился ко мне и сказал тихонько: «Все врём, на самом деле мы же их и расстреляли, уж я-то знаю!», и подмигнул с улыбкой. Не сказать, что меня это как-то шокировало, или я прямо обомлел от неожиданности – к тому времени я созрел и не для таких откровений. Но всё-таки подумалось: «Действительно, постоянно врём, ну ни в чём, буквально ни в чём нельзя нам верить, целую комиссию создали по расследованию этого якобы зверского немецкого преступления, человек двести задействовали одних юристов да ещё учёных-историков. А, с другой стороны, что делать, когда обстановка вокруг такая?» Это я себе в качестве отговорки.

Я Шубнякову поверил – он не из тех, кто тень на плетень наводит будет в разговоре в друзьями. Одно было не совсем понят-

но – на кой ляд их расстреливать было? Ведь немцев-то они в сто раз больше ненавидели, чем нас, поэтому нам и сдались, а не им. И в 41-м они очень бы нам сгодились, шутка ли, пятнадцать тысяч опытных офицеров. Так нет, не доверили, расстреляли и концы в воду.

В январе 1945 меня вызвал Абакумов:

– Поезжай в Архангельск, там новая обстановка – уже несколько лет функционирует британское представительство, наверняка у них уже есть агентура. Там ещё в гражданскую высаживались англичане и не могли не оставить своих спящих агентов, а теперь они могут проснуться и вылезти на поверхность. Кто знает, куда повернут наши союзнички после войны. Поезжай и переверни там всё снизу вверх и сверху вниз. Это задание лично товарища Сталина, я ему уже доложил, что выполнять его будет полковник Фролов. А Сталин никогда ничего не забывает, учти – сам Сталин знает твою фамилию и будет это дело держать на контроле. Успеха!

И уже вечером, как всегда тепло распрощавшись с Маней и детьми, я ехал в Архангельск. Не спалось, всё думал под стук колёс, что Абакумов имел в виду в плане перевернуть всё сверху вниз и снизу вверх. Я был взволнован и горд тем, что ехал выполнять задание лично Сталина, но не до конца понимал суть напутствия Абакумова, кого и чего я должен там переворачивать.

В Архангельске меня уже на вокзале встретил начальник местной контрразведки Рюмин. Я ещё подумал: такому только в разведке служить – увидишь и не запомнишь. Ни толстый, ни тонкий, ни высокий, ни маленький, ни стройный, ни сутулый, словом, невыразительный. Мне не нравилось, когда меня встречало начальство – делом надо заниматься, а не встречать, что, нельзя было адъютанта послать? Так-то он шпионов английских ищет? Я ничего этого не сказал, но довольно холодно отреагировал на его рукопожатие и весь этот деланно сердечный и гостеприимный вид.

Он, по его словам, давно подозревал и вёл слежку за одним местным жителем, который вертелся у британского представительства и пару раз даже был замечен за разговорами с английскими офицерами. Кроме того, этот тип несколько раз выезжал в Мурманск и там ходил в порт и провёл даже несколько часов, наблюдая за военными

кораблями. Жил явно не по средствам, в руках у него наши филера несколько раз видели валюту. То есть все признаки шпионажа налицо.

Я собрал данные про контакты британских представителей с населением, лично проверил всех наших агентов, работающих в представительстве, прежде всего, обслуживающий персонал, коекого после рекомендовал в рапорте заменить, особенно буфетчицу – та была глуповата и, желая выслужиться, несла всякую чушь. Затем я велел Рюмину арестовать этого подозреваемого в шпионаже человека. Рапорт Абакумову мы с Рюминым подписали, и я взял Рюмина вместе с арестованным в Москву для того, чтобы он изложил подробности, если понадобится. Когда мы приехали на вокзал, то оказалось, что билетов на Москву нет. Мы к начальнику станции, показали удостоверения, тем более Рюмин был начальник военной контрразведки города. Начальник станции стал искать варианты и быстро обнаружил, что английский офицер, тоже едущий в Москву, купил для себя целое четырёхместное купе и едет в нём один. Он сразу повёл нас туда. Англичанин прекрасно говорил по-русски и стал возражать: «Почему я должен пускать в купе кого-то, я же полностью его откупил».

– У нас так не положено, мы вернём вам деньги за билеты.

После десятиминутных переговоров и уговоров нас к нему подсадили.

Наконец, поезд тронулся, хоть и с опозданием. Отвернувшись от нас и смотря в окно, англичанин желчно заметил: «Это что ж такое случилось, что поезд тронулся?». В дороге он нас полностью игнорировал, сам забрался на верхнюю полку, а чемоданы поставил на нижнюю, так, чтобы мы не могли туда сесть, так до самой Москвы, зараза, ни разу с нами не поговорил и ни разу не отозвался на наши приветствия и кивки, которые мы делали поначалу. Вот тебе и союзничек.

В этом же поезде, но в другом вагоне конвоиры везли нашего арестованного. Всё вроде складывалось неплохо.

По приезде я передал рапорт Абакумову и стал ждать вызова, надеясь получить лестную оценку. Но Абакумов встретил меня криком: «Ты кого привёз?! Какого ты мне шпиона привёз, я тебя спрашиваю!?» – «Как какого – английского, других не было...» «Да какой

он шпион!? Я ему рубашку задрал, а у него вся спина в синяках, вот он и признался».

Мне небо в овчинку показалось, я и подумать не мог, что Рюмин будет выбивать из него признания. «И всё-таки он шпион», – говорю. – «Как его фамилия?» – «Рогозин», – говорю я. – «Какой, мать твою, Рогозин! Это Кривенко, сосед Рогозина по этажу! Я тебя зачем послал!? Ты почему не проверил!?»

Я понимал, что оправдываться бесполезно и как я мог довериться этому болвану Рюмину. Не того арестовал, так ещё и признание выбивал. «Иди и срочно Рюмина сюда, я ему сейчас покажу шпиона!» – приказал Абакумов.

Я выскочил как пуля, рассказал всё Яшке Броверману, тот прыснул со смеху: «Вот идиоты!», и мы вдвоём пошли в кабинет, предоставленный Рюмину. Я распахнул дверь и сходу стал орать на него: «Ты что, идиот, наделал?! Ты кого Абакумову привёз?! Да тебя к стенке надо поставить! Ты зачем людей бьёшь?! Ты же не того арестовал!?»

Рюмин сразу как-то скукожился и побледнел: «Ой, что делать, мужики, конвоиры чёртовы, видно, квартиры перепутали, и ведь такое уже не в первый раз...», – залепетал он. – А я, мудака, не проверил...»

– Вот иди теперь к Абакумову и объясняй как есть.

С дрожжащими коленками и весь потный поплёлся Рюмин в кабинет Абакумова. Я вдогонку матерился, Яшка хохотал: ну, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, поймали главу преступного мира.

Через час Рюмин вернулся и, как ни странно, спокойный и довольный.

– Ну что? – спрашиваю.

– Да всё нормально. Уже позвонили Рогозина арестовать и доставить, а Кривенко всё равно его сосед и дружок, наверняка пособник, тем более, раз сознался, то пусть тоже остаётся под следствием – так мы с Абакумовым решили.

Меня эта фраза покорила: «Так мы с Абакумовым решили»... Я был уверен, что арестованного по ошибке Кривенко отпустят, а Рюмина Абакумов, может быть, вообще из органов выгонит или, по крайней мере, отправит назад с понижением.

На другой день вызывает меня Абакумов и дружелюбно спра-

шивает: «У тебя какое мнение о Рюмине сложилось?». Я ответил, на всякий случай, нейтрально: «Так ничего вроде, но видите как напутал...»

– А больше ничего за ним не замечал?

– Да нет.

– Ну ладно. Ох как я устал, как устал, – и Абакумов потянулся всем своим большим телом.

Зазвонил телефон. Абакумов взял трубку и так же, потягиваясь, ответил:

– Слушаю, товарищ Сталин.

Мне понравилось, что он не напрягся и голос его не дрогнул.

Разговор у них получился короткий, Абакумов больше молчал и слушал, в конце произнес коронное: «Будет выполнено, товарищ Сталин».

– Слушай, ты можешь посидеть пока у меня, я на пять минут к Судоплатову выскочу, а потом продолжим разговор, – произнес министр..

Но я предусмотрительно вышел из кабинета вместе с министром, не рискуя оставаться одному в его кабинете. Лучше подождать в секретарской, поболтать с Яшкой, а то пропадёт какой-нибудь документ или опять Сталин позвонит – от всего этого лучше держаться подальше.

С Яшкой я поделился: «Слушай, Яша, что это Абакумов про Рюмина спрашивает, зачем он ему сдался?»

– Хочет его, представляешь, старшим следователем в отдел Леонова назначить, я тоже удивляюсь – такого валенка...

– Да, непонятно...

– Да чёрт с ним, он там, по-моему, живо себе шею сломает – не по Сеньке шапка. – усмехнулся Яшка.

Через несколько дней я действительно с удивлением узнал, что Рюмина назначили старшим следователем в отдел Леонова. Как Абакумов мог сделать такую глупость? Чем мог импонировать ему Рюмин кроме своей невзрачной внешности и манерами малограмотного серого человека?*

Сразу после окончания войны, ещё в мае, меня послали в командировку на Дальний Восток готовиться к войне против наше-

го союзника Соединённых Штатов Америки. Победа радовала и окрыляла, казалось, ещё немного и весь мир будет наш. Видимо, так казалось и Сталину – ведь наша армия набрала необыкновенную мощь.

Руководил совещанием Василевский, интеллигентный маршал с тихим голосом и профессорскими манерами. Тема простая – подготовка к возможной атаке на США через Аляску с территории нашей Чукотки. Главная проблема – создать на Чукотке мощный военный плацдарм, разместить дивизии, танки, аэродромы и обеспечить снабжение. Необходимо было начать военное строительство, но на Чукотке нет леса, его нужно было завозить с Камчатки в огромных количествах, так как сроки указывались Сталиным самые сжатые – в течение года, не более. Маршал Василевский предложил доставлять лес пароходами, но присутствующий первый секретарь крайкома Ефимов выдвинул другое интересное предложение – буксировать лес за пароходами, предварительно выложив и скрепив огромное количество брёвен на воде сигарою.

Мнения участников совещания разделились, решили голосовать. Мне способ транспортировки пароходами показался более надёжным, так как сигару из брёвен могло раскидать штормом. Моя рука была последней и решающей, так как перед этим количество рук было равным.

За день до этого я долго и дружески беседовал с Ефимовым, выпили с ним коньяку, но никаких вопросов по транспортировке мы не обсуждали. После голосования, когда был объявлен перерыв, он подошёл ко мне и сказал: «Я от вас этого никак не ожидал, что вы меня не поддержите, вы всадили мне нож в спину, я вам этого не забуду, вы же понимали, что ваш голос решающий. Я вас чем-то обидел?» – «Почему я должен поддерживать ваше мнение, если я с ним не согласен?» – ответил я. Он побледнел и отошёл.

При проработке вопросов снабжения и организации питания военнослужащих Сталин, как сказал Василевский, просил узнать, чем на Чукотке кормят заключённых, чтобы максимально использовать их рацион для обеспечения солдатского питания. Я не смог скрыть улыбки, так как подумал: «На таком питании ноги протянешь». Кроме того, Василевский попросил меня срочно выяснить, какими маслами надо обеспечивать механизмы артиллерии и как

защитить зрение солдат от яркого солнца. Ну и дал мне задание подготовить мероприятия для того, чтобы американское и британское консульства не узнали о переброске корпуса из Владивостока на Чукотку, ввести их в заблуждение с помощью дезинформации через наших агентов.

В общем, через неделю основные моменты плана подготовки мы набросали. Моей же задачей в этом проекте было обеспечить его секретность от разведок США, Англии и других стран – ведь вся сила этого проекта, по мнению Сталина, заключалась в его неожиданности. Летом пройти Аляску можно было достаточно быстро.

Продолжение – в следующем номере

* Рюмина называли «кровавым карликом» за то, что он «выбивал» показания, истязая людей. Он участвовал в затеянном Абакумовым по приказу Сталина следствии для ареста маршала Жукова. Сыграл зловещую роль в «деле врачей».

2 июля 1951 года Рюмин направил заявление на имя Сталина, в котором обвинял министра госбезопасности Абакумова в сокрытии важных материалов по поводу смерти секретаря ЦК Щербакова, в препятствовании расследованию дел арестованных профессора Этингера и ряда других, многочисленных нарушениях следственных процедур, нарушении законов и др. 12 июля Абакумов был арестован. Были арестованы также десятки сотрудников МГБ. Рюмин стал начальником Следственной части по особо важным делам МГБ СССР. Одновременно 19 октября был назначен заместителем министра госбезопасности и членом Коллегии МГБ..

13 ноября 1952 года отстранен от работы в МГБ и направлен в распоряжение ЦК КПСС за неспособность раскрыть «дело Абакумова» и «дело врачей».

После смерти Сталина арестован, содержался в Лефортовской тюрьме. приговорён Военной коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания с конфискацией имущества. Расстрелян 22 июля 1954 года. Не реабилитирован. (Ред).